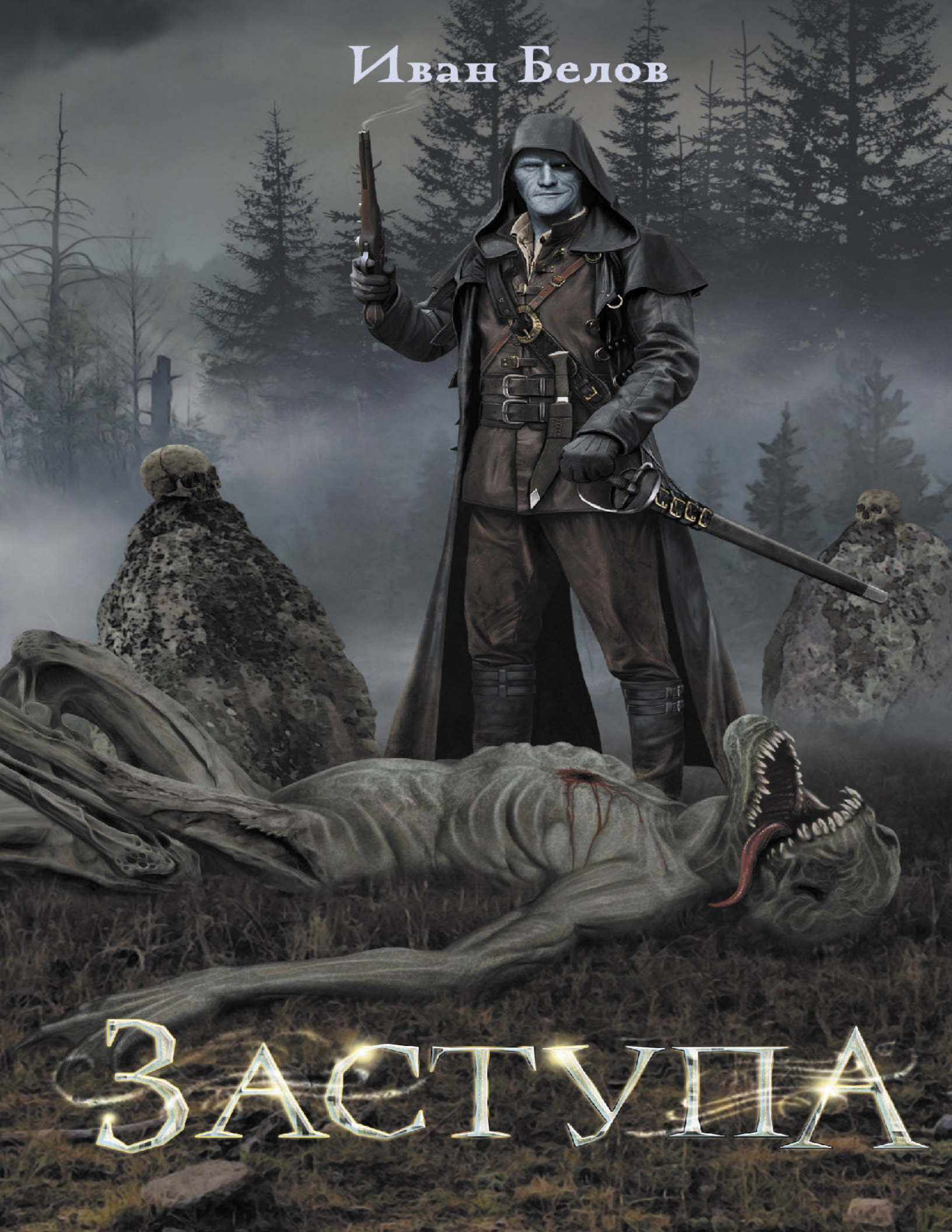


Иван Белов



ЗАСТУПА

Annotation

Новгородская земля, XVII век, дикий, неосвоенный край, место, где самые страшные легенды и сказания становятся былью, а Конец Света ожидается как избавление. Здесь демоны скупают души, оборотни ломают ворота, колдуны создают тварей из кусков человеческих тел, ходят слухи о близкой войне, а жизнь не стоит ломаного гроша. Леса кишат нечистью, на заброшенных кладбищах поднимаются мертвецы, древние могильники таят несметные сокровища, дороги залиты кровью, а с неба скалится уродливая луна, несущая погибель и мор.

И столь безумному миру нужен подходящий герой. Знакомьтесь – Рух Бучила, убийца, негодяй, проходимец и немножко святой. Победитель слабых, защитник чудовищ, охотник на смазливеньких вдов с девизом «Кто угодно, кроме меня». Последняя надежда перед лицом опустившейся темноты. Проклятый Богом и людьми вурдалак.

- [Иван Александрович Белов](#)
 -
 - [Полста жен Руха Бучилы](#)
 - [Ванькина любовь](#)
 -
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [Птичий брод](#)
 - [Ночь вкуса крови \[12\]](#)
 -

- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)
- [Все оттенки падали](#)
- [Алая лента](#)
- [Подарок на Рождество](#)
- [Зимняя сказка](#)
- [Придет серенький волчок...](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)

o [21](#)

Иван Александрович Белов

Заступа

© Иван Белов, текст, 2022

© Валерий Петелин, ил., 2022

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Полста жен Руха Бучилы

Сплю. Снов не вижу, наяву грежу. Проклятый Богом и людьми, себе ненавистный. Могилой мне – камень, внутри – сухие кости и мертвая плоть. Ища спасения, обретаю тьму без теней и черную бездну. Кричу во все горло, но крик мой нем.

Год от Рождества Христова 1676-й, а счетом от Пагубы 374-й, выпал на високосный, предрекая великие беды и десять египетских кар. В високосный год Бог закрывает глаза, испытывая крепость веры людской, лишний день отдавая на откупление Сатане. Зима лютовала морозами, розоватое небо стекленело и лопалось, солнце потухло, снега заметали скаты бедняцких лачуг. В метелях слышался вой мертвецов. Волки пробирались за околицу и резали скот. Юродивые и монахи-расстриги, босые, грязные, покрытые рубищем и гнойными язвами, шатались по околоткам, пророча неурожаи и мор. Появлялись телята с шестью ногами, крестьяне полоумели и гнили живьем, у рожениц молоко скисало в грудях, исходило криком и умирали младенцы. Впервые за сотню лет замерзло Балтийское море, команды попавших в западню кораблей бросали суда с товаром и пробивались к земле, подальше от белого безумия и умертвий, прячущихся в пурге. Жители рыбацких селений убивали моряков без разбору и сжигали тела, ибо непонятно было, кто из них люди, а кто одержимые ледяными бесами кровожадные мертвецы. В Новгороде разразился невиданный голод, трупы лежали замерзшими грудями, ночью улицами правили безумцы, вкусившие человечины, у полиции не хватало сил, и ситуацию спасли только введенные в охваченный ужасом город войска. В Москве безумный царь Иван сжигал заживо ведьм, а из обрезанных у колдуний волос велел вить веревку длиной в четыре версты ^[1], по которой избранные взберутся на небеса и вымолят у Бога прощение для всей Русской земли. На юге орды порченных прорвали Большую засечную черту, выжгли три волости и большой кровью были разбиты на подступах к Самаре. В храмах, от заката до рассвета, били набат, отгоняя бесов и Черную смерть. Весны ждали как избавления...

Рух Бучила пробудился среди непроницаемой тьмы, пропитавшейся запахами склепа и гнили. Каменные стены сочились холодом. На миг почудилось, будто он закопан в могиле живьем. Глаза привыкали к потемкам, робкий сквозняк нес пресные ароматы талого снега, взрытой земли и пролившегося дождя. Рух сел, саваном вытянув за собой лохмотья седой пауты. Какой нынче месяц? Видно, апрель. Деревья и травы, очнувшись от спячки, жадно пили корнями живительный сок, пускали почки и завивали листья. Рух слышал, как копошатся мыши в полях и птица садится в гнездо. Отгуляна широкая и пьяная Масленица, сошла большая вода, зеленоволосые мавки завели хороводы в заповедных лесах, русалки выползли на припек из стылой торфяной глубины.

Весна – время надежды, радости и забот. А для Руха Бучилы и вовсе страда. Весной, кроме прочего, просыпаются заложные мертвецы. Из тех, что померли смертью дурной и Царствия Небесного так и не обрели. Вытаивают в распадах, царапают когтями стенки неглубоких могил, булькают в трясинах, увитые тиной, разбухшие, с животами, набитыми головастиком и ужом. Снедаемые голодом, стонут и грызут себе руки, алчут плоти живой. Ползут с перекрестков и поганых погостов к селам и деревням. А значит, время Руха Бучилы не вышло. Он еще нужен. Нужен мертвым и нужен живым.

Рух встал, словно паря в плотной осязаемой темноте. Ступни не чуяли укусов промерзшего пола. Суставы распрямлялись, сухо пощелкивая. Колени мерзко скрипели. Вот старая развальня. В теле поганая слабость, движения вялые, во рту горький привкус мышиноного дерьма. Надо поесть. Рух поморщился, наконец поняв, что его разбудило. Чертово пение. Монотонный гул сочился в череп, бился в висках. Вот оно что! Господи, ну кто надоумил их петь? Сам Дьявол испытывает на Рухе новую муку. И неплохо выходит! Сукины дети. Приглушенные толщей земли и камня голоса выводили самозабвенно:

– Выходи, батюшка, выходи-покажись!

«Сейчас я вам покажусь, сволочье...» – подумал Рух.

Батюшка-Заступа,
Сыт будешь и пьян.
Надевай кафтан,

На свадебку зван!

«Ах вот чего они горлопанят», – догадался Бучила.

– На свадебку зван...

– Да иду я, иду! – взорвался Рух, зловещее эхо заметалось по стылым каморкам, отражаясь от сводчатых потолков и ныряя в щели, заросшие чертополохом и мхом. Кафтан, говорят. Надо и правда сыскать чего попрличней. Негоже на свадьбу голодранцем являться. Особенно жениху.

Бучила заухал смехом, похожим на карканье старого ворона. Рваная истлевшая хламида упала к ногам. Рух остался нагим. Так и пойти? А толку? Ведь и слова против не скажут – задница голая, срам болтается, а кланяться будут, словно выряжен в соболя. Раньше Бучила и не такие шутки откалывал, а потом поостыл. Темен народишко и запуган. Подохнешь с ними с тоски.

Рух подошел к размокшему старому шкафу. Дверца открылась бесшумно, просто приставленная на нужное место. Давно хотел починить, да все недосуг. Весь в заботах, то спать надо, то жрать...

Изнутри в лицо бросилось нечто, показавшееся с перепугу крупным и злым. Рух отшатнулся и закрылся рукой. По голове полоснуло упругое кожистое крыло. Угревшийся внутри нетопырь мерзко пискнул и выпорхнул в залитый чернильным облаком коридор.

– Тварь! – крикнул мохнатому ублюдку Рух. – Попадись мне ужю!

Насмешливый писк летучего мыша затерялся в проходах. Напугал, гадина, сто чертей тебе в дышло. Бучила чуть успокоился и достал самый праздничный и по совместительству единственный балахон. Когда-то дивно прекрасный, сотканый одной знакомой ведьмочкой из шерсти черной козы, крашенной дикой лапчаткой и дубовой корой. Умелицей была та рыжая ведьма, и не только в шитье... Рыжая, конопатенькая, жаркая словно огонь. Славные были ночки... Время не знает пощады. Озлобевшие от голода смерды забили ведьму камнями, тело сожгли и развеяли прах, а ряса износилась, обтрепалась и утратила цвет. Выбросить не поднималась рука.

Он бережно, боясь окончательно изорвать ткань, встряхнул одеяние и чихнул так, что едва не оторвалась голова. Лохмотья взметнули облако едкой удушливой пыли. Жаль, солнца нет, уж больно

пылинки красиво пляшут и кружатся в лучах. Рух медленно облачился – жесткая, засаленная, покрытая соляной коркой ткань царапала кожу. Накинул капюшон.

На улице выводили печальные женские голоса:

И плавала утица по росе,
И плавала серая по росе.
И плакала девица по косе,
И плакала красная по косе.

Ой нетерпеливые. Свадьба в високосный год добра не сулит, жизнь у молодых не заладится. Ну и ладно, стерпится-слюбится. Опыт-то есть. Свадьба эта у него не первая, не вторая и дай бог не последняя. Бог, кхе. Церковь не одобряла таких выкрутасов, но какое дело Руху до Церкви? Святоши не трогали Руха, Рух не трогал святош. Всем хорошо. Тем более вдовцам дозволяется жениться сверх меры. Рух как раз из таких. Из вдовцов.

Из пролома в крыше синеватым потоком лился свет зловеще ухмыляющейся луны. Раньше луна была, а теперь ночное светило Скверней зовется. Мутный, увитый черными прожилками, разбухший уродливыми наростами шар. Три с копейками века назад небо лопнуло, океаны вышли из берегов, треснула земля и снизошла крошечная тьма. Что это было – никто никогда не узнал. Мириады сгнули, выжившие завидовали мертвым, и Скверня отныне висела напоминанием о былом. Предупреждением. И каждый восход нес очередную беду.

Бучила шел запутанным лабиринтом комнат, коридоров и тупиков. Капала вода. Не ахти какое жилище, зато сам себе на уме. И прежний хозяин не против. Умер давно. Дом на Лысой горе шестьсот лет назад заложил колдун-чернокнижник, пришедший на север откуда-то из-под Киева. По легенде, два яруса и шестиугольная башня выросли за одну ненастную ночь. Вел колдун себя тихо, на глаза не показывался, разбил сады с фонтанами и прыгающими китоврасиками... Ах да, это другая сказка. Свет в черном доме горел ночь напролет: зеленоватый, мигающий, жуткий. Люди рассказывали об ужасном зловонии и душераздирающих воплях. А потом в округе начали пропадать дети. В

душах посеялся страх. Мужики собирались угрюмыми кучками, вели долгие разговоры, спорили, точили косы и осиновые колы. Напасть не успели. Замок в одночасье сгорел. Что случилось – никто никогда не узнал. Белую вспышку видели в Новгороде, местный дурачок Ермолка, любивший гулять до рассвета, ослеп, размазав вытекшие глаза по щекам. От нестерпимого жара кипела река, деревья падали и горели на протяжении полуверсты. Стены обрушились, камни оплавившись, песок превратился в стекло. С тех пор черными клыками торчали развалины на вершине холма, зарастая лесом и сорной травой, служа пристанищем для мороков и загубленных душ. Люди обходили руины десятой дорогой, пока в подземелье не вселился Бучила. Проклятия меньше не стало.

Под ногами шелестел ковер сухих листьев, тонких веток и старых костей. Комнаты сменяли друг друга: темные, отсыревшие, стылые. Рух прошел мимо двери в алхимическую лабораторию. Одно время загорелся со скуки, книжек ученых насобирал, инструментами хитроумными обзавелся, уродами в банках для вдохновения, пару пудов всякой гадости для экспериментов из новгородского университета припер. Золото из куриного дерьма получить не хотел, от многого злата многие беды. Так, для себя кое-что. Сжег пальцы серой, надышался ртути, провонял смрадным дымом и охладел. Мензурки, горелки, перегонные кубы и реторты остались пылиться хоромами для пауков.

Рух вошел в большой круглый зал и замер, почуяв чужой угрожающий взгляд. По спине пробежал холодок. Что-то пряталось за растрескавшимися колоннами в темноте. Ушей коснулось сиплое прерывистое дыхание. Пахнуло мокрой псиной, свернувшейся кровью и разрытой землей. Зверушка домашняя? Вроде не заводил...

– Наше вам, любезный! – миролюбиво поприветствовал Рух, направляясь к месту, где притаился непрошенный гость.

За толстенной, в два обхвата, колонной мелькнула горбатая тень. На мгновение приоткрылись светящиеся, безжизненные, огромные словно блюдца глаза без зрачков. Открылись и схлопнулись. Послышались шлепающие шаги. Гость застеснялся и убежал, оставив после себя едва уловимый аромат стухшего мяса и обрывки воспоминаний. Злых, полных ненависти и лютой тоски. Не дом, а проходной двор. Самое поганое – не ясно, безобидный медвежишка из

леса или ломаная, склизкая, белесая тварь, из тех, что выползают из дыр в самых нижних ярусах подземелья. Со времен Пагубы какого только дерьма не развелось. Рух старался не спускаться в это царство гнили, тлена и ужаса. Бездонные норы уводили в первозданную тьму, и не все из них удалось завалить.

Воздух тянул свежий, напоенный весенними цветами и отголосками далекой грозы. Синее пятно возникло за поворотом. Дюжина выщербленных ступеней поднимались к выходу из огромного склепа. Прежде там были ворота, а теперь – бесформенная, затянутая корнями и лозой дыра. Ночь озарялась теплым факельным светом, песенный гул нарастал:

У ворот береза стояла,
Ворота ветками заслоняла,
Туда Марьюшка наша въезжала
И верхушечку березы сломала.
Стой, моя березонька,
Стой, милая, без верху...

Рух выплыл из подземелья, пение резко оборвалось. Ночь уставилась звездами, Скверня укуталась в облака. Дурковатый парень лет двадцати продолжал выделывать ногами кренделя, хлопая в ладоши и припевая:

Живи, мой батюшка,
Теперь без меня!
Хоп-хоп!

На него зашипели, зацыкали:

– Уймись, Прошка!

– Бесово семя!

– Заступа пришел.

Толпа человек в полсотни заполняла поляну перед руинами. Прошка оглянулся, испуганно ойкнул, повел ошалелыми косыми глазами и на четвереньках ускакал за спины односельчан. Жаль прерывать, забавляется человек. В темноте белели рубахи и лица,

факелы бросали тусклые отсветы и плевались смолой. За версту разило брагой и медом хмельным. Люди притихли, склонились в поклонах. Руху нравился их благоговейный отчаянный страх. Страх можно было черпать пригоршней из воздуха: сладкий, тревожный, густой. Одеты по-праздничному: рубахи вышитые, новые лапти. У измученных работой и податями крестьян так мало поводов для радости. Один, раз в году, дарит им Рух.

Из толпы вышли трое: седобородые, морщинистые, с клюками в узловатых руках. Старейшины: Аникей, Невзор и Устин.

– Здрав будь, Заступа-батюшка. – Устин, первый среди равных, склонился, мелко дрожа сухонькой головой. Красные глаза слезились. Остальные двое мели бородами землю. Пощелкивали скрюченные возрастом и болезнями кости.

– Здорово, деда, – милостиво кивнул Рух.

– Хорошо ли спалось, Заступа-батюшка? – Выпрямился Невзор, самый молоденький из старейшин, едва разменявший семьдесят лет. Не просто так спросил, с умыслом. Рух все для села – надежда и опора, оберег и защита. Оттого и прозвище Заступа ему. Издревле на севере Руси повелось – если хочется жизни спокойной, Заступу найми. Леса кругом и болота, человек тут незванный гость. Ведьмы озоруют – Заступу зовут, мертвяки шалют – Заступу скликают, лешаки дровосеков в чащу не пускают – поможет Заступа. А с тех пор как грянула Пагуба, без Заступы и вовсе никак. Большая беда пришла почти четыреста лет назад. В 1238-м предвестницей близкого светопреставления явилась татарская орда, сметая все на пути, словно прожорливая саранча из библейских преданий. Дело привычное, столетьями Русь оборонялась от степняков, возводила валы, выжигала кочевья дотла. Но в тот раз все было иначе, русские княжества ложились под копыта татарских коней одно за другим, захлебываясь кровью и воем. Устоял только Новгород, Бог, видать, спас. А может, не Бог, кто теперь разберет? Орда разорила Русь и нажравшейся тварью уползла обратно на юг, обложив завоеванное налогом и данью. Казалось, хуже уже быть не могло... Но ночь с пятнадцатого на шестнадцатое августа 1302-го года озарилась слепящей багрово-фиолетовой вспышкой, небо расколосось, обрушились стены городов, церкви и терема. Опустилась кромешная тьма. Утром солнце не встало, Черная Ночь длилась месяц, и под покровом смрадной удушающей темноты пришли твари, исторгнутые

самой Преисподней. Мир погрузился в хаос. Огромные волны смывали берега, плавился камень, трескалась и горела земля, целые страны тонули в крови. Демоны и кошмарные чудища несли опустошение и смерть. Никто не знал, что случилось в тот день, никто не считал погибших, никто не знал, как людям удалось уцелеть. Мутное больное солнце взошло лишь десятого сентября, дав отсчет новому календарю. Поток чудовищ иссяк, оставшихся перебили и загнали в леса, пустыни и горы. В кошмарных муках и океанах крови рождался новый мир, старому Пагуба нанесла смертельную рану. Исчезли народы и королевства, стерлись границы, поменялись очертания континентов, тысячи верст были выжжены, усеяны костями и пеплом. Наступил Темный век, век войн, сражений, ереси, всеобщего безумия и бесконечной резни. И длился он ровно 111 лет, пока в 1413-м году на Венском конвенте уцелевшие христианские государства не объединились и не дали отпор нечисти, дикарям, варварам и демонопоклонникам, сталью и огнем установив новый порядок. Заступам в нем выпала особая роль. Власть она далеко, а Заступа вот он, рядышком. Рух Бучила и малая толика подобных ему, взявших под защиту баб, мужиков и детей. Не будет Руха – не будет села, останется гарь да обглоданные нечистью костяки. И плата за это не так велика...

– Спалось хорошо, да мало. – Рух делано зевнул и спросил: – Как перезимовали? Нешто спокойно, раз не тревожили?

– Твоими молитвами, Заступа-батюшка, и Христос нас, горемычных, оберегал. Хлеба в достатке, детки здоровые, скотий мор стороной обошел. Одна померла коровенка на Рождество – почернели кишки, и зеленая кровь из всех дыр отошла.

– Волчатка?

– Она самая, кормилец, едва успели беду отвести. Как ты и наказывал: отрыли младенчика, помершего без святого причастия, зашили коровке в нутро вместе с живым петухом и сожгли на кострище, пеплом село по кругу обсыпали. Убралась лихоманка проклятая. Повыла за околицей, зубьями поклацала и ушла.

– Заложные себя тихо веди?

– Тихо, батюшка, снегу страсть намело, не выбраться им было до самого Благовещенья. Неделю назад возчики сгнули у Птичьего брода, тел не нашли. А давеча мужики слышали в лесу, возле брода, страшественный вой. То ли зверюга выводит, толь человек.

– Гляну, – благосклонно кивнул Рух. Вот и работа наметилась: раз померли лютой смертью и без похорон правильных, значит, уже поднялись. Помаются, помыкаются, оттаявшую в лесу дохлятину подьедят и куда пойдут? Точно, домой, память сохранившаяся в прогнивших мозгах к ребятишкам и женам потянет. Вот радости будет, как полезут в избы разложенные мертвецы.

– Ты уж сходи, батюшка, посмотри, – заискивающе улыбнулся Аникей. – Наши-то теперь страшатся Птичьим бродом ходить, до Наволока пятнадцать верст крюком дают. Помоги, батюшка. Мы в долгу не останемся.

– А пока вот. – Устин пошамкал беззубым ртом. – У нас товар, у вас купец, стало быть. Прими, Заступа, невестушку, не побрезгуй.

Невзор вытянул из-за спин молоденькую, лет этак шестнадцати, девку в белой рубахе до пят и с венком на голове. Девка оказалась вполне симпатичной, золотоволосой и остроглазой. Худосочной уж только, ни жопы, ни сисек. Рух недовольно скривился:

– Замухрышка какая. Год не кормили? Себе-то пуза наели.

Бучила шагнул к невесте, старейшины попятнулись, притихшая толпа шарахнулась, кто-то упал, задрал грязные пятки.

– Ты на внешности, батюшка, не смотри. Зато девица она невинная, аки ярочка, – оправился от страха Аникей.

Рух ухватил «ярочку» за хрупкие плечи. Головка у невесты держалась плохо, клонясь на плечо, тело мягкое и безвольное, огромные голубые глазища заволокла пьяная пелена. На жениха не смотрела, вялая, безразличная, еле живая. Ну точно, только девственницы тут не хватало.

– Разве о девицах был уговор? – строго поинтересовался Бучила. – Ведь знаете, каких я люблю.

Он руками обрисовал нужные формы. Вышло даже пышнее, чем требовалось.

– Надо девицу, – ослом уперся Невзор.

– Истинно так! – Устин ткнул перстом в ночное небо.

– Да с чего бы? – ахнул начавший терять терпение Рух.

– Устинья велела, – нехотя признался Аникей. – Надо, grit, непременно девицу Заступе в невесты отдать, тады рожь взойдет хороша и свиньи трижды опоросятся.

– Ну это, конечно, все меняет. – Рух надрывно вздохнул. Устинья подсурипила. Змеища колодная. Знахарка здешняя: лечит травами скот и людей, гадает девкам на суженых, порчу снимает и сглаз. Слово ее первое в выборе невесты для Руха. Не баба, а в заднице кость. Сам дурак, надо было в договоре невесту тщательно описывать и кровью крепить. – Звать ее как? – Рух обреченно посмотрел на невесту. Ладно, пойдет. Високосный год – он високосный и есть. Добра нечего ждать. Не жили хорошо и не будем.

– Марьюшкой, батюшка, – согнулся в поклоне Невзор. – Сиротка она...

– Без подробностей, приданого тоже не надо. – Рух грубо схватил невесту и потащил домой, богатства смотреть: битые горшки, зеленые кости, выводок жаб да табун пауков. Марьюшкина рука была ледяная и липкая.

– К Птичьему броду завтра схожу, как с супругой натешусь, – обмолвился Бучила через плечо.

Толпа заголосила на разные голоса, бабы заохали, закричали девки.

– Ой, горько мне! Го... – донесся залихватский выкрик неугомонного Прошки и тут же оборвался. В задних рядах вспыхнула потасовка. Хорошее дело, какая свадьба без драки? Рух мерзостно улыбнулся, рывком перегнул невестушку через руку и впился в плотно сжатые соленые губы. Марьюшка слабо затрепыхалась. Толпа огласилась азартными воплями.

– Ох, хороша молодая!

– Не девка – огонь!

– Совет да любовь!

Рух отстранился от манящего упругого тела. Всему свое время.

– Счастья!

– Совет да любовь!

– Погорлопанили и будет. Идите на хер! – Рух переступил границу тьмы с тьмой. Голоса утихали, народ повалил с горки шумной гурьбой. Ночь впереди веселая, пьяная. Заступу женили. Вдали, за Гажьей топью, ветвистые молнии рвали небесные потроха.

Бабья песня доносилась обрывками:

Отставала лебедушка,
Да отставала лебедь белая
Прочь от стада лебединого,
Приставала лебедушка
Да приставала лебедь белая
К черну ворону...

Невеста споткнулась в кромешной темноте, крепче вцепилась в руку. Послышался удар, видимо, локтем и сдавленный писк.

– Осторожно, ступеньки, – предупредил Бучила.

– Темно, батюшка.

– Так ночь.

Невеста едва слышно всхлипнула.

– Боишься меня? – спросил Рух.

– Боюсь маненько, – призналась Марьюшка. – Раньше страсть как боялась, а потом дедушка Анисим отвару дал, я успокоилась.

«Добрый дедушка», – хмыкнул про себя Рух, чувствуя на губах вязущий вкус конопляного масла, спорыньи [2] и мака. Опоили девку, потому и ноги еле несут. А по-другому невесты к Бучиле не ходят.

– Холодно, – пожаловалась невеста.

– Привыкай, в холоде мясо дольше хранится, будешь вечно молодой и красивой, – невесело отшутился Рух.

Марьюшка рассмеялась, словно бусы на серебряное блюдо просыпала.

– Печку бы затопить.

«Хозяйственная», – умилился Бучила. Разные у него жены были: покорные и вздорные, милые и сварливые, хохотушки и плаксы. Ни с одной не ужился. Может, вот она, та единственная? А если судьба?

В женскую половину он пропустил ее первой, сам следом вошел. Сквозняки дули из переходов и трещин, разбавляя сладковатый дух разложения. Невеста, сама того не желая, прижалась к суженому, ища тепла, но обретая стылость и тлен.

– Где мы, батюшка? Ничего не вижу.

Рух не ответил. Не счел нужным, прекрасно зная, что с такими молоденькими и упругими делают. Беседы закончились.

Он привлек невесту, ощущая прерывистое горячее дыхание, втягивая запах волос и женского пота. Руки коснулись бурно вздымающейся груди с напрягшимися сосками, скользнули ниже. Рух заворчал по-звериному, уже не сдерживая себя, и впился зубами в тонкую шейку. Марьюшка охнула и обмякла, ладошки разжались. Жила лопнула. Рот Бучилы раскрылся в лепестковую пасть, и он принялся жадно лакать горячую кровь. Вкусную, сладкую, пряную. Тепло разливалось по онемевшему мертвому телу. Жены, застывшие вдоль стен огромного зала, смотрели незрячими пустыми глазами, высушенные, заросшие паутиной и плесенью. Выпитые досуха. По одной в год. Сорок да девять, да еще одна. Полста жен упыря Руха Бучилы.

Ванькина любовь

Обретаюсь ни живой и ни мертвый. Пугало бесприютное, в Бога плевков. Зрю в грядущее мутным оком. Тьма внутри и темнота вовне. «Любовь победит», – шепчет голос бесплотный в самое ухо. Гоню его прочь, глумливым смехом давлюсь. Вместо смеха вырывается плач.

I

Ванька Шилов боязливо мялся у входа в подземную чернь. Из провала дышал холод, пахнувший смертью и тленом, лез под рубаху, смрадным языком пытаюсь уцепить за лицо. Беда привела Ваньку на Лысую гору к проклятым руинам. А иначе и не ходят сюда. Вчера были у Ваньки невеста, мечты и вера в Господа Бога. Сегодня нет ничего, отняли все, выжгли душу каленым железом, залили в дыру злость, опустошенность и страх.

Прожил Ванька на свете длинную жизнь, целых восемнадцать годов, уродился в отца – крепким, рукастым, светловолосым. Отец у Ваньки большой человек, не смерд-землепашец, не холоп, а купец. Дело горбом своим поднял, каждую копейку берег, корки плесневелые грыз, а выбился в люди, восковую торговлю завел, всю округу подмял. Сызмальства Ванька при отце по торговым делам: в Новгороде Великом иноземных купцов повидал: горделивых франков и свеев, бухарцев в длинных халатах с диковинными горбатыми лошадьми в поводу; любовался в Москве на белокаменный кремль, волок ушкуи ^[3] на перекатах, бесов лесных серебром отгонял.

Вольная жизнь по сердцу пришлась. И вдруг прикипел. Жила в селе Марьюшка Быкова, станом тонкая, с улыбкой застенчивой, синие глазища озорными огнями горят. Занялось от того огня Ванькино сердце, ходил как чумной, забыл о делах. Встречи искал. Улучил время, душу настезь раскрыл. Боялся, откажет. Навеки запомнил Ванька Марьюшкино сосредоточенное молчание и робкое «да». Чуть разума не лишился на радостях, в охалку Марьюшку сгреб. Та завизжала, ладошками в спину затюкала: «Пусти, медведь окаянный, пусти». Ванька остепенился, перестал на гульбище ходить, руки с Марьюшкой не распускал, хотя иной раз и подмывало, гулящих баб-то он рано узнал. А тут как отрезало. Страшился нарушить хрупкую девичью честь, мысли проклятые гнал. Ведь она... она такая... эх.

Велел отцу сватов засылать. Тот ни в какую, дескать, не пара, богатую невесту найдем, есть на примете одна. Пущай не красавица, зато приданого тыща рублей. Чуть не подрался с отцом. Обещался из дому уйти. Сдался отец, единственный Ванька наследник, некому больше торговлю вести. Сестренка младшая – Аннушка – махонькая

совсем, а вырастет, легче не станет: баба, какой с нее толк? Позлобничал отец и смирился, к Покрову свадьбу назначили. Хорошо, да больно долго уж ждать. Месяц прошел, а Ванька истосковался, измучился, высох. Уехал в Новгород с обозом. Вернулся, а от надежд пепелище. Без него порядили Марьюшку Заступе отдать, воскресшему мертвяку из проклятых руин. Труп с червями гнилыми вместо души. Обретался упырь при селе боле полвека, добрую службу служил: нечисть лесную отпугивал, людей и скотину от мора хранил, редко какому селу или городишку такая удача. За услуги требовал жертву кровавую по весне – девицу красную. Страшная плата, но без Заступы плата страшней. Вот и терпели люди, привыкли, так дедами заведено. Сколько невест Ванька сам проводил? Радовался вместе со всеми, костры палил, брагу в глотку до иступления лил, а теперь коснулось и самого. Да так коснулось, хоть вешайся.

Ванька поморщился. Знатно вчера почудил. Отбить пытался любимую, двоим успел носы на сторонку свернуть, да сзади саданули поленом по голове, очнулся запертым в бане, волосья на затылке в кровавую корку спеклись. Выл в оконце, бревна зубьями грыз, дверь ломал, да там и упал, обессиленный. Разрыдался взახлеб, слез не стесняясь, представляя, как терзает Марьюшку проклятая тварь. Утром выпустили: притихшего, сомлевшего, мутного. В спину шептали:

– Смирился.

– В покорности легче...

– Кротость пользительна для души.

Как же, смирился. Хер там. Из бани Ванька пошел прямыми домой, мать не слушал, сестренка отпрянула, обожженная взглядом. Огонь, и прежде горевший в Ваньке, из ласкового и теплого превратился в лютое пламя. От отца отмахнулся. Взял топор и ушел. Не прощался, но и вернуться не обещал. На опушке выбрал осинку, свалил в два удара, выстругал кол. Второй про запас. Обиду и ненависть в горсть. К отцу Ионе в храм Божий зашел. Меч душевный острить. Трудный был тот разговор, не шутейный. Настоятель не отговаривал, но и лихого дела не одобрял. Предупреждал о последствиях. Для Ваньки, для семьи его, для села, обдумать велел, поостыть. Ванька слушал и кивал, оставаясь глух. «Воды святой дай», – ласково попросил. Иона понял – парня с пути не свернуть, благословил неохотно, налил воды, вот она, в баклажке на поясе

булькает. Во всеоружии Ванька к проклятым руинам пришел – колья осиновые, святая вода, на шее низка желтого чеснока. Овощ злодейством великим взял, спер у бабки Матрены, ну ничего, Бог простит, ведь на благие дела.

Воздух из провала вытекал стылый, воняющий мертвечиной и падалью. Страшное таилось внутри. Ни разу Ванька так не боялся за всю свою жизнь, а ведь смельчаком себя почитал. С татями бился; видел, как оживают деревья в болотах, идут, вытягивая корни из глубины; заманивали его мавки, с виду красивые девки, а ниже пояса голый скелет; на спор ходил к старому капищу, где вырастают из земли валуны, испещренные непонятными письменами, красовался силой и удалью, а тут струсил, аж поджилки тряслись. Мыслишки поганые лезли. «Отступись». «Забудь». «Погубишь себя». «Марьюшку не вернуть». Заколебался Ванька. Наплевать на обиду, бросить все и уйти, куда ноги несут. Есть в Новгороде дружки. Податься в ватагу, грабить ливонцев и бусурман, там головушку буйную и сложить...

«Струсил, пес шелудивый?» Ванька встряхнулся, прогоняя дурные мысли и холодную дрожь. Закусил губу до крови, защелкал кресалом. В глиняной лампадке заплясал крохотный огонек. Слабый, трепещущий, еле живой. Комар бы у такого согреться не смог.

Вязкая темнота приняла его жадно, укутала смрадным дыханием, пробежала костлявыми пальцами по волосам. Раскрошенные каменные ступени уводили в стылую глубину. Болезненный мох, наросший у входа, остался последней чертой между миром мертвых и миром живых. Ступеньки кончились. Ванька обернулся. Вход подмаргивал бледным пятном, среди шевелящихся корней просматривалось синее небо. Хотелось расплакаться. Лампадка отбрасывала непроглядную чернь на пару шагов, заключая Ваньку в спасительный шар. Масло шкворчало и плевалось, обжигая руку. Он не замечал боли, сердчишко трепыхалось, кровь стучала в висках. Куда идти, Ванька не знал, утешаясь мыслями, что окаянный подвал небось невелик. Ну и просчитался, конечно. Проход раздвоился, разошелся узкими отнорками по сторонам. На пути попадались комнаты: одни пустые, гулкие, другие – заваленные кучами отсыревшего тряпья и сгнившего дерева. Угадывались остатки мебели: длинные лавки, столы, сундуки.

Ванька не удержался, рванул крышку окованного железными прутьями сундука. Слухи про упырью сокровища не на пустом месте поди родились. Скопил, подлюка, за годы, чахнет над золотом, пьет святую православную кровь. Ванька вурдалака заколет, а сокровища заберет. Сырым и убогим раздаст, церкву построит, остальное пропьет до гроша. Пойдет по Новгородской земле слава о новом богатыре.

В сундуке было пусто. Не дался в руки проклятый клад, слово надо верное знать. Во втором сундуке одиноко догнивала тряпичная кукла, в третьем смерделодохлыми кошками.

Ванька затряс головой, пристыдил сам себя: «Окстись, нешто за богатством пришел?» Коридоры уводили в глубь вурдалачьего логова. Зыбкий, разбавленный, словно молоко водой, дневной свет проникал через проломы и щели, окрашивая тьму мертвенной синевой. Местами потолок и вовсе обрушился, обломки камней громоздились под ногами, мешали идти. Сквозняки несли то потоки свежего весеннего воздуха, то гнилость и прель.

Ванька вывернул за угол и резко остановился, увидев впереди едва заметные отблески. Тусклый огонечек маячил во тьме. Сердце едва не вырвалось из груди, и Ванька спешно прикрыл лампадку рукой. Заметили, нет? Кто-то блуждал в темноте, огонек сместился и поплыл. Ванька крадучись двинулся следом и чуть не упал. Левая нога скользнула по краю, осыпав мелкие камешки. Прыгающий свет лампадки высветил бездонную пропасть. В полу зияла дыра, слышался отдаленный шум текущей воды. Уф, пронесло. Ваньку бросило в жар, он вытер пот с лица рукавом и чертыхнулся. Чужой огонечек пропал, затерялся во тьме. Ванька засуетился, вжался в стену и приставным шагом миновал провал по остатку пола шириною в ладонь. На глубине плеснуло, в воде мелькнула белесая спина с выпирающим позвоночником. Господи, чего только со страху не привидится! Ванька поспешил за огоньком, не забывая подсвечивать под ноги. Очень уж не хотелось брякнуться костями в бездонную пустоту. Тьма сгустилась, стала непроницаемой, липла к лицу, выпускала длинные руки-пальцы, стремясь затушить лампадку. А потом тьма вкрадчиво позвала:

– Ванюша.

У Ваньки волосы поднялись дыбом.

– Ванечка.

Голос смутно знакомый, чарующий, коленки ослабли. Марьюшка?

– Родименький мой.

Ванька дернулся на голос, пьяно шатаясь, голова затуманилась.

– Иди ко мне, Ванечка.

Ванька раскрыл было рот, но опомнился, вспомнил бабки покойной слова: «Ежели кликать будут в месте худом, на погосте иль на перекрестье дорог, отзываться не вздумай, враз пропадешь».

– Холодно мне, – плаксиво сообщили из темноты.

– На, грейся. – Ванька судорожно перекрестился по сторонам. Манящий голос тут же пропал, обернувшись затихающим плачем и мерзким смешком.

Ванька выдохнул – пронесло. Завернул за угол и попятился. Чужой огонек помаргивал в паре сажений ^[4], высвечивая темную сгорбленную фигуру. От напряжения заломило в висках. Фигура не двигалась. Ванька собрался с духом и шагнул, выставив осиновый кол. Незнакомец шевельнулся и медленно, словно нехотя, обернулся. Крик застрял в высохшей глотке. Ванька увидел себя. Двойник уставился черными дырами, оскалил голые десны, изо рта вместо языка вывалился ком пупырчатых щупалец. Ванька захрипел, отшатнулся, теряя равновесие, отвлёкся на миг, а когда поднял глаза, призрак исчез. Проклятое подземелье шутики шутило, или и вправду увидел Ванька себя и суждено ему отныне, до самого Страшного суда, плутать по каменным коридорам среди мрачных теней и неприкаянных душ?

Стены отхлынули, и Ванька вывалился в комнату необъятных размеров. Было сухо и холодно, лучики света косо падали с дырявого потолка. Из сине-серой дымки проступил силуэт, за ним еще и еще, обступая кружком. Ванька шарахнулся, замахнулся колом, но никто на него не напал. Время застыло, сожрало звуки и свет, только пылинки оседали хлопьями пепла. Статуи? Ванька осторожно подошел к крайнему силуэту и пошатнулся на обмякших ногах. Рубаха прилипла к спине. Прямо у входа безмолвным стражем коченел высохший труп – баба в истлевшей рубахе грубого полотна. Плесневелая кожа туго обтягивала череп, рот щерился в крике, костлявые руки повисли. Тело было прибито к стене железным гвоздем. Прядки темных волос, накрученные на гвоздики поменьше, удерживали голову.

Ванька оправился от страха, вытянул руку. Труп от легкого касания рассыпался в прах, кости упали к ногам, череп остался висеть, похожий на огромного паука.

«Сколько лет костяку?» – подумалось Ваньке. Рядом с первым, вдоль стены, застыл второй труп, дальше еще и еще. Иссохшие, истончившиеся, окоченевшие. Голые кости, торчащие зубы, жуткие оскалы, пустые глазницы, шершавая кожа, венки из полевых цветов на головах. Десятки трупов окружили Ваньку со всех сторон, не комната – склеп. Друг подле друга, сцепляясь руками, мертвецы вели свой дьявольский хоровод. И тут Ванька, обмирая от ужаса, узнал Василису Пискулину. Поднял лампадку повыше. Ну точно, она. Нос с горбинкой, бровь коромыслом, черная густая коса. Даже после смерти красивая. Мужик у ней в Ливонскую сгинул, осталась одна, хорошая баба, ласковая, парней привечала, и Ванька ходил, чего греха-то таить. Женатые мужики частенько заглядывали, чужая малина слаще всегда. Ну бабы подсуетились, словечко кому надо замолвили. Два лета, как Василису Заступе отдали. Вот, значит, и свиделись... Ванька шарахнулся в сторону, подавляя заячий вопль. Распятая на стене Василиса задергалась, пошла ходуном. Голова с остатками плоти поднялась и раскачивалась, блукая пустыми глазницами, плечи тряслись. Ванька приготовился дать стрекача. В глотке мертвеца шевелилось и чавкало. Из рта вылезла огромная крыса, сверкнула угольями глаз, винтом скользнула по телу и исчезла в темной дыре.

– Гадина! – Ванька поддал ногой, вымещая стыд за нахлынувший страх. Следующую мертвячку тож опознал. Прошлогодняя. Тьфу, слово какое-то мерзкое. Из Новгорода привезли. Сердце предательски екнуло. Если эта в прошлом году, то следующая...

Ванька метнулся дальше, подсветил себе, зашарил рукой по плесневелой стене. От радости замутило. Марьюшки не было. К добру или к худу?

Выход из зала, полного мертвецов, вывел в небольшую, залитую чернотой комнатенку. Тусклые отсветы выхватили признаки обитаемого жилья: вытертый персидский ковер, стол, заваленный книгами и пергаментом, узкое ложе у дальней стены. Сердце остановилось, сжалось до рези и вновь застучало, разгоняя вскипевшую кровь. Думал, в гробу тварь проклятая спит, а он, сука, в кровати. Медвежья шкура, застеленная на ложе, дыбилась высоким горбом. Сейчас я тебя! Ванька вытер вспотевшие ладони и поудобнее перехватил осиновый кол. Шаг, второй, не чувствуя ног. От напряжения ломило в груди. Еще шаг.

– Наверняка бей, – отечески посоветовал скрипучий голос из темноты. Откуда-то слева выплыла лысая шишковатая голова и страшная харя: трупно-серая, костлявая, пронизанная вздутыми черными жилами. Тонкие, сложенные в паскудной ухмылочке губы задули огонь, и снизошел зловонный ужасающий мрак. Ванька истошно завыл.

II

Придурка с заточенной деревяшкой вурдалак Рух Бучила почуял, еще когда тот топтался на входе. И мысли не надо читать. Явился по его, Руха, грешную душу, злодей. Вот она, судьбинушка горькая, живешь, никого не трогаешь, людишек оберегаешь, а каждый валенок норовит палку меж ребров всучить. Благодарность, мать ее так. Оттого все меньше на свете Заступ, а как переведется последний, тут и миру конец. Раньше Бучила ждал смерти, избавленья искал. Только старые охотники вывелись, а новые так и не родились. Не дождался Рух, отмучился, пообвык. А тут на тебе, здрасте...

Парень долго собирался с духом, страхом и ненавистью смердел. Решился. Полез без спросу, потревожил

соседей, рылся в вещах, жен ворошил. Ни почета, ни уважения. Словно в хлеву родился. Хотел Бучила дурную башку оторвать, на полку любоваться поставить, а передумал. Чай не изверг какой.

В опочивальню богатырь проник, по его меркам, бесшумно, крался к ложу, недоброе замышлял. Рух долгое время наблюдал за пришельцем, прекрасно видя во тьме. Решил помочь, по доброте своей неизбывной. Крика такого не слышал давно. Так кричат, ежели нутрянку клещами раскаленными рвут. Свет потух, лампадка брякнулась об пол, разлетелась на сотню кусков. Масло теперь оттирать...

Крик оборвался, и Рух едва успел отскочить. Быстро оправился, лиходей. Парень закрутился на месте, слепо разя во все стороны острым колом.

– Ты чего? – подавился Рух нехорошим смешком.

В ответ – сдавленная брань и удар на голос. Кол со свистом рассек темноту. Ух какой. Бучила мог закончить дело мгновенно, но предпочел поиграть. Отпрыгнул к выходу и поманил:

– Эй, а ну догоняй.

Парень дернулся следом, налетел на лавку и едва не упал. Пряткий, гаденьш.

– Под ноги смотри, расшибесси, – посочувствовал Рух, спиной шагнув в женскую половину, на зыбкий свет, едва пробивающий плотную темноту. Тут у охотничка будет шанс. Честность и

благородство – главные добродетели Руха Бучилы. За то и страдает всегда.

Супротивник выскочил следом, бросился к Руху, целя в лицо. Бучила легко уклонился и саданул поганца под дых. Парень охнул, сложился напополам, упал на колени и шумно проблевался. Такие нынче богатыри...

Рух закатил глаза. Женская половина – святая святых – безнадежно осквернена. Мордой, как котенка, надо бы навозить! Вурдалак молниеносно подскочил, вырвал кол и зашвырнул в темноту, добавив гостю ногой по лицу.

Надо отдать должное, парень не сдался. Подорвался, пуская слюни и кровь, бросился с голыми руками на упыря. Заорал неразборчиво, поминая чью-то несчастную мать и срывая с шеи чеснок. Рух пригнулся, овощи пролетели над головой. Какой идиот выдумал бороться с вурдалаками чесноком? Сами упыри эту байку и распустили. Приятно, когда не знают твоих слабых сторон.

Забава быстро наскучила, и Рух ударил гостя в середину груди. Парень словно напоролся на стену, всхрапнул загнанной лошадей и упал. Только ножки задергались, взрывая мягкую пыль.

– Достаточно? – миролюбиво поинтересовался Бучила.

– Ты... ты... – Парень заворочался, поднялся на четвереньки, пуская ртом багровую жижу. – Я... я тебя...

– Чего ты меня? Залижешь до смерти, слюнявый щенок?

– С-сука...

– Сам дурак. Чего бросаешься? Бешеный?

– Невесту забрал...

– Кто?

– Ты. Марьюшку мою украл. – Гость плюхнулся на задницу, в драку больше не лез. Не такой дурак, каким кажется.

– Не украл, а отдали по уговору, не тобой заведенному, – напомнил Бучила.

– На хер такой уговор. – Парень вытерся рукавом, в челюсти щелкнуло.

– Поговорим?

– Не о чем нам с тобой говорить.

– Звать тебя как?

– Ванькой.

– А я Рух. Рух Бучила.

– Херчила.

– Фу, грубиян. За невестой пришел?

– Ну.

– А спросить гордость не позволяет? Убивать зачем? Грех.

– Упыря не грех. Дело богоугодное, – буркнул Ванька, кося глазами в поисках чего бы потяжелей.

– Где сказано? – удивился Бучила. – Я в богословии наторел, Святое Писание изучил. Нигде про вурдалаков не упомянуто. Наоборот, писано – все дети божии. Вот и я дите.

– Отец Иона другое говорит.

– Пророк-то ваш доморощенный? У него язык – помело. Имел с ним беседу, доводы приводил, примеры исторические, Евангелие цитировал – как об стенку горох. Фанатик.

– Иона отговаривал тебя убивать.

– Большого ума человек!

– Я не послушал.

– И здорово преуспел?

– Преуспею ишшо. – Ванька глянул с вызовом. – Чего уставился? Давай пей кровушку. Твоя взяла.

– Не хочу, – признался Бучила. – Спасибочки, сыт. Не надо делать из меня чудище.

– А кто же ты есть?

– Вполне разумное, легко ранимое существо. На тебя обиду не затаил, молодой ты, а может, и просто дурак. Был бы умным, гостем зашел, поговорить да чашу хмельную распить, Марьюшку свою бы забрал.

– А ты бы и отдал? – насторожился Ванька.

– Смотря как попросить, – хитро прищурился Рух.

– Никак живая она? – вскинулся женишок.

– Живая. Ты ведь всех моих жен посмотрел, – уличил Бучила.

– Отдай невесту, Заступа, Христом Богом прошу. – Ванька бухнулся на колени и пополз к упырю. Уголек надежды разгорелся жарким огнем. – Все для тебя сделаю.

– Ну буде, буде. – Рух отстранился. – Мне много не надо, мы люди негордые. Пойдешь туда, не знаю куда, принесешь то, не знаю что, и невеста твоя. Плевое дело.

– Заступа-батюшка... – поперхнулся жених.

– Ну шутковал, шутковал, – не стал терзать Ваньку Рух и серьезно спросил: – Любишь ее?

– Пуще жизни, батюшка. – Ванька клятвенно перекрестился, втайне надеясь, что при виде крестного знамения сдохнет адская тварь.

– Понятно, без любви сюда б не пришел. Ну так забирай, для хорошего человека бабы не жалко. – Рух повысил голос: – Марья! Подь-ка сюда!

Ванька часто, с присвистом задышал. Из темнотищи медленно выплыла белая, похожая на призрака тень. Марьюшка ненаглядная. Живая! Бледная, осунувшаяся, с растрепанными волосами и робкой печальной улыбкой.

– Родненькая! – Ванька бросился невесте на шею.

– Тихо-тихо, – остановил Бучила. – Эко прыткий какой. Бабу будем делить. Ты к себе зови, я к себе кликать начну, к кому пойдет, того и жена.

Ванька напрягся, сжал кулаки.

– Да ладно, вдругорядь пошутил, – успокоил Бучила. – Прямо несет чегой-то с утра, удержу нет. – И строго спросил у Марьюшки: – Ну а ты, лебедушка, любишь жениха, или неволит ирод тебя?

– Люблю, батюшка. – Марья опустила глаза.

– Все честь по чести. – Рух виновато развел руками и сказал Ваньке: – Прости, должен удостовериться был. Чай не чужая, душой прикипел.

– За ночь?

– Иная ночь целой жизни длинней. – Бучила многозначительно подмигнул. – Ладно, проваливайте.

– Батюшка... – ахнул Ванька.

– Ступай-ступай, – отмахнулся Бучила, опомнился, придержал Ваньку и шепнул на ухо: – Ты это, не серчай, ежели что, не девица она больше. Такие дела.

– Да ничего, – невпопад отозвался Ванька, голова была занята совершенно другим. – Благодарствую.

– За что? – растерялся Бучила.

– За все. – Ванька взял Марьюшку за руку. Она прижалась к нему, родная, манящая, желанная. Они поклонились Заступе в пояс и пошли в сторону выхода.

– Эй! – окликнул Бучила. – Хорошенько подумай! Назад не приму!

Ванька не обернулся.

Рух стоял и пристально смотрел им вслед. Не бывает любви? А что это тогда? Любовь или победит, или раздавит, третьего не дано. С невестой он расстался без сожалений, легко пришла, легко ушла, будут еще. Но дело нечистое. Впервые девку на выданье отдали, да при живом женихе. Обычно как? Собирают Заступин мыт [\[5\]](#), со двора по копейке, покупают рабу, Бучиле и отдают. Тайну блюдут, думают, не знает он, мол, обставили дурака. А Руху все едино, лишь бы свадьба была. Из своих, нелюдовских, если и отдают, то редко, которых не жалко. Странно. Очень странно. А странности Бучила ух как любил...

III

Тьма нехотя разжала липкие пальцы, солнце нестерпимо резануло глаза, Ванька мешком повалился в траву. Его трясло. Леденящий холод, зачерпнутый в подземелье, не хотел уходить, свив зловонное гнездо где-то под ребрами. Пахло нагретой землей, свистели пичуги, и небо было синее-синее. Ванька перевернулся на спину, широко раскинув ослабевшие руки. Господи, живой. И невесту выручил! Мог ли о таком еще утром мечтать? По чести – боялся наружу идти, думал, мороком окажется Марьюшка, насмешкой упырьей, развеется туманом, увидев солнечный свет. Обошлось.

Марьюшка присела рядом, робкая, бледная, милая. Босые ножки изодраны в кровь, на лодыжках расползлись ссадины и синяки. Изменилась за ночь: осунулась, похудела, под глазами залегли черные тени, золотые волосы поблекли, утратили цвет. Только улыбка прежняя, родная и теплая.

– Думала, свету белого не увижу. – Марья тихонечко положила голову Ваньке на грудь. Он осторожно, боясь развеять тихое счастье, коснулся пальцами сухих ломких волос. Хотелось одного – лежать рядом целую вечность, наслаждаясь уединением и тишиной.

– Куда мы теперь, родименький? – спросила Марьюшка.

– У меня поживешь. – Ванька все уже твердо решил. – Осени ждать не будем, свадьбу сыграем в ближайшее время. А там как Бог даст.

– Ванечка, – прошептала Марьюшка, прижимаясь всем телом. Коса упала, приоткрыв на шее синюшный кровоподтек с двумя дырочками посередине, затянутыми спекшейся коркой. Ваньку передернуло. Какая сволочь этот Заступа. Сколько душ перевел? Польза от него есть, но какая цена? Ладно Марьюшку вырвал... Ага, вырвал, стыдища какая, навалял нечистый тебе. Как уляжется, сразу в Новгород ехать, патриарху Иллариону в ноги упасть. Владыка верой тверд, нечисть велит огнем выжигать. Покается ему Ванька, обскажет, как упырь село подчинил. Не оставит патриарх паству в беде, пришлет молодцов в черных одеждах с белым крестом. Вдругорядь посчитаемся!

В глотку словно набили сухого песка. Ванька встал на нетвердые ноги, сорвал баклажку и долго пил, отфыркиваясь и проливая на грудь.

В башке прояснилось. Он подавился, вдруг вспомнив, что в посудине святая вода. Ну и дурак. Кто ж воду святую так хлещет? Как с вурдалаком дрался, забыл о воде, а она, глядишь бы, и помогла. Да чего уж теперь...

– Идем. – Он крепко сжал Марьюшкину ладонь.

– Ночи б дожждаться. – Она испуганно сжалась. – Люди там, боюсь я их.

– Куриным дерьмом пусть подавятся, – напыжился Ванька и притопнул ногой. – Мы худого не делали. Идем.

Марьюшка посмотрела доверчиво, Ванька через ладонь слышал дикий стук маленького сердечка. Тропка бежала с холма, прочь от страшных руин, ласково нашептывал березняк, пронизанный солнцем, высоко в поднебесье завис крохотный жаворонок, напевая победно и радостно. Какое дело Ваньке до людей? Упыря не спужался, и тут честь не уронит.

Решимость иссякла при виде зачерневших среди молоденькой зелени крыш. Вот и село. Век бы его не видать. Отец не обрадуется, матушка плакать удумает. Сукина жизнь. Тропа вильнула собачьим хвостом, выводя на околицу. Нелюдово – село большое, зажиточное, вольготно раскинувшееся на торговом тракте из Новгорода Великого в Тверь и далее на Москву. Не одну сотню лет стоит село на берегу медлительной Мсты, что катит черные воды сквозь непроходимые дебри, мимо разрушенных языческих капищ и могильных курганов до самого Словенского моря – озера Ильмень. Издревле звалось село Нелюдова Гарь. Во времена светлого князя Ярослава поселился на реке странный человек Нелюд, откуда пришел и что за душою принес, никто никогда не узнал. Людей сторонился, жил бобылем, поставил избушку. Нечисть чащобная Нелюда не трогала. Выжег поле, высеял рожь. Была просто Гарь, стала Нелюдова Гарь. Привел жену, в соседних деревнях не сватался. Люди говорили – лесную мавку замуж принял. Детишки пошли диковатые, черноглазые, с волосами цвета сохлого мха. Росло Нелюдово племя, лес выгорал десятинами, была одна изба, стало полдюжины. Завистники из соседней Помилówki зубоскалили, дескать с дочерьми Нелюд грешил, бесов тешил. А может, и правда был колдуном, кто теперь знает? Обронил Нелюд семя в благодатную почву. Малый хуторок вырос в большое село, славное купцами, волокушами, бондарями и промысловиками. Уходили из

Нелюдова молодцы в Пермь и за Камень, в ратях бились с рыцарями на Чудском озере и при Раковоре, душегубничал в окрестностях тать и разбойник Абаш Берендей, уйму кладов на древних погостах зарыл. Княжеские усобицы и злые язычники-татары обошли Нелюдово стороной, владычный Новгород податями не донимал, торговля шла бойко, и беспокоила нелюдинцев только крепнущая, разбухающая под боком Москва.

Тропка влилась в накатанный тракт. Околичные дома поставлены кругом, меж ними высокий тын и дозорные башни. Двое крепких ворот. Село с наскоку не взять, пробовали лихие люди – кровью умылись. Ванька все ходы и выходы знал, мог ворота и миновать, да не схотел. Негоже в село воровскими стежками лезть. От чужих глаз все равно не укроешься. На Тверских воротах сторожами Истома Облязов и Васька Щербанов, Ванька еще с утра подсмотрел. Старик Облязов черной вороной горбился в открытых воротах, опираясь на рогатину с толстым захватанным древком. Васьки, старого Ванькиного приятеля, не видать, дрыхнет поди. Ну точно, вон и лапти из копны торчат. Ванька крепче сжал Марьюшкину ладонь. К воротному столбу была приколочена башка кикиморы, просмоленная, высушенная на солнце, до сих пор внушающая ужас, покрытая наростами и бахромой коротких щупалец, с пастью, полной кривых желтых клыков. Рядышком, насаженные на колья, пялились пустыми глазницами на прохожих уродливые головы трясцов, глушовцев и дремодарей. На самих воротах красовался вычурный, затейливо изогнутый хищный змий в форме буквы «З» – знак Заступы Руха Бучилы, чтоб его, проклятого, Пагуба взяла.

Облязов подслеповато шурился, сияясь рассмотреть появившихся на дороге людей. И разглядел. Сторож неожиданно проворно скакнул к куче сена и отвесил спящему тумака. Лапти дернулись, послышалось сдавленное мычание. Из вороха поднялась включенная голова с одутловатым, отекившим лицом и дурными глазами, грязная рука инстинктивно искала задевавшийся куда-то топор.

– Ты чего, дядька Ис... – заканючил Васька и застыл с открывшимся ртом.

Ванька с Марьюшкой вошли в родное село. Преград им никто не чинил. Старик Истома надсадно пыхтел, Васька слюни пускал, не вполне понимая, проснулся он или видит затейливый сон.

– Здорово, Василий, – поприветствовал Ванька дружка.

Васька неразборчиво булькнул в ответ, глаза полезли на лоб. Ванька распиная лезущих под ноги кур и горделиво вступил на кривоватую, в ямах и выбоинах улицу. Кое-где из непросыхающей грязи дыбились остатки бревенчатой мостовой. В месиве вальяжно похрюкивали толстые порося. За заборами рвались остервеневшие псы. Идущая навстречу дебилая баба с коромыслом на могучих плечах остановилась и обмерла, переводя испуганный взгляд с Ваньки на Марьюшку. В деревянных ведрах плескалась вода. «Примета хорошая», – подумалось Ваньке. Хотелось в тот момент верить в хорошее. До жути хотелось, до рези под сердцем. Баба развернулась и пошла обратно к колодцу, словно забыла чего. Ускорила шаг, бросила коромысло и, подобрав юбки, побежала по улице, истошно вопя:

– Убил! Заступу убил! Убил!

Белые лодыжки мелькали с ужасающей быстротой. Ванька поморщился. Началось. Ну что за народ? Чертова дура, клятое помело.

– Ой, что теперь будет, Ванюша, – испуганно выдохнула Марьюшка.

– Не бойсь, за мною не пропадешь, – сам не очень-то веря, отозвался Иван. – От упыря утекли, а эти мне что? Тьфу.

– Люди страшнее. – Марьюшка прижалась к нему.

– Ничего, – раздухарился Ванька, почувствовав себя сильным и нужным. – Пусть ужо сунутся!

Хлопали калитки, люди отрывались от работы, бросали дела. Недоумение на лицах сменялось страхом и непониманием. Не бывало в Нелюдове, чтобы Заступина невеста вернулась живой. Слышался сдавленный злой шепоток. Народ шел следом, толпа росла, разбухая как паводок, впитывая новые и новые ручейки. Разом заголосили бабы, заплакал ребенок.

Ванька шел к дому, втянув голову в плечи, стараясь не зыркать по сторонам, не встречаться глазами. Объяснять бесполезно, сделаешь хуже. Толпа не слушает, она жаждет одного – рвать и кромсать. Дурная весть про убийство Заступы вихрем облетела село. Теперь доказывай не доказывай, все едино. Здесь, в Новгородчине, убить Заступу – самый великий грех. Село без защитника обречено. Ванька видел знакомые лица, искаженные масками страха и ненависти. Перекошенные рты, пена, оскаленные зубы, колы и палки в руках.

– Иуда, – упало проклятие в спину.

– Убивец.

– Всех нас убил!

– На бабу сменял.

Толпа сомкнулась.

Ванька остановился, набрал в грудь воздуха и громко сказал:

– Люди добрые, не велите казнить, ве...

Первый камень шмякнулся в грязь, второй попал Ваньке в лопатку. Он качнулся, зашипел от боли, но не упал. Следующий камень угодил повыше виска, оставив глубокую сечку. Ванька заурчал по-звериному, подгрёб Марьюшку, закрывая собой. В голове помутилось, ноги налились слабостью, клочок сорванной кожи лез на глаза, сочась липкой обжигающей кровью. Мысли смешались.

Накатилось смрадное, визгливое, многоголосое сборище. Удар поперек хребта бросил Ваньку на колени в жидкую навозную грязь. Ну вот и все. Добыл невесту, дурак? Руки поймали пустоту. Марья пропала, непостижимым образом вывернувшись из-под него. И тут же общий гомон прорезал звенящий надрывистый крик:

– Не трожьте его! Не трожьте!

Ванька поднял залитые кровью глаза. Марьюшка стояла над ним, одна против всех, похожая на маленького боевитого петушка с зажатым в ладошке клоком жидких волос. Прочь от нее отползал на заднице старик Толопыгин, выронив палку. Бороденка старика на левой щеке была выдрана с мясом. Толпа подалась назад. От Марьи Быковой, девки тишайшей и доброй, никто такого не ожидал.

– Сволочи! – иступленно крикнула Марьюшка. – Стаей слабого рвать! Ненавижу! Всегда ненавидела! Будьте вы прокляты! Жив Заступа! Ванечка выручать меня пришел, а Заступа, добрая душа, взял меня и отдал!

Людишки притихли, запереглядывались.

– Сходите проверьте! – Марья притопнула ногой, указав в сторону Лысой горы, склонилась к Ваньке. – Пойдем, Ванечка, не тронут они.

Ванька поднялся со стоном, в спине мокро щелкнуло, никак ребра сломали, диаволы. Он стоял и смотрел на Марьюшку: смелую, сильную, неустрашимую. Глазам не верил. Она ли робела, боясь за полночь на свиданки к старым ивам ходить? Чудеса!

Марья шагнула, толпа дрогнула, отхлынула, давая проход. Она пошла первой, ступая словно лебедушка, горделиво неся голову на тоненькой шейке. Девка, не убоившаяся разъяренной толпы. Красавица, защитница. Ванькина невеста. Он выпрямился, скалясь страшно и вызывающе, пихнул крайнего мужичонку плечом. Их не преследовали, не забрасывали камнями, не проклинали, поверив на слово Марье, невесть каким образом вырвавшейся из лап упыря.

Ванька вздохнул с облегчением, увидев родные ворота. Дома и стены помогут. Сердце предательски екнуло. Чем встретят? Пока не зайдешь, не узнаешь. Калитка открылась бесшумно, сам недавно петли салом натер, чтоб на гулянки шастать ночные. Двор чисто выметен, ни соринки, ни пылинки, матушка блюдет чистоту. Изба – пятистенок, крытая тесом, в окружении подклетей, амбаров и сараев, с резными конями на крыше и высоким крыльцом. Большой дом для счастливой семьи. Так думалось. Теперь как Бог даст...

Из-под забора с рыком выкатился огромный взлохмаченный пес. Клацнули в жутком оскале длинные зубы.

– Ай! – Марьюшка испуганно вскрикнула.

– Тю, проклятый! – замахнулся Ванька. – Никак не узнал?

Огромный дымчатый, усеянный репьями кобель натянул звенящую цепь, брызжа с клыков пенисто-желтой слюной. Уши прижались к башке, шерсть вздыбилась, бока пошли ходуном. Ванька отпрянул – зубы щелкнули возле ноги.

– Тише, – ласково сказала Марьюшка и протянула ладонь. Грозное рычание оборвалось, пес понюхал пальцы и протяжно, умоляюще заскулил, пушистый хвост обвис между лап. В следующее мгновение кобель прижался к земле и резко подался вперед, целя в горло.

– Хватит, Серко! – Подбежавшая фигурка упала собаке на спину, не дала сделать последний прыжок. – А ну, пошел! Кому говорю!

Серко зазвенел цепью, скрылся в конуре. Перед ними осталась краснощекая девочка в синем сарафане и белом платке. Улыбчивая, крохотная, с веселыми глазами и конопатым лицом. Аннушка. Ванькина семилетняя сестра.

– Я переживала, – насупилась она. – Куда ушел? Теперь-то понятно!

Она бросилась, обняла обоих, завсхлипывала:

– А я... а ты... А батюшка злой. Грит, пушай не вертается... А матушка плакала... А я ей говорю: «Не реви...» Дурак, дурацкий дурак!

– Прости, Анька. – Ванька подхватил сестру на руки, чмокнул в нос.

– Фу, не слюнявь. – Аннушка прижалась брату к груди, нашарила и притянула Марьюшку. – Ой, как я рада...

С крылечка вальяжно спустился пушистый, черный с белой мордочкой кот Васька, первейший Аннушкин друг и любимец. Притащила она год назад крохотного, задрипанного, еле живого котенка. Под забором в крапиве нашла. Задние лапки от голода отнялись. Ванька хотел из жалости утопить. Аннушка не позволила, выходила, отпоила козьим молоком, отогрела в постели. Превратился доходяга в красавенного, игривого, знающего себе цену кота.

На пороге появилась мать. Охнула, привалилась к стене, рот прикрыла рукой. Глаза на мокром месте. Не чаяла сына увидеть. Ванька виновато улыбнулся. Мать сделала шаг, собираясь броситься к ним, и замерла. Из дома вышел отец. Угрюмый, нечесаный. Брагой пахнуло аж до ворот. Плохо дело, запил купец. Ванька приготовился к худшему. По пьяному делу отец дурным становится, может и зашибить. Сколько крови мамке попортил? Через это рано и постарела. Суров Тимофей, нравом крут.

Отец недобро глянул из-под лохматых бровей.

– Явился?

– Явился. – Ванька глаз не отвел. Хватит, вырос уже. На силу другую силу найдем.

– И эту привел? – Мутный взгляд задержался на Марье.

– Привел!

Отец смерил тяжелым, налитым злобой взглядом.

– Ну-ну. – Сплюнул, попав на бороду, и, пошатываясь, убрался в избу. Внутри что-то обрушилось, зазвенело, покатилося, зазвякало.

– Уф, – фыркнула Аннушка. – Как же я испужалась! Батюшка тебя прибить обещал!

– А ты и рада, лиса, – уличил сестренку Иван.

– Скажешь тоже. – Аннушка прижалась тесней. – А вы насовсем?

– Насовсем. Свадьбу сыграем.

– Только о свадьбах и думаете! Вправду Заступу убил?

– Нет, – качнул Ванька башкой. – Поговорили с ним, всего и делов.

– Ох и смелый ты, Ванька.

Кот настойчиво мявкнул, призывая хозяйку.

– Уж какой есть.

Ванька поставил сестру на землю, к матери подошел. Евдокия сидела на крыльце, привалившись спиной к прогретым солнышком бревнам; в морщинках, собравшихся вокруг глаз, блестели слезинки.

– Все хорошо будет, матушка, вот увидишь, – улыбнулся Ванька, понимая, что говорит не то и не так.

– Дай Бог, – Евдокия улыбнулась слабо и вымученно. – Веди невесту, сынок.

– Матушка! – Марья упала к ее ногам и принялась целовать натруженные, перевитые синими жилами руки. – Матушка.

– Была одна дочка, теперь будет две, дожила на старости лет. – Евдокия коснулась Марьюшкиных волос. – Ступайте в избу. А я маненечко посижу отдохну. Сердце жмет. Сейчас вечерять соберу.

Ванька привел невесту в горницу. Шиловы жили богато. Изба большая, просторная, не чета бедноте, уютящейся вповалку и старый и малый. У Ваньки горенка, у Аннушки с Васькой горенка, у матери с отцом опочивальня, просторная обеденная, где отец и торговые дела вершит, гостей принимает, да для челяди закутки – девки Малашки и долговязого Глебки.

Сели к оконцу, рядышком, и долго молчали, боясь порушить сплотившую их близость. Думали каждый о своем и об одном одновременно. Солнце садилось, затихало село, мычали коровы, щелкал кнут пастуха. В доме слышался неразборчивый голос отца и тяжелые, постепенно затихающие шаги. В дверь тихонечко поскреблись.

– Вань, а Вань.

– Ну чего, пострела?

В горенку просочилась Аннушка. Васька маячил за порогом, внутрь не пошел.

– На вот. – Сестренка подала ледяную глиняную крынку и кусок чего-то теплого, обернутого чистой тряпицей. – Поисть принесла. Батюшка дюже злой, вас кормить запретил, а я в чулан прокралась и стащила.

– Мамка дала?

– Ага. – Аннушка рассмеялась и широко зевнула. – Ну, я побегу.

– Беги. – Ванька проводил сестру взглядом. В двери мелькнул черный хвост.

Только тут Ванька понял, насколько оголодал. В тряпице оказался пирог с грибами, в крынке – жирное молоко. Накинулся жадно и торопливо, отфыркиваясь и ухая. Марьюшка ела вяло, пощипала пирог, едва пригубив молоко.

– Не ндравится мамкина стряпня? – обиделся Ванька.

– Что ты, Ванечка, Бог с тобой! – всполошилась Марьюшка. – Не хочется, кусок в горло не лезет. Мне много не надо, сытая я. Ты кушай, вон какой большой у меня. И сильный.

– Я такой! – Ванька напыжился, собрал крошки в ладонь, закинул в рот, допил молоко, вытер белые усы.

Марьюшка смотрела сквозь слезы, улыбнулась невесело и тихо сказала:

– Ты прогони меня, Ванечка, беда одна от меня. А тебе жить надо.

Словно ножом Ваньку пырнули, поник он, понурился, навалился грудью на стол, захрипел:

– Дура ты, Марья, дура как есть! Я за тебя... я за тебя! Эх! Дура!

– Ты ругай меня, Ванечка, ругай. – Марья бросилась на шею, придушила жарким объятием. Теплая, родная, милая. – Люблю я тебя, больше жизни люблю! Век благодарна...

– Ну буде, буде, – опешил Ванька, отстранил невесту и встал.

– Куда ты? – испугалась Марьюшка.

– Спать. Ты тут, а я на сеновал.

– Не бросай меня, родненький, не хочу я одна.

– Люди чего подумают? – Ваньке пуще всего хотелось остаться.

– Теперь не все ли равно?

– Не все! – отрезал Ванька. – По-хорошему у нас будет, Марья, по-божески. Спи. Завтрева свидимся.

Марьюшка словно еще меньше стала, сжалась в комок. Ванька поцеловал ее в лоб, закрыл дверь, постоял, переводя дух, и вышел из притихшей избы. Стемнело, на небе народились первые звезды, ветерок дул прохладный и ласковый, как Марьюшкино дыхание. Он забрался на сеновал, расстелил одеяло и лег, рассматривая узор на досках и осиные гнезда под потолком. День выдался тяжелый и

длинный. Упырь Рух Бучила и подземные ужасы казались теперь далеким сном. Звезды вызрели и сверкали серебряной россыпью, ключьями ползли подсвеченные Скверней сизые облака. В Гиблом лесу были волки. Зловеще хохотал козодой. Заскрипела лестница, и Ваньке показалось, что на сеновал проник дикий зверь. Узкая сильная ладошка зажала рот. Запахло весенним лугом и молоком с легким, едва уловимым послевкусием свежей земли. Марьюшка. Она стянула рубаху, обнажив небольшую упругую грудь. Рука отнялась от лица, и он почувствовал вкус ее мягких обжигающих губ...

IV

Аникей Басов, первый из старейшин Нелюдова, проснулся среди ночи в липком поту. Еще не придя в себя, истово закрестился на огонек лампадки в красном углу. Уф, спаси Господи, и помилуй. Приснилось Аникею, будто шлепает он в темнотище крошечной, сам не знамо куда, выставив руки наперед, как слепец. А из темноты кличут по имени, манят. Ласковым таким шепотком. Аникей спешит на зов, не может противиться и неожиданно проваливается в черную яму. Шмякнулся об доньшко и проснулся, растудить твою душу...

– Ты чего всполошился, хер старый? – прошамкала с печки жена, бабка Матрена. Ишь, услышала, чума. Заноза в заднице, а не старуха, диавол в юбке, Аникеево наказание за грехи.

– До ветру, Матренушка, захотел, – угодливо отозвался Аникей. За годы сумел примириться с бабкиным нравом. Без Матрены Аникею так бы высоко ни в жисть не взлететь. Без приданого и нужных знакомств покойного тестя Григория Полосухина. Всем обязан ей Аникей, оттого и терпел.

– Так иди, чего стонешь?

– Иду, Матренушка, иду! – Аникей заспешил к выходу на сведенных костной хворью ногах. До ветру ему и вправду хотелось. Аж резало низ живота.

– В корыто не напруди! – пригрозила Матрена. – Живо бороденку оттяпаю.

Аникей удрученно вздохнул. Гадина старая, как есть сатана. За печкой похрапывала работница Глашка. Помогала по хозяйству дьяволу в юбке: воду таскала, за скотиной следила, мыла полы. Ладная баба, молодая, задницей угол заденет – весь дом задрожит. Сиськи из рубахи вываливаются, сами в руки хотят. И с Аникеем ласковая, дедушкой кличет. Эх, щас бы к ней под бочок... Из-за занавески доносилось размеренное дыхание и пахло потным разгоряченным женским телом.

Аникей с трудом оторвался от щели, вышел в сенцы. Ага, под бочок. Матрена ухватом по темени вдарит – забудешь, чем баба отлична от мужика. Улица встретила прохладой и темнотой. В хлеву шумно возилась свинья. Аникей заспешил через двор, зябко поджимая

босые ноги. По-весеннему ледяная земля кусала за пятки. Отлить хотелось так, что не было терпежу. Проклятая баба! Старческие пальцы лихорадочно потербели завязки подштанников и затянули узел еще крепче. Холера те в бок! Увлечшись, не заметил, как от ворот отделилась черная зыбкая тень и поплыла прямо к нему. Аникей приплясывал и ругался сквозь зубы, пытаясь сладить с тесьмой. На глаза навернулась слеза. Тень приблизилась, и участливый голос спросил:

– Помочь, Аникей?

Помогать нужды уже не было, старейшина Аникей Басов, большой по нелюдовским меркам человек, опорожнился прямо в портки.

– Ну тише, тише, не верещи, – попросил Рух, глумливо посмеиваясь про себя. Знатно пуганул Аникея, спасибо не помер. И ведь не хотел пугать, так получилось, слишком долго ждать деда пришлось. Старикам пока в голову влезешь и дозовешься – наплачешься. А дело-то спешное.

– Ты? – Аникей выпучил глаза.

– Ну я, а ты кого ждал?

– Н-никого. Ну и сволочь ты, Заступа.

– Не лайся.

– Я в штаны напрудил!

– Новые принести? Я мигом, только скажи.

Аникей заохал, держась за промежность. Надрывно вздохнул и спросил:

– Чего тебе?

– Проведать зашел.

– Ага, поверил я. Чего надо?

– Слышал поди, невесту-то у меня Ванька-постреленок отбил.

– Слышал. – Аникей скорчил рожу. – Они как приперлись, ахнули все. Такой переполох поднялся, упаси Бог. Думали, пристукнул Ванька тебя.

– Пытался, чутка не хватило.

– А фурия эта, Марья, как с цепи сорвалась, люди поговорить хотели, так она на них кинулась, и пострадавшие есть.

– Горячая девка. – Рух мечтательно причмокнул.

– Мы к тебе, Заступа-батюшка, гонца посылали.

– Испугались?

– Как Бог свят, испужались. Куда мы без Заступы-то? Пропадем.

– Лестно.

– А гонец вернулся, грит, Заступа живой, показаться не показался, но лаялся так, что и слышать не доводилось.

– А чего он орал? – пожаловался Бучила. – Может, я спал. Дело ли, человека будить?

– Не дело, – согласился Аникей и поморщился. – Так, стало быть, ты Марью-то отпустил?

– Отпустил. Добрый я.

– Ага, добрый. Точно. – Аникей подтянул сырые штаны. – Нешто побрезговал, батюшка?

– О том речи нет, свою пенку снял, – отмахнулся Рух. – Ты лучше скажи, Аникей, как на Марью жребий пал? Неужто Заступин мыт не собрали?

– Собрали, – затряс седой бородой Аникей. – Все до копеечки, как полагается, и людей в Новгород снарядили, да не срослось.

– Чего так?

– Устинья поперек дороги нам встала, – наябедничал старик. – Ты знаешь, ее слово в выборе невесты самое первое. Раньше-то она не совалась, поглядит, покивает, да и все, а тут словно вожжа под хвост угодила. Сказала, кости гадальные велели Заступе из своих девицу непорочную дать. А ежели нет, то будет два года неурожай, скотина охромеет и дети народятся страшилами. На Марью и указала.

– Устинье какой с того интерес?

– А не знаю, – развел руками Аникей. – Может, нет интересу, а может и есть.

– Хм.

– Люди меж собой всякое говорят, – старейшина понизил и без того тихий голос до шепота и воровато огляделся. – У Устиньи дочка – Иринка, соков женственных набрала, и, дескать, замыслила мать выдать ее за Ваньку Шилова, а Марьюшку, невесту его, через тебя извести.

– Вот оно как, – удивился Бучила. Ну и Устинья! Решила и рыбку съесть, и все такое прочее. Хитрая баба. Дело приняло совсем иной оборот. Нехорошее чувство возникает, когда тебя попытались использовать.

– Устинья страсть как озлобела, узнав, что Марья живой вернулась и у Ваньки живет, – сообщил Аникей. – Чисто мегера. Сатаниил.

– Осатанеешь тут. – Рух потерял к старейшине интерес. – Тебе, Аникей, спать не пора? Любишь ты разговоры вести, прямо удержу нет.

– Так я пойду? – оживился старик.

– Так иди.

Аникей поклонился и засеменил к избе, смешно, по-журавлиному выставляя длинные тощие ноги. Хлопнула дверь, лязгнул засов. Руха Бучилы на дворе уже не было, пополночные визиты продолжились.

V

Устинья Каргашина еще не ложилась. Глубокая ночь – лучшее время для отложенных дел. Тех дел, что белым днем не свершишь. Устинья не зналась с чертями и не молилась старым кровавым богам, до сих пор дремлющим в чащах и топях, не приносила в жертву младенцев и не летала на помеле. Хотя ведьмой была потомственной, получившей дар от матери, а та от своей. Немножко гадалка, немножко колдунья, больше лекарка и мастерица в снятии порчи. Всего по чуть-чуть. Достаточно, чтобы быть нужной людям и не взойти на костер.

Сизый дымок от лучины клубился под потолком, тоненькой струйкой утекая в окно. Изба наполнилась пряными ароматами полыни, одолени, гармалы, зверобоя, лапчатки, зайцегуба и еще тысячи трав. От живота, от глаза, от женских и коровьих болезней, для мужской силы, да мало ли для чего. У Устиньи на всяк случай своя травка припасена.

Знахарка сидела, подперев голову руками. Перед ней на столе в бадье настаивались болиголов, можжевельник и чеснок, приправленные сухими веточками березы. Заваренный в ночную пору, до полнолуния, отвар поможет детям избавиться от кошмаров, прогонит демонов-сонников, норозящих забраться в открытые рты.

Дочка – Иринка шестнадцати лет – посапывала на лавке, разметав по подушке черные косы, похожие на свившихся змей. Материна надежда и радость, ей, когда придет время, передаст Устинья свой дар.

Рыжий, какой-то совершенно не подходящий для колдовских целей, слегка ободранный, разбойничьего вида кот, свернувшийся рядом, внезапно наострил порванное в многочисленных драках ухо. Гибко вскочил, выгнул спину дыбом и зашипел на стену.

– Ты чего, Асташ? – Устинья напряглась, кошачий страх передался и ей. За стеной послышались тихие вкрадчивые шаги. Или ветер шумит? Устинья тяжело задышала. Асташ ворчал и шипел. Иринка забеспокоилась во сне, белая рука соскользнула на пол.

В дверь отрывисто постучали. Устиньино сердце едва не оборвалось. Кого черт принес?

Стараясь ступать бесшумно, прокралась в сени, прихватив приставленный к стенке топор. Асташ не пошел, не дурной. Трусливая

скотиняка. Тяжесть железа вселила уверенность. Стук больше не повторялся. Устинья прижалась к двери, прислушалась. Тишина. Рядом брехали псы.

– Кто там? – с придыханием спросила знахарка. Никто не ответил. Может, почудилось? Устинья коснулась засова. Не открывай, дура, не открывай! Она встряхнулась, прогоняя липнувший страх. Каждого чиха бояться?

Распахнула дверь и проворно отскочила, готовя топор. Никого. Устинья вышла на крыльцо, ее потрясывало. От обиды закусил губу. Верно, прохожий шутнул. Или парни озоруют, скучно им, падлам. Почти успокоившись, она прошлась по двору, помахивая топориком, проверила калитку, заглянула в темный страшный амбар. Внутрь зайти поостереглась. Вроде знакомое, а ночью все другим кажется – настороженным, злым. И темнота изменилась, став опасной и жадной. От амбара Устинья на всякий случай отступала спиной. Береженого Бог бережет. С крыльца осмотрелась еще раз. Задвинула засов, не заметив пары комочков рассыпчатой влажной земли на полу.

В горнице словно стало темней, хотя лучина горела прежним ровным огнем. Устинья вдруг перестала дышать. Мысли птицей метнулись к оставленному в сенях топору. Дура, чертова дура. В красном углу, под иконами, сидел человек в темной хламиде, лицо закрывал капюшон. Устинья подавила рвущийся вскрик, стрельнула глазами на дочь. Иринка спокойно, умиротворенно спала.

– Здравствуй, Устинья. – Голос ночного гостя был низок, вкрадчив и хрипл. Знакомый такой голосок. Человек сдвинул капюшон, приоткрыв худое, резко очерченное лицо, пронизанное сеткой черных болезненных жил. Тонкие губы тронула мерзостная усмешка. На знахарку пристально глядели страшные завораживающие глаза – белые бельма, без радужки, с черной точкой зрачка.

– Напугал, проклятуший. – Устинью чуть повело.

– Не тебя первую, если это поможет, – ласково, по его меркам, улыбнулся Бучила. – Ты проходи, будь как дома, садись.

– Спасибо. – Устинья присела напротив упыря, страх понемногу ушел. – Говорила: ночью не приходи. В прошлый раз соседка увидела, распустила слух, будто Степка Кольцо ко мне шастает.

– А Степка не шастает?

– Ты пошто пришел? – проигнорировала Устинья скользкий вопрос.

– Соскучился.

– Угу, дура я.

Рух откинулся на спину, посмотрел пристально и сказал:

– Очень давно, в той еще жизни, гадала мне знахарка одна. Счастья обещала воз, богатство, любовь. Радовался, верил. А оно вона как вышло.

– Пожалеть тебя? – фыркнула Устинья, не понимая, куда клонит упырь.

– Можно и пожалеть, я до ласки ух какой жадный. А лучше погадай мне, Устинья, слышал, мастерица ты кости кидать. Кстати, чьи? Запойного пьяницы-самоубивца? Они вроде самые верные. Или бычьи?

– У младенчиков кровь выпиваю, а костями в кружке бренчу. – Устинья напряглась.

– Марью таким макарком сосватала мне?

– Ах вот ты приперся чего. – Устинья взгляда не отвела. – Дело мое, кого я сосватала, тебе какая беда?

– Не люблю, когда мной играют. Очень от этого злюсь, – признался Рух.

– А кто играет? – загорячилась Устинья.

– Не знаю, но обязательно выясню. А пока с тебя спрос. Слухи дошли, Иринку свою хочешь за Ваньку Шилова выдать, вот Марью и спровадила мне.

– Кто сказал? – Устинья побелела.

– Ну мало ли кто. Люди. Я, знаешь ли, общительный, умею развязывать языки.

– Врут люди твои, – вспылила знахарка и осеклась, боясь разбудить спящую дочь. – Чтобы я ягодку мою за Ваньку Шилова отдала? Кобелюку паршивого? Да ни в жисть! Не дай Бог с семейкой их породниться.

– И то верно, не пара он Иринке твоей, я сразу так и подумал. – Рух искоса посмотрел на спящую девку. – Красивая она у тебя, кровь с молоком, может, отдашь за меня, чтобы свиньи хорошо поросились и злой неурожай миновал? Так ты вроде нагадала? Я возьму.

– Нет, – вскинулась травница.

– А чего, в женихи не гожусь? Рылом не вышел? – Рух оскалил клыки, приоткрыв лепестковую пасть. Устинью передернуло.

– Наврала я. – Она инстинктивно прикрыла дочку собой, так наседка закрывает цыпленка, увидев ястреба в небесах. – Набрехала и про поросей, и про неурожай. Кости всякое показали, а я додумала.

– И зачем?

– Не моя тайна. – Устинья отвела взгляд. – Уходи, Бучила, не мучай. Все равно не вышло у нас.

– Не скажешь?

– Не скажу.

Рух помолчал, задумчиво поскреб черным ногтем стол и проговорил:

– Пятнадцать весен тому, к воротам Нелюдова прибилась бродяжка – голодная, босая, окровавленная, раздетая, с умирающим младенцем в слабых руках. Свалилась в канаву у ворот, просила еды. Лохмотья на спине разошлись, и все увидели – женщина клеймена как скотина. Крест в круге, знак московского патриарха. Ведьма. Люди хотели камнями забить. Помнишь, Устинья, кто их остановил? Помнишь, кем была та бродяжка и что с ней стало потом?

– Помню и никогда не забуду, – с придыханием ответила знахарка, роняя внезапно закружившуюся голову на руки. – Все тебе расскажу...

VI

Ночка миновала, полная страсти и нежности, запахов прошлогоднего сена, пыли и неистовой жаркой любви. До изнеможения, до животного стога, до закушенных до крови губ. Первый и словно в последний раз. Марья ушла, едва небо чуть засветлело и звезды начали потухать, оставив после себя тепло и хмельное кружение в голове. Поспать Ваньке так и не удалось. Вскочил с рассветом, счастливый, довольный и радостный. Умылся, хлеба кусок ухватил, по хозяйству захлопотал. Горы готов был свернуть. Воды натаскал, дров наколот, задал овса лошадям. Аннушка вышла заспанная, руками всплеснула. Отродясь не видела брата таким. Мать улыбалась тайком. Поняла, что к чему, почуяла женским нутром. Глава семейства храпел в опочивальне, просыпался с криками, орал на весь дом. Всю ночь шатался по кабакам, дружки притащили под утро, усадили у ворот: расхристанного, пьяного, вывалянного в грязи. Тимофей упал, пел матерные частушки, грозился в предрассветную тьму. Своих не узнавал. Едва уложили.

Сердобольная Аннушка хлопотала над отцом, успокаивала, таскала из подполья крепкий огуречный рассол. Отцовскому загулу Ванька обрадовался. Знал, предстоит сурьезнейший разговор. К Шиловым зачастили гости. То соседка за солью, то кума поздоровкаться, то мимохожий зайдет. Искоса посматривали на Марью, незаметно крестились, пришлось ворота закрыть.

Марьюшка помогала во всем: быстрая, сноровистая, умелая. Они почти и не говорили, лишь изредка обмениваясь взглядами шальных обжигающих глаз. Матушка к обеду покликнула, когда Марья, подметавшая двор, вдруг побледнела и едва не упала, схватившись за столб.

– Марьюшка! – Ванька подскочил, успел поддержать.

– В голове помутилось... ох. – Марьюшка обмякла у него на руках, потеряла сознание.

Грудь вздымалась бурно и тяжело. Лицо приняло землистый оттенок, она засипела, из носа капала водянистая алая кровь. Напуганный Ванька потащил невесту в горницу, бережно опустил на

ложе. Прибежала Аннушка, сунулась под руку, округляя от страха глаза.

– Вань, Вань, чего тут?

– Марьюшке поплохело, – огрызнулся Ванька, не зная, что предпринять.

– Ое-ешечки! – Сестренка вылетела из комнаты. – Матушка! Матушка!

Марьюшке становилось хуже и хуже. Лоб покрылся испариной, рубаха приклеилась к телу, лицо заострилось. Лежала раскаленная, мокрая, вялая. Ванька приготовился расплакаться от бессилия.

Вошла мать, оттерла сына плечом. Склонилась к Марьюшке, положила руку на лоб.

– Горит девка. Беги за лекаркой, живо!

– Это я щас! – Ванька пришел в себя, опрометью бросился на улицу. С полдороги спохватился, вернулся, схватил рубаху, потянул на бегу через ворот.

– Анька, воды! – донесся в спину материн крик.

Никогда так Ванька не бегал, дышать стало нечем, спицей колото в боку. Лекарка Ефросинья жила на другом конце села возле Тверских ворот. Бабка поможет, всякие болезни знает и лечит, как телесные, так и душевные. Берет недорого, кто сколько даст. Ванька бежал, распугивая курей, перепрыгивая грязные лужи. Наступил в воду, черпанул через край. «Марьюшка, Марьюшка», – прыгала в голове дикая мысль. Впереди замаячила островерхая крыша. Всем телом ударился в калитку, залетел на двор. Огляделся. Бабка Ефросинья ковырялась на огороде, таяя землю мотыжкой. Рядом дергался приживала – оживленная волшебной деревянная кукла высотой бабке до пояса с ручками на шарнирах и грубо намалеванным краской лицом. Такие еще встречались у старых колдуний, помогая по хозяйству и в ведовстве. Увидав Ваньку, приживала заслонил хозяйку собой. Ефросинья, напуганная вторжением, погрозила сухоньким кулаком.

– Куды лезешь, диавол?

Ванька попер на нее.

– Репу подавишь, лободырный [6]! – Приживала замахал тоненькими ручонками. – А ну повертай!

– Отвали, полено. Спаси, бабушка. – Ванька хлопнулся на колени, не обращая внимания на разбушевавшегося деревянного человека. –

Невеста помирает.

– Марья? – Лекарка подозрительно прищурилась.

– Она.

Ефросинья отступила, щеря беззубый рот.

– Пуцай помирает, оно и к лучшему выйдет.

– Бабушка!

– Заступе невесту верни. – Ефросинья погрозила пальцем. – Она с ним повязана, так и будет соки тянуть. Ту жилочку порвать сил моих нет, дело богомерзкое, грешное. Не возьмусь. К Устинье иди, авось подмогнет. Ну, а ты чего встал? – ощерилась бабка на приживалу. – Копай!

От бабки Ванька рысью неся, задыхаясь и падая. Из конца села в конец, как дурак. А Марьюшка помирает... Лишь бы успеть. Изба Устиньи за глухим забором, ни щели, ни перелаза. Ведьма она, вот и прячется с глаз людских, вершит худые дела. За помощью к ней обратиться – душу продать. А куда денешься? Ванька заколотился в ворота, как мотылек.

Устинья открыла сразу. На Ваньку уставились чернющие, омутные глаза.

– Чего тебе?

– Там это... – Ванька зашелся надсадным кашлем. – Марьюшка помирает. Помоги, век служить тебе буду!

– Уходи. – Устинья попыталась захлопнуть калитку.

– Помоги. – Ванька сунул в щель ногу. – Помирает...

– Мне что с того? Твоя голова где была, когда к Заступе полез? Уходи.

Устинья налегла на калитку, стукнул засов.

Обратно Ванька шел, не разбирая пути. Для себя решил: помрет Марьюшка, сначала Ефросиньин дом подожжет, потом и Устиньин. Опосля себя порешит. Пусть знают. Домой зашел, хлопнул дверью что было сил.

– Цыц! – Из кухни выглянула недовольная мать. – Не шуми, спит она, отпустила лихоманка проклятая, жар унялся.

В горницу Ванька как на крыльях влетел. Марьюшка спала, разбросав по подушкам спутанные русые косы. Грудь вздымалась спокойно и ровно, на щеках появился румянец. Ванька обессиленно сполз спиной по стене.

– Кис-кис! – Вошла Аннушка и пожаловалась: – Васька пропал. Не видал?

– Нет, – Ванька мотнул головой. Кот сейчас волновал его меньше всего. Он и раньше исчезал то на день, то на два, ничего страшного. Весна на дворе.

– Только был, и нету его! – развела руками сестра. – Марьюшка заметалась, закричала, он и испугался поди, обормот. Мы с маманькой с ног сбились, то к Марьюшке, то к отцу, а тебя все нет и нет. А тут коровки вернулись, мы к ним. Пока бегали, глядим, а она и выздоровела совсем. Такие вот чудеса!

VII

К вечеру Марьюшка не проснулась. Ванька будить не стал, сидел цепным псом, ожидал. Внезапный недуг отступил, выпустил девку из лап. Домашние вели себя тихо, даже отец не буянил. Сунулся в горницу, посмотрел волком и отбыл в кабак, заливать непонятное горе. Мать громыхала горшками, Аннушка, не найдя Ваську, занялась рукоделием. По дому плыл аромат свежего хлеба и щей.

Ванька поклевал носом и незаметно уснул, забылся тяжелой болезненной дремотой. Проснулся рывком. Свеча почти догорела, время к полуночи. Темнота налилась чернотой, густела вдоль стен. Ванька потянулся, зевнул да так и застыл. Марьюшки не было. Смятая постель остыла, лоскутное одеяло отброшено в сторону. «К Бучиле ушла!» – пронзила первая глупая мысль. Ванька засуетился, выскреб огарок, запалил новую свечку. Темное облако нехотя отступило, сжалось в углах.

Высунул нос из горницы. Темно и тихо было в избе, лишь под печкой шебуршились и попискивали мыши. Ванька прокрался в сени. Свечные отблески прыгали по ушатам и веникам. Он замер, уловив странный шум. На конюшне беспокоились лошади, били копытами, фыркали. Словно волка почуяли.

Ванька толкнул двери на двор. Внутри клубилась пропахшая навозом и гнилым сеном темнота. В хлеву завозились, в длинную щель просунулись свинские пяточки, щетинистые бока терлись о жерди. Коровы, Буренка с Малушей, проводили Ваньку сонным задумчивым взглядом. Кони похрапывали. Никак домовый балует, гривы плетет? Увидеть его – большая удача. Ванька, обмирая со страху, вошел на конюшню, подняв свечу над головой. Теплый свет отбрасывал тьму на пару шагов. Ноги бесшумно ступали по рыхлой подстилке. Ломовик, ленивый вислогубый Каурка, и две пристяжные кобылы испуганно жались к черным стенам. Остро пахло нагретой медью. Посреди конюшни каменел Жаворонок, смолистый вороной жеребец, отцовский любимец. Дивно красивый и быстрый. Под бархатной шкурой мелко подрагивали упругие мышцы. Задние ноги подгибались в полуприседе. К шее коня, резко выделяясь на угольном фоне, припала белая

скособоченная фигура. Слышалось жадное чавканье. У Ваньки волосы встали дыбом. Надо было топор прихватить, да чего уж теперь...

Фигурка дернулась, угодив в полосу света, ушей коснулся сдавленный хрип. К Ваньке повернулось страшное окровавленное лицо. Багровые подтеки сползли на грудь, в оскаленном рту белели острые зубы.

Сука! Ванька оступился и едва не упал. Тварь прыгнула с места на полусогнутых, выставив руки перед собой... И замерла. Косматая голова склонилась к плечу, уставив на Ваньку крохотные, наполненные безумием глаза.

– Ванечка? – растерянно спросила тварь. Перед ним стояла Марьюшка: поникшая, жалкая, страшная. С уголка губ, пузырясь, сочился багровый кисель.

– Ты чего это? – невпопад спросил Ванька. Его мутило.

– Я не знаю. – Марьюшка с ужасом рассматривала залитые кровью руки. – Ванюша, Ванюша...

И упала без чувств.

VIII

Чуть свет Ванька был на Лысой горе. В стылую дыру не полез, на своих ошибках учатся. Крикнул вниз, слушая гулкое эхо:

– Бучила! Бучила! Выйди на час!

Ответа не было, упырь издевался или крепко спал. Наконец из кромешной тьмы донеслись шаркающие шаги. Тени зашевелились, потекли кудлатыми прядями, потянуло нечистым болезненным воздухом. Рассветное солнце пугливо замерло на изломе черных лесов.

По ступенькам поднялся Бучила в балахоне до пят, с глубоким капюшоном на голове, кисти спрятаны в рукавах. Похож на монаха, да не монах.

– Че приперся? – Рух посмотрел выжидательно. Внутри у него звенели серебряные колокола. Приятно побеждать. Знал, что придет.

– С Марьюшкой беда, – выдохнул Ванька.

– То ли еще будет, – обнадежил Бучила.

– Ночью у коня кровь пила.

– Вот оно как, – притворно удивился Рух. – Быстрая. Ах, ну да, прибывающая луна. Стоило ждать.

Ванька подался вперед, пытаясь заглянуть Бучиле в глаза.

– Об одном прошу, ответь на духу: Марьюшка моя станет такой же, как ты?

– Как я? Ну уж нет. Я вурдалак, мертвец неуспокоенный и восставший, вурдалачьим зовом из могилы поднятый. Смертью лютой обретший новую жизнь. Сохранивший разум. А Марья твоя обратится упырем, тварью злобной и обезумевшей. Сегодня кони, завтра люди. Жажда будет расти, съедать изнутри. Сначала кровь, потом мясо. Одичает и изменится, станет бояться солнечного света и проточной воды.

Ванька стоял, покачиваясь на каблуках. Кулаки сжал добела. Все рухнуло, рассыпалось в прах.

– Лекарство...

– Лекарства нет, – отрезал Бучила. – Есть два пути. Оба тебе не пойдут. Первый – уйти от людей, скрыться в лесах. Ты и она. Если поить козлиной кровью, заваренной на чертополохе и красном

грибе, выгадаете несколько лет. Будешь засыпать, не зная, проснешься или нет.

Рух многозначительно замолчал.

– А второй? – выдохнул Ванька.

– Девку убей.

Ванька похолодел.

– Тогда будет выбор, – закончил Бучила. – Похоронишь, и Марья возродится с полной луной, вырастет из-под земли, станет вурдалачкой, родичем мне. Если любите, будете вместе. Мертвый с живым. А проткнешь колом – успокоишь навек. Тебе решать.

– Ты мог мне сказать. – У Ваньки в горле заклокотало.

– Мог, да кто меня слушал? Дома она?

– Ну, – напрягся Иван. – Запер и велел никому не входить, сказал, лихоманка вернулась.

– Рисковый ты, – хмыкнул Бучила, улыбка вышла паскудной.

Ванька попятился, меняясь в лице, повернулся и побежал вниз по тропе. Ветер рвал рубаху, трепетал в волосах. Ванька бежал. Ворвался в избу, сложился наполоам, хватал воздух ртом, держась за косяк. Дверь в горницу была приоткрыта, роняя в коридор лучик яркого света. Марья пропала, оставив после себя измятую, скомканную постель. Выпустили! Ох, е! Он едва не расплакался и тут увидел торчащий из-под ложа кусок черной шерсти. Свалился на пузо, сунул руку, нашарил мягкое. Сердце учащенно забило. Ванька вытащил мертвого кота, легкого, словно былинку. Окоченевшие лапки торчали колом, мутные глаза выкатились, шерстка на шее слиплась в засохшей крови. От упитанного Васьки остались кожа да кости. Нашелся котейка.

Мать прибиралась в хлеву.

– Марья где?

– Напугал, окаянный! – вскинулась мать. – Ты где был? Ушли они.

– Кто?

– Марьюшка с Аннушкой. На реку... Ванька, стой!

Мать кричала, прохожие шарахались в стороны, от ворот свистели и гикали. Перед глазами плыло, расходились и лопались цветные круги. Ванька знал, куда бежать. К трем кривым ивам, макающим ветки в омут, где со дна бьют ледяные ключи. Их любимое место...

Ванька запыхался, упал, несколько шагов одолел на четвереньках, поднялся, шатаясь как пьяный. Старые ивы встретили угрожающим шепотом. Птицы не пели, солнце померкло. Ванька заорал дико, заблажил, увидав у воды крохотное тельце в лазоревом сарафане. Аннушка лежала на берегу, и ивы пытались прикрыть ребенка тонкими гибкими кронами. В остекленевших, полных удивления глазах отражались плывущие облака, из разорванной шеи толчками шла алая кровь. Ножки взбили песок, руки намертво вцепились в траву.

Ванька рухнул на колени и захрипел. Слез не было – выкипели.

В зарослях зашуршало, он резко повернулся. Из-за деревьев вышла Марьюшка, застенчиво улыбнулась. Милая и родная. Впечатление портили багровые подтеки на губах и груди. Ваньку трясло.

– Ты... ты... ты зачем? – Он поднялся, раскачиваясь.

– Любимый. – Марьюшкин голос очаровывал. – Я не виновата... Я ради любви... Ванечка.

Ванька окоченел, позволяя обнять себя. Они опустились в песок. Марьюшка жалась щенком, виновато заглядывала в глаза.

– Уедем, ты и я, нам не нужен никто, Ванечка, – шептала она, пачкая его кровью сестры. – Злые они, не поймут, а у нас любовь...

– Оно так, – отвечал Ванька чуть слышно, баюкая любимую на руках. Хотелось лечь и уже не вставать.

– Уедем далеко-далеко. – Марьюшкины глаза горели безумным огнем. Она украдкой облизнула липкие пальцы.

– Оно так, – повторил Ванька.

– Люби... – Марьюшка хоркнула, скосив глаза на нож, торчащий ниже левой груди. Ванькины слезы капали ей на лицо. Он бил снова и снова, чувствуя теплые струйки, выплескивающиеся на живот, и сосущую пустоту. Клинок легко входил в мягкую плоть. Марья обмякла, руки разжались.

– Ванюша...

Ванька надрывно, по-волчьи, завывл.

Аннушку снес домой, бережно опустил на ложе рядом с котом. Сестра и ее котейка, Ванькина плата за несбывшуюся любовь, за счастья единственный день. Убрел, шатаясь, прикрыв уши руками, заглушая истошный материн крик. Марье вбил в сердце осиновый кол,

зарыл невесту под тремя старыми ивами, на высоком речном берегу. Ни холмика, ни креста не оставил, пускай зарастает быльем. Стоял, опустошенный и сломленный. Вспоминал себя, обмирающего со страху перед логовом упыря. Обид не таил. Сам виноват. Была мечта, осталась черная гарь. Шагнул было к омуту. Нет. Грехи можно лишь искупить. Блеклое солнце коснулось земли, бросило извилистые жирные тени. Ванька Шилов без оглядки уходил по дороге на Новгород.

IX

Дзынь. Дзынь. Рух забавлялся, роняя монеты на стол. Серебряные кругляши обжигали пальцы огнем и разлетались с мелодичным брэнчанием. Горница пропиталась застоявшимся перегаром, кислятиной, овчиной и стухшей мочой. Пламя свечи колебалось и прыгало. Мужик, разметавшийся на ложе, сдавленно замычал. Из недр битой молью медвежьей шкуры тяжело поднялась лохматая голова. Роба опухшая, заплывшая синяком, в нечесаной бороде налипла засохшая блевотень. Дико вращались налитые кровью глаза. На Тимофея Шилова было страшно глядеть. Допился.

– Кто таков? – прорычал Тимофей.

– Заступа, – любезно представился Рух. – Вставай, Тимоша, поговорим.

– Не о чем мне с тобой разговаривать, чудище. – Тимофей закашлялся, подхватил с пола кувшин и забулькал, кадык заходил ходуном. Пил жадно, проливая на грудь. По горнице разлился пивной дух.

Тимофей отфыркался, грохнул кувшином по столу, уставился на монеты.

– Деньгу принес, образина? У меня своих курья не клюют.

– Любишь серебришко? – полюбопытствовал Рух.

– А кто не любит?

– Мертвые, – вкрадчиво сказал Рух. Тимофей отшатнулся, в осоловелых глазах мелькнул страх.

Рух сгреб деньги в кучку.

– Пятнадцать гривен, Тимофей.

– Эка невидаль, тьфу.

– Столько ты заплатил Устинье, чтоб нагадала мне Марью отдать.

Тимофей Шилов вмиг протрезвел. Съежился, втянул голову в плечи и прошипел:

– Откуда узнал?

Рух неопределенно пожал плечами.

– Можно скрыться от людей и от Бога, от меня не скроешься, Тимофей. Не хотел сына на беднячке женить, гордыня взыграла, отговорить не сумел, ни угрозы, ни посулы не помогли. Серебро

тайком Марье сулил. Отказалась она от денег поганых твоих. Не предала любовь свою. Тогда удумал злодейство. Все рассчитал, Устинью уговорил. Она и не отпиралась, серебро на дороге не валяется. Сладились вы. Нагадала знахарка Марьюшке злую судьбу.

– Моя то воля, отцовская, – захрипел Тимофей. – Не тебе меня совестить, чудище.

Монета со щелчком вылетела из пальцев Руха, ударила Шилову в грудь, отскочила и покатила кругом на дощатом полу. Вторая попала в лицо. Бучила кидал, ведя зловещий отсчет.

– Пятнадцать гривен, Тимофей, небольшая цена. Пять за Марьюшку, пять за дочь твою, Анну, пять за порушенную Ванькину жизнь.

Деньги, тускло посверкивая, летели Шилову в грудь и лицо. Тимофей не пытался уклониться, окаменел. Последняя монета исчезла в косматой, давно не стриженной бороде.

– Три загубленные души, Тимофей. За пятнадцать монет. Не продешевил?

Шилов бухнулся на колени, пополз к Руху, умоляюще вытянув руки.

– Грех на мне великий, нет мне прощения. Убей меня, Заступа-батюшка, убей, заслужил!

Бучила встал и отступил в темноту, брезгливо корча тонкие губы.

– Это слишком просто, Тимоша. Живи, помни, жри себя заживо, пусть Марья с Аннушкой явятся тебе по ночам. Об этом я позабочусь.

– Заступа! – Шилов полз следом за ним. – Прости!

– Бог простит. – Рух пихнул скулящего Тимофея ногой, отошел к двери, обернулся и сказал на прощание: – Я хотя бы дал твоему сыну надежду. Так кто из нас чудовище, Тимофей?

Птичий брод

Господь со мною злую шутку сыграл: искупая грехи, грешу без меры, погружаюсь глубже в зловонную тьму. Кровь на руках, кровь на губах, вместо души падали шмат. Путь мой к прощению выстлан муками и костями. Шаг вперед, два шага назад.

Дорога к Птичьему броду виляла по краю глинистого серого поля. Набухшая влагой земля вождедела плуга и семени, готовясь начать вечный круговорот расцвета и увядания, смертью рождая новую жизнь. День за днем, год за годом, полтысячи лет. Поле это, как и все прочие в Новгородчине, человек взял потом и кровью, смертным боем вырвав у дремучего леса, нечисти и диких племен. За каждый клочок скудной северной земли уплачена большая цена. Оттого на межах столько часовенок, где в память о павших денно и ночью горят огоньки и грозно смотрят в лесную тьму потемневшие образа. Никто и не вспомнит теперь, когда первый человек славянского рода ступил в этот безрадостный край. Было это задолго до Рюрика и принятия Русью святого креста. Славяне пришли сюда от большой неизбывной нужды, бросив лежащую на полдень от Рязани и Киева бескрайнюю степь с плодородной жирной землей. В землю ту палку воткни – вырастет дерево. Живи, радуйся, строгой на досуге детей. Но кроме жизни степь несла лютую смерть. По разнотравью и балкам ^[7]кralись всадники на лохматых конях, и не было им числа: авары, печенеги, хазары и половцы. Кочевники – извечный заклятый враг. Жгли поля и деревни, резали скот, вязали людишек в полон. Горе неуспевшему укрыться за дубовыми пряслами городов. Князья посылали дружины, но те видели только дым и обезображенных мертвецов, возвращаясь ни с чем, или сами, утыканые стрелами и посеченные саблями, оставались гнить среди курганов и безликих каменных баб. И тогда люди потянулись на север, подальше от степняков и княжеской кабалы. В дремучие чащи, где до сих пор прятались черные колдуны, высились развалины таинственных городов и манили легендарные сокровища гиперборейских царей.

Колеса утопали в едва подсохшей грязи. Вурдалак Рух Бучила трижды соскакивал с телеги и помогал отошальной кобыле. Было жалко

лошадку, она уж точно не виновата ни в чем. Скакуна и повозку отрядили нелюдовские старейшины по первому требованию. До Птичьего брода всего четыре версты, да лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Вдобавок груз с Рухом немалый – четыре горшка с серой, маслом и жиром, первейшее средство для разжигания большого огня. Хочешь блины пеки, хочешь жги города. Сегодня Руха ждали заложные – ожившие мертвяки, по слухам объявившиеся на Птичьем броду. Три недели назад пропали у брода мужики, телега и конь. Черт их дернул через поганое место идти. Теперь шатаются, пугают честных людей, а Бучиле забота – тащиться спозаранку, свойские ноги ломать.

Возница, Федор Туня, тощий, рыжий, конопатый мужик с огромными ручищами и узким лицом всю дорогу помалкивал, изредка бросая на упыря короткий испуганный взгляд. Рух чувствовал идущий от него сладкий удушливый страх. С одной стороны, приятно, когда боятся тебя, а с другой, бывает и тянет поговорить, а не получится. Не меняют людишки рядом с Бучилой, лишаются языка. Прямо поветрие. А иной раз хочется простых человеческих разговоров о погоде, бабах и видах на урожай. Толики общения и тепла.

– Феть, ну чего ты как не родной? – Рух не выдержал и поганенько пошутил: – Я ж не кусаюсь.

– Ага, не кусаешься, Заступа-батюшка. – Федор отодвинулся, насколько позволял облучок. – Боязно мне.

– Ты же со мной.

– Того и боюсь, – вздохнул Федор. – В грудях жмет от предчувствиев нехороших. Место больно плохое.

– То так. – Рух ободряюще подмигнул белым глазом с черной точкой зрачка. Птичий брод не зря зловещую славу снискал. Путь до Рядка сокращает на дюжину верст, да редко кто путем этим ходит. Река мельчает на Птичьем броду, открывая старую лесную дорогу; рядом с бродом, на берегу, древний жальник языческий – оплывшие курганы племени, чье имя не помнят и старики. Поклонялось племя Ящеру – чуду речному, с рогами и в чешуе, приносило жестокому богу кровавые жертвы, а потом сгинуло без следа. Остались могилы да черное пятно среди чащи, такое, словно горел там негасимый огонь, выжег землю и глину до твердости спек. Ведуны поговаривали – капище было, а может, и вход в подземный мир, кто теперь разберет?

Остался среди леса не зарастающий ни травой, ни деревьями круг. Боялись поганого кладбища больше по привычке: страшилища оттуда не лезли, моровые ветры не дули, лишь изредка, по ночам, видели на курганах пляшущие багровые огоньки. Годов полтора назад четверо бедовых нелюдовских мужиков собрались за золотом, старые могилы копать. Им-де сам черт не брат, хапнут сокровищ и умертвий поганых не испугаются. Поутру вернулся один – весь будто сваренный в кипятке, кожа лохмотьями слезла, в пузе дыра. Встал у колодца и жалобно выл. Руки отнял от живота, а из раны монеты и побрякушки резные на землю валятся и в уголья черные превращаются. С тех пор никто на могильник за проклятым золотом не ходил. На памяти Бучилы ничего такого не происходило, пока не пропали извозчики. Торопились, видать... – Мужиков сгинувших знал? – спросил Рух.

– Не-а, – мотнул Федор башкой. – Ненашенские они, из Бурегихи. Сатана их дернул Птичьим бродом пойти. Жальник увидели, глазенки и загорелись. Мне кум рассказывал – парни возле Черной косы холм раскопали, а там золото, камень и клинки ненашенские, изогнутые. А посерединке мертвяк разложением не тронутый, с черным лицом. А кум врать не будет, честнейшей души человек, если и врет, то только попу на исповеди и то во спасение грешной души.

Бучила скептически хмыкнул. В курганное золото Птичьего брода не верилось. Дальше на севере курганы богатые, там варяжские ярлы лежат, а в лесах и трясинах кроются могильники чуди белоглазой, народа проклятого и колдовского, те покойников серебром и янтарем засыпали. В Новгороде целые ватаги промышляют грабежом погостов чудских, золото лопатой гребут. Ну те, кто остаются в живых. А в наших краях тыщу лет беднота бедноту сменяла, нищетой погоняла. В курганах зола, кости да черепки. Рух в свое время, от скуки, Птичий брод изучил, городище искал, да так и не нашел ничего, кроме утопающих в крапиве ям то ли землянок, то ли каких погребов.

– А если тати лесные их прихватили? – насторожился Бучила. – Груз, говорят, ценный был.

– И то верно, – поддакнул Федор, немного освоившись. – Недавно случай один был, возле Каменного порога, налетели на купчишек московских васильковские тати-озорники. Охране зубы выбили, мягкую рухлядь и ткани ромейские подмели, купчишек донага раздели, дегтем извозякали и ушли добро пропивать. Купчики

разнесчастные три дня до людев берегом шли, а как пришли, едва живы остались. Бабы белье полоскали, а тут из чащи мурлица страшные лезут: грязные, кровавые, срам листочком прикрыт, в бородачах шишки да гнездышки птичьи. Чистые лешаки. Бабы в визг да в бега, мужики примчались, хотели чудищ смертным боем побить. А лешаки не противятся и злодейств не замышляют, а, о диво, на землю валяются, ползут, за ноги обнять норовят и человеческими голосами Богородицу за избавление славят. Поп местный чуть с ума не сошел, думал, нечисть к Христу обратилась, и оттого еще тверже в вере, и без того крепкой, стал.

– Живы купцы-то остались? – хмыкнул Рух.

– Живы, – кивнул Федор. – Чего им делается? Люд у нас добрый, если кого и убьют, то долго себя после злодейства казнят, аж до обеда. Отмыли несчастеньких в бане, накормили, сейчас на волоке работают, на дорогу домой копеечку зарабатывают тяжелым, значит, трудом.

Черная кромка хмурого ельника распалась на зубчатую гряду острых вершин. Взошло подернутое болезненной мутностью солнце. Бучила зябко поежился. Хотел в темноте управиться, но тогда бы пришлось одному поклажу тащить. А спина своя, не чужая. Ночью Федор бы наотрез отказался идти. Рух инстинктивно отвернулся от солнца, перед глазами плыла белесая пелена. Его мутило. Ничего, перетерпеть, и пройдет. И сказал:

– Федь, кобылку подгони, торопимся мы.

– Сделаем. – Федор привстал и легонько огрел лошадку кнутом. – Эге-гей, залетная, выручай!

Кляча вспомнила молодость, подкинула костлявую задницу, перешла с шага на тряскую рысь, одолела шагов двадцать и обескураженно сникла. Рух тяжело вздохнул.

– Жжется солнышко-то? – посочувствовал Федор.

– Есть чутка, – кивнул Рух.

– А говорят, сгорает уп... Ну, таковский, как ты, на свету.

– Брешут.

– Оно и видать.

– Чего мне гореть? – возмутился Рух. – Кто я есть? Мертвяк: кожа, кости да гниль. Где это видано, чтобы мертвяк от солнца горел? Бабкины сказки.

– И то верно, – расстроился Федор.

Рух мельком глянул на солнечный диск. Не смертельно солнце для упыря, а кто байку эту придумал, тому оглоблю бы в зад. Люди верят, глаза выпучивают, доказывают, мол, должен гореть и весь сказ, иди и гори, неча тут шлендать. На деле иначе: слабеет на солнце вурдалак, теряет чутье, видит и слышит хуже. Как всякий хищник ночной при свете белого дня. Но не горит, разве маслом облить и поджечь. Но тут уж без разбору, всяк полыхнет. Не боится вурдалак ни солнца, ни чеснока, ни распятия. Тень у него есть и отражение. Такой же человек, только не человек. Ну и мертвый допреж.

– Вопросик имею тады, – осмелился Федор. – Раз солнышка не страшишься, чем тебя взять?

– Лаской, – кривенько ухмыльнулся Рух. – Или голову напрочь снести.

– Это точно, без головы-то куда? – философски согласился возница. – Без головы даже таракан, животная гадская, и та не живет.

Сравнение с тараканом несколько покорило. Телега, вильнув в грязи, свернула в пролесок, Руха накрыла благодатная тень. Стало полегче. Весенний лес пах особенно: нарождавшейся зеленью, стаявшим снегом, отсыревшим валежником и терпкой смолой. К благоуханию исподволь подмешивался запах настороженный, злой. Запах мертвечины и падали, смерти и разложения, обрывки невнятных мыслей и щемящая волчья тоска.

– Ты чего, Заступа-батюшка? – чутко уловил настроение Федор.

– Заложные рядом, – отозвался Бучила. – Слабые пока, злобой и ненавистью не напитавшиеся, самое время их брать.

– Ага, самое время. – Федор шумно сглотнул. – А какие они, заложные эти?

– Разные. Люди – они и живые разные, и мертвые разные. Не все злые и до крови жадные. Некоторые могут остатки ума сохранить. Речь человечью помнят, мозгой, червем изъеденной, шевелят. Такие самые опасные.

– И чего, любой мертвяк подняться может?

– Не-а, – мотнул головой Рух. – Только смерть безвременную принявший и посмертного упокоения не получивший. Не отпетые, не похороненные, тихушкой зарезанные, самоубивцы, утопленники да некрещеные. Думаешь, зря раньше трупье сжигали или насыпали

курган да каменюку сверху поболе наваливали? Чтобы не выкопался, подлец. Такие дела. А бывает...

– Заступа, – оборвал Федор. – Глянь-ка чего.

На обочине лесной дороги стояли два человека. Один низенький, второй верста коломенская, здоровенный бугай. Оба в черных рясах до пят. Неужто монахи?

Телега, скрипя и вихляясь по колее, подкатила к прохожим. Ну точно, монахи, в душу ети. Скоро в нужник нельзя сходить будет, чтоб со святошей не повстречаться каким. Всюду лезут, как вши. Который пониже оказался горбатеньким щупленьким стариком. Под капюшоном, скрывавшим глаза, проглядывалось сухое, морщинистое, похожее на кору дуба лицо, с длинной окладистой седой бородой. Монах покачивался на нетвердых ногах, опираясь на кривой сучковатый посох.

Высокий произвел впечатление. Здоровенный парень, косая сажень в плечах, высоченный, живого весу пудиков [8] семь. Ряса измызгана свежей синей глиной. Неряха какой.

От обоих едва уловимо тянуло колдовством. Ничего удивительного, вера и магия – одного поля ягоды, чудеса одинаково могут творить. У тех монахов, кто аскетой и постом себя иссушают, силы бывает не меньше, чем у потомственных колдунов. Бесов гонят, пророчествуют, лечат наложением рук. Чего, интересно, забыли в этой глуши?

– Здорово, святые отцы! – дурашливо поприветствовал Рух.

– Здравы будьте, люди добрые, – скрипуче отозвался старик. Верзила издал похожий на бульканье звук.

– Куда путь держите, ежели не секрет?

– От Софии Новгородской в Николаевский монастырь, к мощам старца Антония, исцеленья просить.

– Этому надо сильно, видать, – Рух кивнул на великана, обильно пустившего слюни.

– Послушника Петра Господь умом обделил, – виновато улыбнулся монах. – Работящий, сильный и добрый, а разум годовалого отрока.

– У-а, – подтвердил Петя, принялся гунькать и затряс башкой так, что та едва не оторвалась. – У-ур.

Ощущение близкого источника колдовства усилилось. Причем от молодого тянуло явно сильнее. Оно и понятно – юродивый. А юродивых на Руси принято чтить. Ближе они к Богу многих других.

– Этой дорогой можете до монастыря не дойти, – предупредил Рух. – Место дурное. С нами идите, как управимся, выведем на тверской тракт.

– И правда, святые отцы! – вскинулся Федор, обрадовавшись возможной компании. – С нами лучшей, завсегда защитим!

– Благодарствуем, – склонился в неуклюжем поклоне старик. – Но уж как-нибудь сами, Господь защитит. На него уповаем.

– Дело ваше. – Бучила дернул плечом. – Бог-то, знаете, кого бережет? То-то. Ничего дурного не видели?

– Волки были надысь ^[9], – неуверенно высказался монах и пошамкал губами. – А так тишина и благодать, птахи поют, зайчики резвые прыгают.

– Вот и вы упрыгивайте отсюда, да порезвей, – посоветовал Рух. – Чапайте по дороге, назад не оглядывайтесь, к полудню придете в Нелюдово. Там вас приютят, накормят и обогреют.

– Спасибо. – Монах ткнул верзилу локтем под дых, и оба закланялись.

– Благослови, отче. – Федор скинулся с телеги и хлопнулся на колени в подсохшую грязь. – Мне без благословения никак нельзя, дело задумали богоугодное, да дюже опасное.

– Э-э, ммм. – Монах на мгновение смутился, откашлялся и, осенив Федора неуклюжим крестным знаменем, возвестил: – Благословляю тя, раб божий...

– Федор.

– Раб божий Феодор. Ступай с Богом.

Федя сцапал сухонькую ладонь, звучно чмокнул и ошастливленный запрыгнул в телегу.

– Бывайте, отцы, – отсалютовал Рух. – В Нелюдово ищите Устинью Каргашину, ух добрая баба, монахов хлебом-солью привечает всегда! Скажете – Рух Бучила послал. Со всем почтением встретит!

Сделав пакость, остался доволен собой. Представил Устиньино лицо при виде монахов на пороге и сладко зажмурился. Пустячок, а приятно.

Чернецы скрылись за изгибом дороги, словно и не было их. Странные ребята, ох странные. В церковных делах Рух изрядно поднаторел. Не, не в той части, чтобы малолетнего служку за аналоем прижать, винишко для причастия пить или пожертвования присвоить. Монах попался какой-то неправильный. При благословении должен пальцы особым манером сложить, а этот обычным двуперстием, сикось-накось перекрестил. Хотя какое Руху до этого дело? Может, дедушка еретик или умишком тронулся на старости лет? Бог простит.

Лес по правую руку начал редеть, сосны кривились и завязались в затейливые узлы, никли к земле, недобро шелестя по ветру болезненной, пожелтевшей хвоей. Плесневелые стволы треснули и сочились мутной смолой, пахнувшей кровью и тухлым яйцом. На серой земле тут и там валялись костяки мелких зверей. Сбоку дороги дыбились расплывшиеся курганы. Вот и могильник.

– А ну, Федюня, останови, – приказал Рух и спрыгнул с телеги. Языческий жальник заливала зловещая тишина. Птицы замолкли. В таком месте только мертвякам и бродить, всякая живая тварь убегает, отпугнутая древними чарами и напоенной ядом землей. Бучила проверил тесак в кожаных ножнах на левом бедре. Широкий, тяжелый, острый клинок с ухватистой березовой рукоятью. Первейшая вещь – заложным головы сечь. Тесак Бучила ласково прозвал Поповичем. Лет десять минуло с той интересной истории. Явилась убивать Руха гольтьба из Нечайкова, упились до смерти, расхорохорились, похватили вилы да топоры. За главного – Егорка Брылов, поповский сынок, с тем тесаком. Ну Рух их чуточка пугнул – бежали нечайковские охотники на упырей, аж пятки сверкали. А заводилу Бучила сцапал и трое дни у себя продержал, заставлял песни петь, богохульствовать, полы мести и нетопырье дерьмо убирать. Пальцем не тронул, ну разве навешал поджопников вразумительных. Потом сынка папеньке с рук на руки сдал, уж больно слезно батюшка умолял. Тесак оставил себе в память о победе, велел кузнецу пустить по лезвию узорчатую скань серебром. Не для пущей красоты, а для дела – нечисть, всякий страх потерявшую, сечь.

Сухая и ломкая трава под ногами рассыпалась в прах. Рух остановился и недоуменно хмыкнул. Гнездовина из десятка курганов оказалась раскопана. С окатанного дождями отвала щерился череп без нижней челюсти. Рядом, россыпью, старые кости, осколки керамики,

позеленевшие медные побрякушки. Разрыли давно, с месяц уже, как только сошли большие снега. Причем не лопатой орудовали, судя по всему, ямы нарыла огромная псина, откидывая землю назад между лап. Кое-где сохранились следы длиннющих когтей. Бучила присел и приложил руку. Ничего себе. Когтищи в пару вершков ^[10]. Нешто медведь? Ага. Хреноведь. Какого лешего косолапому старые могилы копать? Чай не дурной.

Размышления прервал отчаянный, раздирающий душу лоскутьями вопль. Рух вскинулся. Федя, эти его впятером! Ну шалопут, ни на мгновенье оставить нельзя! Возница несся прочь от телеги, высоко выбрасывая тощие ноги и придерживая куцую шапчонку на голове. Причина геройского бегства выяснилась незамедлительно. Из зарослей корявой лещины вывалилось жуткое чудище – расхристанное, грязное, покрытое коркой спекшейся крови. Неуклюже заковыляло, вытягивая лапы и надсадно скуля. Рух уж было приготовился последовать примеру раба божьего Федора, ну его на хрен, связываться со страшилой таким. Но одумался, разглядев в чухвилище человечьи черты. Поди случилось чего, ограбили, или жена прогнала. Непреодолимая тяга к помощи ближнему пересилила полоснувший мертвое сердце навязчивый страх.

– Там, там! – проорал запыхавшийся Федор, тыча за спину и посовиному округляя налитые кровью глаза. – Беги, Заступа, спасайси!

И попытался пролететь мимо. Не тут-то было. Рух сцапал за шкуру, потрянул, отвесил успокоительного леща и ласково проворковал:

– Стой, а то ноги сломлю. – И добавил звонкую оплеуху поперек принявшего землистый оттенок лица.

Федя рыпнулся, воротник затрещал, он обмяк, подкашиваясь на тряпичных ногах. В глазах появилась осмысленность.

– Сбежишь – как котеночка удавлю, – пообещал Бучила и разжал хватку. Федя едва не упал, залепетал неразборчиво и спрятался у упыря за спиной.

До ободранного мужика остался десяток сажений, Бучила почувствовал тошнотворный запах тухлятины, мокрой псины и стоялой воды.

– Помалкивай, – погрозил Рух напарнику. – Выкинешь чего – тут тебе и конец. Усек?

– Усек. – Федя утробно сглотнул. – Там... там... о-е-ей...

– Он не опасный, наверное. – Рух, не сводя глаз с ковыляющего страшилища, вытянул руку. – Эй, мужик, а ну осади, боимся тебя!

Мужик послушно замер, весь перекосившись на правую сторону. Остатки одежды висели лохмотьями, вместо лица – маска из сукровицы и грязи. Борода и шевелюра сваялись в колтуны, набитые листьями, веточками и сосновой хвоей. Незнакомец закрутил головой на манер прислушивающейся собаки. Корка на щеке лопнула, сочась отвратительной зеленцой. Почерневшие губы с трудом разлепились, и мужик неуверенно прохрипел:

– П-п-п... – Он задумался, силясь вспомнить нужное слово. – П-помогите...

– Только не подходи, помощь близка. – Рух сделал успокоительный жест. – Звать тебя как?

– Э-э, ммм... – Страховидло задумалось. – Э-э, п-п... П-памяти нет, отшибло...

– Пить надо меньше, – посоветовал Рух. – Давай вспоминай. Имя, коим при крещении нарекли. Ну или при обрезании, хер тебя разбери.

– П-п...

– Да понял, что пы.

На лице мужика проявилась улыбка, похожая на пнутую в бочину сгнившую тыкву. Он шумно замотал головой.

– П-пантелей я. П-помогите...

– Ну вот, а то заладил: не знаю, не помню. А сам ишь башковитый какой. Ты откуда?

– П-п-пу...

– Не помнишь?

Пантелей обрадованно закивал.

– Здесь чего забыл? Гуляешь?

– П-п-пр...

– Ясенько. – Рух подошел ближе. От запаха слезились глаза. Федя держался молодцом и о побеге больше не помышлял. А может, сознание с открытыми глазами потерял. Страх – дело одиноличное: кто портки дерьмом ляпает, кто обмирает, кто дурнем орет. Федя вон, похоже, все стадии испытал. – Ты, Пантелеюшка, замри, я гляну, чего у тебя на уме.

– У-ур. – Пантелей послушно подставил башку.

Бучила осторожно вытянул руку, готовый отпрыгнуть и сигануть в кусты при малейшей опасности. Досталось Пантелею здорово: тело исполосовано, в прорехи остатков одежды виднелись кровоподтеки и засохшие стружья, на лице ссадины и порезы, кожа на темени сорвана, чуть ниже набухла шишка размером с кулак. Когда так отделают, не только памяти лишишься... Ладонь коснулась лба, Пантелей задрожал осиным листом.

– Тихо, тихо. – Рух закрыл глаза. Вот она, одна из немногих приятных сторон упыриной жизни – при удаче можно воспоминания прочесть. Умение бесполезное, но иногда пригождается. Пальцы покалывали мелкие иглы, по предплечью побежал холодок, чужие воспоминания пришли яркой вспышкой: запах свежего хлеба и парного молока, домашний, умиротворяющий, грызущий мертвую душу. Баба в платке камнем кидается на грудь, Рух почувствовал жар молодого упругого тела. Рядом вились ребятишки – мальчик и девочка. Похоже на прощание. Женщина всхлипывала, что-то сбивчиво говорила, но слов не слышать. Вспышка, темнота.

Рух отшатнулся, руку свело до плеча. Понятней не стало: ни кто этот Пантелей, ни откуда, ни какого хрена сюда угодил.

– Так, Пантелей, поступаешь в мою банду. – Бучила многозначительно воздел палец к небу. – Слушаешь атамана, дурацких вопросов не задаешь, имеешь долю добычи: золотишко, рухлядь и всяческих баб. Ясно?

Пантелей закивал, издав утробное звериное рычание.

– Все за мной! – Бучила двинулся прочь от вскрытых могил.

– Заступа-батюшка. – Федор догнал и деликатно потрогал за рукав, кося ошалевшие глаза на бодро ковыляющего Пантелея. – Он... он...

– Да ладно тебе, хороший мужик, – отмахнулся Бучила. – Горюшка вдоволь хлебнул, одичал, говнищем обмазался, с башкой нелады, а может, и отродясь такой был. Ты с ним поласковой. Доброе слово и кошке приятно, а тут человек.

Федор сдавленно заматерился в ответ и поспешил к телеге, подальше от «хорошего» мужика, увязавшегося за Рухом навроде верного пса. Лес вокруг потемнел и насупился, хотя солнышко пригревало сильнее и сильнее. Вершины корявых сосен качались вразной, внушая зыбкое беспокойство. Кроме заложных,

чувствовалось присутствие кого-то куда более опасного и злобного, смердящего падалью, ужасом и жаждой убийства. Совсем рядом и одновременно далеко.

Каблук мерзко чавкнул, погрузившись в вязкую жижу. Бучила недовольно поморщился, разглядывая испачканные сапоги. Низина не успела просохнуть, от земли тянуло сырым холодком. Возле дороги раскорячилась брошенная телега. Такая же, как у Федора. Подозрительно. Рух усмехнулся собственной шутке. Ага, подозрительно, тут все телеги на тысячу верст вокруг одинаковые. Вот он, груз пропавших возчиков. Откуда-то наносило гнильем. Пантелей весь сжался, стал меньше ростом и наступил Руху на пятку.

– Ты чего?

– П-плохое м-место, – выдавил Пантелей.

– Серьезно? Надо же, а я и подумать не мог. – Бучила любопытно сунулся под грубую, набухшую от влаги холстину, укрывающую повозку. Пальцы коснулись металла, очень тонкого и ажурного, чуть задержались и нащупали гладкое дерево. Станный предмет легко сдвинулся с места, и Рух вытащил на свет божий икону. Святой, сложивший руки в молитве, смотрел сурово и осуждающе. Хламида отлетела в сторону. Повозка была забита иконами на любой, самый взыскательный вкус: для истово верующих с Богоматерью, для любителей запретного с чертями, волокущими распутных баб прямо в Ад.

Заскрипели раздолбанные оси, подъехал Федор, кубарем скатился с облучка и по-хозяйски полез в брошенную телегу. Даже скромно стоящего в сторонке Пантелея бояться перестал. Версия с разбойниками рушилась на глазах.

– Вот ты, Федор, чужое бы взял? – спросил Бучила.

– Я? – оскорбился такому повороту Федор. – Да ни в жисть! Я чуж...

– А за пазухой че у тебя?

– Ой, ептель! – Федя искренне удивился, заметив за отворотом зипуна край небольшой иконы в серебряном окладе. – Причепилась, кады в телегу полез!

– Бывает, – согласился Бучила. – Я не в претензии. Как в Писании сказано: не суди и не судим будешь!

– Золотые слова! – Федор вернул икону на место.

– Еще раз такое выкинешь – убью, тут уж не обессудь. – Рух задумался. – О чем это я? Ах да, чужое добро. Если тати возчиков порешили, то почему к ним иконы не причепились, как к тебе? Зачем душегубством руки марать, если грабить не стали? За доски деньги можно великую взять.

– Знать, не разбойники то, – поддакнул Федя.

– Выходит, нет.

– Странностей не замечаешь, Заступа-батюшка? – Федор поводит острым носом, словно принюхиваясь.

– Вроде нет, – признался Рух. – Люди пропали, кругом шастают ожившие мертвяки, кто-то раскапывает могилы. А так нет, никаких странностей, расстройство одно.

– Лошади нет! – Федя победно хихикнул. Вроде ого умный какой, подметил важную вещь.

Лошади действительно не было. Оглобли сломаны, упряжь оборвана, окровавленный хомут валялся в грязи. Ну нет и нет, может сбежала, пасется теперь, шалая от свободы, где-то в лугах. Бучила напрягся в нехорошем предчувствии. Тянуло гнильем. Фебина кобылка испуганно всхрапнула и запряла ушами. Позади, в кустах, кто-то был.

– Не оглядывайтесь, – вполголоса посоветовал Рух. Лучше б молчал...

– Чего? – Федя резко обернулся и издал странный шипящий стон. Будто в кузнечный мех ткнули ножом. Говорили тебе...

С другой стороны дороги на просвет вывалилось колченогое, грязнущее, растрепанное обрыдище о двух ногах, двух руках и голове. Воскресший мертвец во всей красоте. Лицо жутко раскромсано, половина щеки и нижней челюсти выдраны. В дыре мерзко хлюпало, среди лохмотьев отмершей плоти клацали хищно удлинившиеся острые зубы. Руки скрючены сухими ломкими ветками, на кончиках пальцев начали отрастать черные когти. Из развороченной бочины торчали осколки ребер и вихлялись ошметки гнилых, поеденных зверьем потрохов.

– Башку ему секи, Заступа-батюшка! – взвизгнул Федя.

Бучила замешкался, имея на заложного несколько иные виды.

– Дай сюды! – Федя попытался вырвать тесак.

– Руки убрал! – вызверился Рух. – Живьем мертвяка брать. Хватайте с двух сторон, жмите к земле.

– Заступа, – простонал Федор.

– Быстро! – крикнул Бучила. Пантелей, парень исполнительный и десятка не робкого, шагнул навстречу заложному.

– Ой горюшко! – Федька прыгнул с другой стороны.

Мертвец глухо завыл и на мгновение растерялся, не зная, кого уцепить.

– Кусаться не дайте, иначе конец, враз загниешь, – напутствовал войско Рух, как полагается воеводе, оставаясь в безопасности позади.

Пантелей, вот исключительной полезности человек, ловко схватил заложного за волосы и оттянул башку с щелкающими челюстями назад, одновременно выворачивая правую руку. Федя, взбодрившись боевым кличем, похожим на козлиное блеяние, заломил мертвяку левую руку. Заложный дернулся, зарычал, послышался треск, Федор обескураженно ойкнул и едва не упал, не понимая, куда девать оторвавшуюся руку. Рука крючила пальцы, часто-часто сжимаясь в кулак.

– Держи, мать твою! – рявкнул Бучила, выбирая, с какой стороны подступить.

Федя отшвырнул лапищу и вцепился в брызгающее гноем плечо. Рух обежал компанию со спины и в три сильных удара подрубил заложному обе ноги. Лопнули подколенные жилы, воющий мертвяк подломился и шумно осел. Помощнички прижали комок дергающегося вонючего мяса к траве. Ничего, отмоются, река близко, а апрельская водичка дивно бодрит.

– Не отпускать! – Рух саданул заложного сапогом по лицу. Под каблуком мерзко хрястнуло, мертвяк закашлялся, подавившись зубами. Теперь не укусит, падла, разве деснами иссосет.

Бучила, не снимая ноги с мерзкого рыла, быстро присел и коснулся головы с отслоившейся кожей. Вспышка. Видение...

Перед глазами покачивался гнедой лошадиный круп. Холеная лошадка бежала бодро, потрясывая хвостом и взлягивая копытами. Молодая, резвая, сытая. Под лоснящейся кожей играли тугие жгуты скрученных мышц.

– ...и забеременела, а от кого – хрен разберешь, – звук появился внезапно. – Бегает по деревне, виновника ищет, а мужики морды отворачивают и глазенки паскудные прячут.

Конец фразы утонул во взрыве звучного хохота. В руки возницы сунули глиняный кувшин. Забулькало. Возница напился, крякнул и вытер усы.

– Ух хорошо, братья! С доброй компанией да чаркой хмельной к ночи будем на перевозе. Отгрузимся, покемарим, и поутру я обратно к жене.

– Припрешься, а у ней под боком Сенька Косой храпит, за сиську держится, – добродушно хмыкнул невидимый собеседник.

– Да ты чего, Ермолай? – всполошился возница. – Чтоб Нюрка моя да с Сенькой Косым?

– Косые по мужицкой части дюже сильны, – поддакнул третий, едущий на телеге. – Знамое дело, Господь если где недодал, то в другом месте прибавит.

– Скажете тоже, – пренебрежительно фыркнул возница, но в голосе проскользнуло волнение. Видать, представил супругу с противным Сенькой Косым. – Не может этого... – и осекся.

Впереди, на изломе дороги, густой темный лес породил жуткую костлявую тень...

Рух рывком пришел в себя, едва не упав от нахлынувшей слабости. В ушах стояли дикие предсмертные вопли, к губам лип тошнотворный привкус крови и желчи. Дело чуть прояснилось. Мужиков убила какая-то тварь, а потом, брошенные без погребенья, тела поднялись. Опознать гадину Бучила не смог, видение оказалось короткое и сумбурное. В конце он почти ослеп, хлебнув через край жуткой боли, доставшейся несчастному возчику.

Заложный заелозил, задергал перебитыми ножками. Рух примерился и одним ударом снес гнилую башку. Тесак ушел в землю на целую пядь.

– Все, отпускайте ублюдка. – Рух пошатнулся. Его мутило. Мысли плясали дьявольский хоровод. Кажущееся простым дело приняло совсем иной оборот. Сходи, Заступа-батюшка, угомони мертвяков. Плевая работенка. Ага, теперь ноги бы унести. И желательно не в руках. Одна надежда – тварь насытилась и ушла. Сильная, злобная, живучая мразь. Столкнуться с такой – удовольствие малое.

– Узрел, Заступа-батюшка? – благоговейным шепотом спросил Федор.

– Угу, – кивнул Рух. – Ничего интересного. Рука где?

– Кака рука?

– Кака рука, – передразнил Рух. – Которую оторвал.

– Выбросил, – растерялся Федор. – Тебе какой с нее прок?

– Надо найти, – глухо сказал Бучила.

– Я в-видал. – Пантелей сорвался с места, прыгнул в овражек у дороги и затих, словно пропал.

– Пантелюша? – напрягся Бучила.

– Л-лошадь, – сообщил Пантелей.

– Значит, с голоду не померем, – неуместно пошутил Бучила и застыл на краю заросшей сухой крапивой промоины. На дне, усеянном исторгнутыми землей валунами, Пантелей баюкал у груди оторванную руку. Рука пыталась царапаться, судорожно перебирая пальцами, но Пантелей не обращал на нее никакого внимания. У ног лежала пропавшая лошадь. То, что осталось: куски гнилой туши, выложенные затейливой извилистой змейкой. Голова, ноги, копыта, мясо со шкурой, кучки заветренных потрохов. Налицо потраченное время и больная фантазия. Руху окончательно поплохело. Давным-давно он видел подобное. Предпочел забыть, вроде удалось, ан нет, нахлынуло вновь. Да так, что ноги подкосились и по спине противная дрожь. Случилось это во времена московского царя Юрия, принявшего жуткую смерть от неизвестной болезни, супротив которой лучшие лекари оказались бессильны: государь истек гноем, и по Руси поползли зловещие слухи о колдовстве. Для Руха тот год выдался дивно спокойным, и только на Пасху выкликали его на хутор в двух верстах от Нелюдова. Неизвестное чудище влезло ночью в избу и убило всех, спаслась только малолетняя хозяйская дочь. Девка на помощь и позвала. Тварь отыскалась в опочивальне, рядом с окровавленной люлькой. Не шибко большая, человеку по пояс, приземистая, тощая образина, свитая из прогнившего мяса и жил. На Бучилу не обратила внимания, сидя на полу и сосредоточенно выкладывая на полу змейку из разорванного на части мальчика. На память о той жаркой встрече Руху остались восемь сломанных ребер, разбитое в крошку колено и исполосованная когтями спина. Отлеживался несколько месяцев, скулил жалобно, пока не срослось, даже свадьбу пришлось пропустить. Пока болел, книжки старые полистал, с умными людьми и нелюдьми посоветовался, вызнал про странную тварь. Оказалась паскуда по-ненашенски рескером, а по-нашему – воздыгой. Воздыга не рождался из умерших

некрещеных детей и не вылуплялся на дне черного торфяного болота среди утопленников и склизких корней. Воздягу мог создать только колдун, владеющий искусством страшным и темным, казалось бы безвозвратно утерянным во времена, когда обратились в пепел последние капища старых богов. Особый род нечисти, беспрекословно выполняющий волю хозяина. Известно о нем крайне мало, а то, что известно, не внушало доверия. Так, бабкины пересуды. Все сходилось в одном: первый признак появления рескера – цепочки из кусков растерзанных тел. У жертв рескер высасывал кровь, разрывал тела и впадал в оцепенение, увлекаясь страшной забавой.

Бучила утробно сглотнул. Ну здрасти, снова увиделись. Тот рескер совсем махонький был, слабенький, его застали врасплох, и то чуть в могилу не свел, а в видении погибшего возчика мелькнула большущая, откормленная кровью и страданием тварь. Успокаивало одно – присутствие воздыга ощущалось слабенько. Прикончил мужиков, поиграл с лошадей и убрался хрен знает куда по своим ублюдским делам.

– Пантелеюшка, вылезай, – ласково позвал Рух.

Пантелей оторвался от созерцания конских останков и неуклюже вскарабкался вверх.

– По сторонам поглядывайте, мало ли что, – нагнал туману Бучила, забрал руку и вернулся к обезглавленному телу. Происходящее нравилось меньше и меньше. Оторвать руку трехнедельному мертвецу – задача нелегкая. А тут раз – и отлетела к херам. В пылу баталии Рух не обратил внимания на весьма значительную деталь. Теперь, по уму, нужно было наплевать на заложных, хватать мужиков, прыгать в телегу и нахлестывать жалкое подобие арабского скакуна аж до Нелюдова. В селе цапать старейшин и пристава за куцые бороды и засылать гонца в Бежецк, пускай губернатор прекращает пиво хлестать да девок дворовых тискать, поднимает головорезов из Лесной стражи и Черных сотен да в придачу с десятков попов посильней и сюда, Птичий брод прочесывать с полным усердием. Если воздыга поблизости, брать его в оборот, загонять всей оравой и лупить смертным боем до полного удовлетворения. Потому что биться с тварью один на один Руху совершенно не улыбалось, а от Пантелея с Федором, в случае чего, будет не помощь, а смех. Сквозь кровавые слезы.

– Заступа-батюшка, – не выдержал Федя.

– Отвяжись, думаю я, – шикнул Бучила. Федор обиженно засопел и притих.

Рух стоял, рассматривая обрывки тонкой, набухшей от крови и гноя веревки, торчащие из оторванной руки и плеча мертвеца. Нет, ну что за день-то сегодня такой? Кто-то заботливо и умело пришил заложному руку, пока неугомонный Федя ее снова не оторвал. Причем рука прекрасно прижилась на прежнее место. Кроме руки, грубыми стежками были зашиты раны в животе мертвеца и длинный, безобразного вида порез, тянувшийся от паха, через правое бедро до колена. Мужика сначала основательно изодрали и, зная, что мертвец непременно поднимется, кропотливо заштопали, чтобы ни дай Божечки не развалился на части. Мысль пришла кристально ясная: «Если удариться в бега прямо сейчас, то все еще может и обойтись». Скинуть паскудное дело властям, забиться поглубже в подземелье и переждать. Храбрость и тяга к самоубийству никогда не были Руховыми сильными сторонами. Съездил, сука, поохотиться на живых мертвецов. К поганым сюрпризам Птичьего брода добавился очередной и, видать, не последний: кто-то, совсем умом тронутый, додумался сшить разорванные воздьягой тела. Благодетель, эти его в дышло. Мертвячий лекарь. Рукоблуд-рукодельник. Тут не прочесывать надо – огнем выжигать.

Очередного заложного Бучила почуял прежде, чем разглядел, уловив легкое изменение в воздухе. Мертвец был поблизости, но нападать не спешил. Знамое дело – Рух его чувствовал, а мертвяк Руха. Кумекал гнилыми мозгами, человечьего в нем осталось малясь, не понимал – почему упырь рядом с живым. Опасается, прячется, ждет. И, скорее всего, глазами заложного смотрел новый хозяин, хренопутало, которое вместо куколок детям мертвяков нитками шьет.

– Федор, – нарушил молчание Рух.

– Ну. – Рыжий, бесцельно подпрыгивающий на краю овражка, застыл.

– Рядышком будь, от меня ни на шаг. – Бучила взвесил тесак на руке. Заговоренная сталь вселила уверенность. – Пантелей, а ну проверь тот лесок.

Пантелей послушно заковылял в сторону чахлой березовой рощи. Деревья стояли голые, умирающие, ветки осыпались, береста

отслоилась, почернела и собралась в завитки. Трава торчала жухлыми лохмами. Пантелей, прихрамывая, скрылся за деревьями. Рух кивнул Федору и быстрым шагом юркнул в рощу, взяв саженой пятьдесят в сторону. Под ногами хрустнул тонкий валежник, в ямах догнивали упавшие деревинки, покрытые плесенью и трутовиком, мягко пружинили прелые листья. От огромной, треснувшей надвое березы, отделилась черная тень. Ага, Пантелей поднял дичь. Приземистая несуразная фигура тырснула [11] через кусты.

– Федя, за мной! – Бучила азартно бросился наперерез. Кожа и плоть со спины заложного слезли, обнажая сломанные ребра и выпирающий искривленный хребет. Звонко щелкали голые позвонки. Рух, успев заметить грубые стежки на шее и правом боку, ударил наотмашь. Мертвец обернулся, мелькнуло оскаленное жуткое рыло без носа, с туманными, подернутыми маслянистой пенкой глазами. Где твой хозяин-то, тварь? Ах сука! Заложный вломился в низкорослый рябинник, Бучила зацепился об узловатое корневище, врезался в зловонную, тошнотворно мягкую спину и плашмя рухнул сквозь заросли с обрыва, прямо к реке. С размаху приложился башкой, едва не напорвшись на остро обломанный сук, но добычи не упустил. От удара помутилось в башке. Мерзко чавкнуло, будто лопнул огромный нарыв, пошла волна нестерпимого смрада. Под Бучилой ворочался, рычал и плевался гноем оживший мертвяк, царапая когтями грязный песок и пытаясь огрызнуться через плечо.

– Н-на, сука! – Рух вбил рукоять тесака в затылок с остатками сальных волос. Череп треснул, брызнув в лицо и на грудь черной бурдой. Заложный утонул рожей в песке. – Шалишь, паскуда! – Рух вскочил и отчекрыжил гнилую башку. Можно было воспоминания посмотреть, да интуиция подсказала – ничего нового в поганых мыслях заложного нет, да и время поджимало уже. Перед ним мерно плескалась вода. Еловый бор на другом берегу угрюмо шумел.

– Заступа! – По обрыву, в ручьях песка, съехал Федор. Лицо перекошено, рот кривой, гляделки чуть не выпали из глазниц. Переживал рыжий – приятно.

– Победил я его, но уж это как водится, – напыжился Бучила, отплевавшись грязью и опавшей хвоей. В горле першило, очень хотелось пить. – Пока ты дурака ва... – Рух резко заткнулся. В висках противно и тревожно затюкало. Правый глаз непроизвольно

задергался. Протянувшиеся по берегу, плоские, сглаженные ветром и снегами курганы были раскопаны все как один. Причем недавно, словно землекоп только взял и ушел, испугавшись неистового Федора, воплей и суеты. Земля на отвалах была еще влажная, темная, из глубоких могильных ям тянуло холодом, сыростью и ушедшей зимой. По спине пробежали ледяные костлявые пальцы, провели по позвоночнику и крепко сжали кадык. Через могильные ямы тянулся слой жирной синей глины. «Из такой свистульки бы делать», – закралась в голову дурацкая мысль. Такие, чтоб народ на века запомнил потом. Как в том году, дурачок юродивый из Завидова, Ефимка Козел, известный мастер свистулечных дел, совсем головенкой тронулся, налепил свистулек в виде голых попов, солдат да князей, ну а дуть в энти свистульки надо было понятно с какой стороны... Сраму было... Забрали Ефимку с торга и никто больше его не видал. К чему это? Ах да, юродивые...

Рух повернулся медленно и обреченно – так приговоренный всходит на плаху под вой и стоны толпы. Здрасти, давненько не виделись. Густой подлесок исторг на песчаный обрыв фигуру в мешковатой одежде до пят. Давешний монах-дурачок. Легкий ветерок перебирал рясу, выпачканную приметной синей глиной. Черный провал под капюшоном уставлен на Руха. Чужой, злобный, изучающий взгляд. Предчувствие кровавого пира.

– О, ты нам и нужен! – обрадовался Федор. – Нечистые шастают! Святое слово не помеш...

– В воду, дурак, – прошипел Бучила. Хотя почему Федя дурак? Рух Бучила – главный придурок на всем Птичьем броду и на сто верст округом него. Гордыня разум затмила. Вот тебе запах колдовства от монахов, разрытые могилы и сшитые мертвяки. Сейчас клочки по закоулочкам полетят. Ладно, может, Федор спасется, воздыга, как и всякая нечисть, боится проточной воды. Рух и сам бы по шейку залез, да ведь и сам-то он нечисть...

– Заступа? – опешил Федор, переводя изумленный взгляд с монаха на упыря.

– Беги, – процедил сквозь зубы Бучила и рывкнул: – Проваливай, дурень!

Федор приготовился разрыдаться и мелко попятился. Плеснула вода. Ничего, лучше обиженным жить, чем не обиженным с апостолом

Михаилом на райских воротах душеспасительные беседы вести.

Монашек скособочился на левую сторону, капюшон упал. Федор шумно сглотнул. Голова под черной тканью оказалась синюшная, неживая, безглазая. Рух махнул тесаком, разминая затекшую руку. Честные бои один на один он никогда не любил. Ряса стекла с монаха и упала к ногам.

– Твою же мать, – Федя подобрал самые нужные и верные слова.

На откосе припала к земле сгорбленная страшная тварь, порождение ночного кошмара сине-зеленого цвета лежалого мяса. Человеческая голова-обманка, упав назад, болталась уродским наростом, уступив место башке настоящей – узкой и шишковатой. Мутные, утопленные в черепе зенки уставились на Бучилу. Треугольный провал вместо носа шумно тянул сгустившийся воздух. Из пасти, полной острых, в два ряда, искривленных гнилым частоколом клыков, тянулись липкие нитки желтоватой слюны. На мощных задних лапах, вывернутых коленями взад, покачивалось поджарое тело, свитое из выступающих костей и перекрученных мышц, покрытое струпьями и мокнущими болячками. Передние лапы, тощие и узловатые, с загнутыми когтищами, хищно крючились возле груди. Воздыга траханая во всей красоте.

– Сопли подбери, мразотень! – устало подначил Рух.

Воздыга сиганул молча, а от этого в сто раз страшней. Уж лучше бы завывал. Гибкое, траченное проказой тело распласталось в прыжке. Рух напрягся, готовя единственный точный удар. Второго шанса не будет, с этой тварюгой не потягаешься, живо в лоскуты раздерет. Бучила развернулся вполоборота, замахнулся, и тут между ними вклинилась тень, Рух и опомниться не успел. Его задело вскользь, отшвырнуло к реке, тесак отлетел. Вода жадно плеснула в верхке от лица, левой рукой вляпался по запястье, благо у берега неглубоко. Бучила зашипел от резкой, обжигающей боли, отпрянул, поскользнулся и упал на белый песок. Ладонь дымилась, кожа пошла пузырем.

На берегу, в паре сажений от него, воздыга терзал Пантелея. Когти с треском кромсали плоть. Пантелей сжимал монстра и надсадно хрипел, выплевывая черную кровь. Гнилая слизь с оскаленной пасти сочилась ему на лицо. Рух метнулся, выудил из песка тесак и рубанул, целя в шею. Воздыгу шатнуло, лезвие скользнуло по выступающим

позвонкам и впилося тварюге в плечо. Монстр заворчал. Когти с хлюпаньем вышли из Пантелея. Доигрался, дурак? Рух раскачал застрявший клинок и не поверил глазам. Истерзанный, измочаленный Пантелей засипел, с силой прижав воздюгу к себе. Со стороны это походило на дружеские объятия. Чудище задергалось, завертело башкой, заскулило протяжно, когти замелькали с ужасающей быстротой. На этот раз Бучила не промахнулся. Попович вошел, аккуратно где уродливая башка переходила в шею, свитую из толстых сиреневых жил. Мерзко хрустнул рассеченный хребет, воздюга надрывно завыл. Рух отпрыгнул, да не совсем как хотел. Когтистая лапища рванула балахон на груди. Упырь отлетел и упал. Тварь бросила терзать Пантелея, неуклюже скакнула огромной лягухой и рухнула плашмя на живот. Задние лапы рыли прибрежный песок, чертя кривые длинные борозды. Воздюга пополз боком, подтягиваясь когтями и оставляя на белом песке черный дурно пахнущий след. Две башки – своя и обманная – болтались по сторонам.

«Достал падлу!» – ликующе подумал Рух и взгромоздился на тряпичные ноги, шалый от удачи и радости.

– А ну погодь! – заорал он и, шатаясь, побрел за врагом.

Воздюга оттолкнулся всеми четырьмя, пролетел сажени три и шмякнулся кучей дерьма. Рух чувствовал недоумение, захлестнувшее тварь. Страх воздюга не испытывал, не умел, просто хозяин велел ему уходить.

– Стой, дерьмоед! – Рух захромал, размахивая оружием.

Воздюга рванулся, прыгнул на откос, чутка не рассчитал и врезался грудью, посыпались комья земли. Чудище заработало лапами, неловко втянуло себя наверх и утащилось в лес. Догонять сил уже не было, Рух плюхнулся на колени, опершись на тесак. Его колотило. Располованный балахон хлопал на ветру, из порезов сочилась белесая упыриная кровь. Сука, легко отделался!

Пантелей ворочался и хрипел, силясь что-то сказать. Черные губы слиплись, кожа, содранная со лба, лезла в глаза.

– Тихо-тихо. – Рух подполз к спасителю и успокаивающе провел рукою по голове.

Пантелей послушно затих. Потрепало его славно: тело искромсано, сломаны обе ноги, осколки костей торчали из ран. Он отупело-изумленно пробормотал:

– С-совсем не б-больно...

– Заступа! Заступа-батюшка! – Из воды выскочил Федор, подняв тучу переливающихся на солнышке брызг.

– Ну чего орешь? – поморщился Рух.

– Ты... ты... ты ж... – зачастил Федор, перевел взгляд на Пантелея и всплеснул руками. – Он... он тебя оборонил!

– Я же говорил, – слабо улыбнулся Бучила. – В ком-то осталась божья искра, ее ведь ни колдовством, ни злодейством не потушить.

– Да хрен ли теперь! – Федор бросился к Пантелею, заохал. – Ты держись, Пантелеюшка, держись. Ух и молодец, не спужался тварюги адовой.

Пантелей закивал, надувая багровые пузыри.

– Не вернется чудище? – Федя покосился на лес.

– Не должно, – уверенно откликнулся Рух.

– Вот подлюка! – расхорохорился Федор. – Как он под монаха подделался, я и не углядел! Ну страховидла кака!

– Воздягой зовут, – сообщил Бучила. – Вырастить такого может только сильный колдун, вызвать из тьмы, кровью и человечиною откормить и в узде удержат.

– Чернец-старичок! – ахнул догадливый Федор.

– Он, дерьмища кусок, – кивнул Рух и плотоядно причмокнул. – Мне б его на часок, ох и интересный вышел бы разговор.

– А я у него, сволочи такой, благословенья просил. – Федя едва не расплакался. – Помру я, наверно, теперь?

– Все помрем, – в свойственной паскудной манере успокоил возчика Рух. – Да не бойсь, ничего не будет тебе. Эта сука на воздыгу защиту набросила, даже я не учуял. Ну-ка, Федь, рясу мне принеси. Иди-иди, нету тут никого.

Федя нехотя вскарабкался по обрыву, в руки брать рясу остерегся, подцепил сучковатой палкой и притащил. Бучила не из брезгливых, сцапал жесткую колючую ткань и принялся. Пахло беленой, пряной полынью, терпким дубовым отваром и горечью зверобоя. Старое и надежное средство скрыть колдовство. Таким макарком, перед самым татарским нашествием, двое волхвов притащили в Новгород оборотня-берендея, который едва не лишил жизни малолетнего княжича Александра, будущего победителя тевтонов и свеев.

– Колдуны, сволочи. – Федя сплюнул. – Вечно козни против роду людского плетут.

– Угу, нужны вы им больно, – фыркнул Бучила и выбросил рясу. – Как будто у колдунов своих делов нет. Курганы разрытые зришь?

– Ну.

– Ищет что-то в могилках.

– Видел я, глиняные бусы да костяные ножи. Эко богатство.

– А он не золото ищет. Может, вещь какую из старых времен, а может, нужного мертвяка.

– Мертвяка-то пошто? – удивился Федор.

– Если слово заветное знать, крови свежей добавить и жизнь у человека на могиле забрать, то можно покойника с того света вернуть.

– На хрена?

– Темный, Федя, ты человек. Мертвецы многое помнят из того, что православная Церковь огнем и железом выжгла, и правильно сделала. А лгать не умеют. Силу и знания можно великие взять!

Федор наморщил лоб, задумался и мечтательно причмокнул:

– Я б Акулину Сакулину вызвал. От баба была, кровь с молоком, сиськи по пуду, по селу шла – все кобеля стоечку делали. Дюже ласковая, говорила, уж больно я по мужской части силен. Ни до нее, ни после от живой бабы такого не слышал. В позапрошлом годе от гнилой горячки душу Богу и отдала. Вот бы поднять из могилки да вызнать, правду говорила иль нет? Поможешь, Заступа?

– Легко, – обманул без зазрения совести Рух. – Эх, знать бы, что колдунишка иметый искал. Земля тайн много хранит, и с поганых времен – языческих, и с еще более древних, чуть ли не с ледника. Помню, возле Ладоги рыбак нашел на берегу фигуру железную – вроде баба, а вместо ног щупальцы, титек штук шесть, рожа страшная. Самому в хозяйстве не пригодилась – снес на торжище. Попала фигура к барончику одному, он диковины собирал: змиев сушеных, камни с картинками, всякое барахло. Ну и дособирался. Седмица минула, стали домашние на головные боли жалиться и какие-то голоса. Сначала кот убежал, коты скотиныны умные, опосля собака на цепи удавилась. А ночью боярин умишком тронулся и всю семью топором зарубил. Народ на крики сбежался, а он в горнице, кровью бабу железную мажет и на непонятном наречии голосит. Упекли в монастырь, а хреновину железную – колдовскую – забрали люди из Всесвятой

консistorии по делам веры и благочестия, тайной службы новгородского патриарха.

– Думаешь, нашел? – заинтересовался Федор.

– Точно нет, иначе бы колдуна с мразотой его и след бы простыл. – Рух мгновение покумекал. – Историю вижу такой: приперся колдун с воздыгою в поводу, для охраны и землю копать – чудище дурное, чего велел колдун, то и сделает. А возчики оказались не в лучшее время в отвратительном месте. Увидели лишнее, колдун воздыгу и натравил, иконы не помогли. Иконы без самострела вообще ненужная вещь. Колдун мертвяков разорванных сшил, пусть бродят вокруг, отпугивают зевак. И все бы сложилось, если бы мы не пришли. Он меня сразу учуял, но чудище натравить не спешил. Связываться с упырем не хотел, пока мы не стали по могилам шарить и мертвякам головы сечь. Теперь убежит и схоронится, век не найти. Но чую, вернется, когда воздыга окрепнет, дела не закончены.

– Авось подойдет чудовище? – затаил дыхание Федор. – Больно знатно ты его рубанул. Башка на нитке висит.

– И не надейся. Очухается, начнет нас искать. Да не дергайся, – поморщился Рух. – Не скоро случится, должно и не в этом году. Воздыгу простым железом не взять. Надо было голову сечь и тут же предать тело огню, пока новая не отросла. Кстати об огне. Хватит лясы точить. Мертвяков вместе сложить и дров натаскать. Я за горючкой слетаю. Быстро, Федя, быстро.

Пантелея подхватили под руки и уволокли по откосу в тенек. Когда Рух вернулся, сгибаясь под тяжестью пузатых горшков, Федор уже стащил мертвяков в кучу, обложив грудой хвороста и сухих, чуть подгнивших лесин, сверху водрузив вывороченный сосновый пенек.

– Молодец, – похвалил Бучила и сбил сургучовое горлышко. – Лей, не жалей!

Густая, словно сметана, смесь из смолы, серы, селитры и толченого угля полилась на дрова. Вспыхнет – залюбуешься, личный Рухов рецепт, плод ночных бдений, ошибок и ожога на половину спины. Ну вот и готово. Бучила замаялся, но Пантелей все понял и сам. Подполз, волоча перебитые ноги, кивнул на кострище и тихо спросил, глотая слова:

– М-мне залезать?

– Залезай, Пантелей. – Рух взгляд не отвел.

– М-мертвый я?
– Мертвый, Пантелей. – смежил веки. – Трое возчиков было, ты третий и есть.

– Ж-жене скажи.

– Скажу.

– А м-может, это... – Пантелей замер. – Ну как его?

– Нет, Пантелей, – вздохнул Рух. – Мертвому лучше с мертвыми, спокойней.

– Да п-подумалось. – Заложный смотрел прямо в глаза. – Стало быть, в Пекло теперича я?

– Не знаю, – признался Бучила. – Ты не своей волей поднялся, худого не совершил, мне помог, Бог простит, милостив он. – Рух кривенько ухмыльнулся. – Правда, не со всеми и не всегда. Одно твердо могу обещать: Пантелея, раба божьего, отпевание закажу.

– Н-не согласится поп, – буркнул мертвяк.

– У меня согласится, – многозначительно смежил веки упырь.

– Благодарствую. – Пантелей кивнул и медленно вполз на костер.

– Тебе спасибо, Пантелей, – едва слышно вымолвил Рух и кивнул Федору.

Тот засуетился, смахнул с уголка глаз скупую слезу, шмыгнул носом, зацокал кресалом. Выматерился и тихо сказал:

– Не могу я, хоть режь, не могу.

Бросил огниво и, шатаясь, убрел к телеге и лошади. Рух не пытался остановить. Всякое в жизни бывает. Люди живых не жалеют, а Федор мертвеца пожалел. Бучила поднял кремень, шаркнул о железа кусок. Сноп искр упал на старое птичье гнездо, из дымка родился крохотный оранжевый язычок.

– Прощай, Пантелей.

Огонек распробовал горючку на вкус, фыркнул и стремительно вырос в жадное гудящее пламя. Рух заставил себя досмотреть до конца.

Федор подвез до самого дома, помог сгрузить иконы у входа. Прощались в молочных сумерках, пахнущих копотью и зеленой травой.

– А мы с тобой неплохая ватага, а, Федь? – крикнул вслед уезжающему мужику Рух. – Бросай извоз, будешь мне помогать.

– А чего нет? – откликнулся Федор. – Вместе мы, Заступа-батюшка, горы свернем, всю нечисть в округе повыведем! Завтрева с утра и заеду, зараз гадин всяких изводить и начнем!

Телега угрохотала под гору. Рух остался, уставший, опустошенный и крайне довольный собой. Стоял, подставив лицо свежему ветерку, смотрел на блеклые звезды и думал о Пантелее, воздыге и колдуне. Думал о мертвых и тех, кому предстоит умереть.

Тем же вечером Федор бросил хозяйство и уехал с семьей из Нелюдова навсегда. Бучила не удивился. Привык быть один. Мертвому лучше с мертвыми, спокойней.

Ночь вкуса крови [\[12\]](#)

Ад мой тосклив и печален. Вокруг тьма, внутри палящий огонь. Чужой болью притупляю свою, каюсь и тут же душу рогатому продаю. Ни надежды, ни мечты, ни желаний. Сам себе Сатана.

Дождь, пролившийся на закате, принес прохладную свежесть и запахи трав. Тьма овладела Нелюдовом, растеклась по улочкам, затопила дома. Мрак пожрал тени, за дальним окоемом тлели зарницы, новорожденная Скверня стыдливо куталась в лохматые облака. В старых ивах заливались полночные соловьи, созывая невест на гнездо. Перебрехивались дворовые псы, блюдя человеческий покой. Домовой Архип угрелся за печкой, неслышно перебирая лучину. Невелика помощь, а все хозяйке утром сподручнее выйдет. На лежанке похрапывала бабка Матрена, прищамкивала во сне беззубым ртом, что-то шепча. Умаялась старая. Архип, неслышно прокравшись, сложил в подпечье пучок тоненьких, липких от смолы, хорошо просушенных щепок. Так-то лучшей. Огляделся, ища новой работы. Работы не было. Пол чисто вымыт, стол выскоблен, зола вынесена, воды целая кадка припасена. Пахло щами. В сенях попискивали и шебуршились мыши, на дворе возилась корова Нюрка, кудахтали куры. Все сытые, все довольные. Хороший дом у Архипа, и хозяева ладные: бабка Матрена, тугоухий дед Невзор да дочка Лукерья с малым дитем. За хозяйством следят, меж собою мирно живут, домовому, опять же, завсегда уважение. Каждый вечер ставят за печку плошку жирного молока. А Архипу большего и не надо. Жил до этого в такой избе, так хоть плачь: баба-неряха, мужик горький пьяница, выводок грязных, вечно голодных детей. Пытался Архип это семейство наставить на путь, по-разному озоровал: то горшки побьет, то завоет среди ночи, то натолкает в трубу камней и травы. Ничего не помогло, плюнул да и ушел. А теперича не жалел.

– Тю, холера! – Архип погрозил кошке, тайком подбиравшейся к молоку. – Мышов лови, не то хвост узлом завяжу.

Кошка обиженно мявкнула и улизнула в дырку под дверь. Архип собрался проведать скотину и замер. Что-то было не так. Изба словно провалилась под землю. Звуки исчезли, резко похолодало. Домовой

зябко поежился. Из рта вырвался морозный парок. Откуда ни возьмись налетел колючий ледяной ветерок. Фыркнув, погасла лампадка в красном углу. Архип беспокойно огляделся, страх вцепился в горло костлявой рукой. Нестерпимо хотелось повернуться и убежать, забиться в глубокую яму, спрятаться, переждать. Запахло мертвечиной и кровью. Из угла проступила зыбкая тень. Сгусток мрака, расплывчатый, колеблющийся, жуткий, тянущий следом черные склизкие нити. Темное отродье, сотканное из злобы, тлена и могильных червей. Мерзко хлюпнуло. Тень медленно поплыла в застоявшемся воздухе, склонилась над люлькой, загребая когтистыми лапами, и сдавленно зашипела. Младенец забеспокоился и загулькал. Взрослые спали обморочным колдовским мороком-сном. Архип задрожал, пятась к стене. Маленькое сердечко толчками гнало вскипевшую кровь. Никто не увидел, как маленький насмерть перепуганный домовый бросился в яростную атаку...

I

Весна набирала силу, дни тонули в заботах и тяготах. Леса приоделись в зеленое, мгlistым туманом синела река, парная земля насытилась семенем и замерла, готовясь разродиться первым хлебным ростком. Тень отгоняла свет, свет умирал и рождался, звезды шептали всякое. На Горелых болотах завелся оживший мертвяк. То ли заплутал кто и с голоду сгинул, то ли трясина пережевала и сплюнула старые кости. Людей пугался, хоронился на островках и жалобно выл. Выискивать бедолагу не было ни сил, ни желания. Приметы сулили жаркое лето, засуху и неурожай. Появилось невиданное число рыжих детей. Ведуньи во мнениях разошлись, кто видел в рыжих удачу, а кто – пламя и большую войну. Близь опушки Вронского леса бабы видели черта – мохнатого, рогатого, с елдищей, свисавшей до самых колен. Эту пикантность очевидицы отмечали прежде всего. Бес гнался за бабами три версты, сквернословил и богохульничал без всякой меры, грозился снасилить. А может, и не только грозился, бабы умолчали о том. В мире творилось неладное: язычники жгли в Ливонии замки, а схваченных рыцарей запекали в доспехах живьем, московиты тревожили границы набегами, в Новгороде купцы взвинтили цены на хлеб, в гнилых пустошах на месте разрушенного Гнилым ветром древнего Киева завелись поганые шайки крысолюдей. Случалось и хорошее: в Москве открыли первую школу для крестьянских детей. В восточные земли пришло просвещение. Радовались прогрессу только немногочисленные придурки, умевшие складывать буквы, вести счет и предаваться другим, весьма страшным грехам. Истинно верующим было глубоко наплевать. Какая, к дьяволу, учеба, если нечего жрать?

Рух Бучила вторую неделю занимался крайне важным и ответственным делом – лежал на медвежьей шкуре и пялился в потолок. Шкура давно протерлась и облысела, храня мускусный запах и благие воспоминания. Страсть сколько эта шкура видела горячих полуночных ласк. С одной девки на шкуру перепрыгнули вши. Ох и тупые животные. Хлебнули крови упырьей и души вошьему богу отдали. Одну, хроменькую, Рух пожалел, в скляночку посадил, хотел особым настоем поить, вырастить размером с собаку, пуцай через

заборы сигает, да вошка счастья не поняла, заскучала ужасно и померла.

После Птичьего брода все обрыдло, и Бучила никак не мог войти в колею. Валялся колодой, наблюдая картины жизни и смерти, разворачивающиеся под покровом густой темноты. Белесые пауки с едва различимыми крестами на раздувшихся брюшках охотились на слабых болезненных бабочек. Безглазые, вскормленные плесенью, с прозрачными крыльями, они были обречены попасть в ловчие сети и сгинуть, не оставив даже следа. От созерцания этой борьбы в башку лезли философские мысли. Прямо как тому греческому голодранцу, жившему в бочке. Хорошее дело – работать не надо, знай себе умности всякие изрекай дуракам на потеху. Философия – полезнейшая из наук. Вот она, жизнь во всей красоте – один добыча, другой охотник. Один рожден убивать, другой – прятаться и умирать.

Бабочки вспорхнули облачком невесомого пепла и окружили зазевавшегося паука. Крылышки мелькали в обворожительном танце, по восьмипалому шарили жадные хоботки, искали мягкую плоть. Паук заметался, клацнул жвалами и обреченно затих. Бабочки присосались, толкаясь и мешая друг другу, пустая оболочка, медленно кружась, улетела во мглу. Ну ети твою мать! Какое же несусветное дерьмо – философия эта! Клятское словоблудие. Недаром философов этих нормальные люди на кострах заживо жгут!

Бучила обиженно засопел и перевернулся на бок. Из черного нутра коридоров пришел едва слышимый зов:

– ...ступа... ступа-батюшка.

Ну кого черт принес? Никакого покою. Рух зарылся в шкуру с головой, твердо решив никуда не ходить. Позовут-позовут и отстанут.

– ...аступа. – В голосе было столько тоски, что Бучиле стало не по себе. Аж до кишкочков продрало.

– ...ступа.

Ну чтоб тебя! Бучила резко сел. Как банный лист к жопе привяжутся, вынь да положь. Что за народ? Только приляжешь на пару недель, враз тормошат и тащат, хрен знает куда.

– ...аступа! – Кроме тоски, в голосе слышались упорство и затаенная надежда.

Пойти, что ли, глянуть? Рух тяжело, с надрывом вздохнул и зашаркал по коридорам проклятой крепости. Интересно стало, что за

надсада такой. По всему видать, очень надо ему. Послушаем, а к черту никогда не поздно послать, дорожка наторена. За пятьдесят лет в Заступах Бучила чего не наслушался. Народишко дикий, поначалу совсем с пустяковыми нуждами шли. Одному призрак-кровопийца в нужнике ночью привиделся, так Рух, как дурак, три полуночи возле отхожего места сидел, сторожил. У второго на соседа жалоба, третьему жена не дает... Пришлось гнать попрошайек поганой метлой и доходчиво припугнуть: кто следующий с безделицей явится, домой частями придет. На этом люд успокоился, поутих, перестав тревожить Заступу по пустякам.

Ступни, изглаженные временем и водой, взлетели к выходу из норы. Рух подслеповато сощурился, привыкая к свету. Задумал гадость и подниматься не стал. В белом пятне маячила зыбкая тень.

– Спускайся сюда, – позвал он, нехорошо ухмыляясь.

Незванный гость охнул по-бабьи. Рух слышал неистовый стук перепуганного сердечка. Пойдет или нет? Человек переступил границу света и тьмы. Ничего себе! И вправду надо очень, раз, страх поборов, в упыриное логово очертя голову лезет. Зрение обрело остроту, и Бучила недоуменно хмыкнул. Перед ним оробело замерла невысокая полноватая женщина. Не молодуха и совсем не красавица. Уголки губ обвисли, под глазами залегли черные круги от бессонных ночей, нос крупноват, из-под платка выбилась темно-русая прядь. Стояла, не зная, куда деть большие раздавленные тяжелой бабьей работой руки. Опомнилась, поклонилась в пояс и еле слышно произнесла:

– Здрав будь, Заступа-батюшка.

– Ты кто? – неприветливо, но в то же время не без жалости спросил Рух.

– Лукерья я. – Женщина смешалась, запах страха стал немного острей. – Моховы мы.

– Без подробностей, – поморщился Рух. – Чего у тебя за беда?

– Беда, беда, Заступа-батюшка, – закивала Лукерья. – А ты как знал. Истинно говорят – прозорливец и чародей, в прошлое и грядущее зришь...

– Языком не мели, – оборвал Бучила. Баба-дура. Надо же, прозорливец, етишкиный рот. Будто сюда не только от горя, а с радостью великой люди идут. Пряниками тут кормят, ага. – Рассказывай.

– Прости, батюшка. – Лукерья чуть успокоилась и брякнула: – Дите у меня, сыночка пятого дни родила.

– Эка невидаль. Хотя... – Рух пригляделся внимательней. – Не поздновато сынков-то рожать?

Лукерья оробела, затеребила складки холщового сарафана, опустила глаза.

– Долгонько не могла понести, почитай пятнадцать годков, а тут вдруг Господь наградил.

– Боженька, он такой, – согласился Рух. – Где добр, где дереву бобр. Я зачем? Крестным звать пришла? Не пойду, поп воспротивится, в церковных дверях раскорякою встанет, башку об образа расшибет. Денег тож нет, самому кто бы подал.

– Не надо денег. – Лукерья на миг горделиво вскинула голову и тут же поникла. – Сыночку, Митеньку, подменили.

– С чего взяла? – напрягся Бучила. Случаев подмены младенцев на его веку не было. Поганое то дело и темное.

– Сердце материнское не обманешь, – прошептала Лукерья. – Чужой стал, чувствую то. Глазенки как у древнего старика, а смотрит с ненавистью, аж оторопье берет. Глянь, сиську всю изжевал.

Рух опомниться не успел, гостя рванула одежду с плеча, бесстыдно вывалив крупную тяжелую грудь синюшного цвета. Сосок запекся кровавой коркой, в трещинах копились и проливались струйками прозрачная слизь и свернувшееся молоко.

– Больно, спасу нет, – пожаловалась Лукерья. – Десенки голые, а будто клычищами терзает меня. Спокойненький был, улыбочка ангельская, пах сладенько, а нынче орет разными голосами денно и ночью, кривляется, и дух от его земляной. – Женщина всхлипнула. – Сыночка мой, Митенька. Подмени-и-ли!

– Ну тише-тише, не голоси, – поморщился Рух. Младенчику, пока не крещен, мать с отцом дают родильное имя, временное, чтобы беду и дурной глаз отводить. Имя держат в тайне от посторонних, а после крещения его лучше и вовсе забыть. Вот эти первые дни – самые опасные в жизни новорожденного, но в Лукерьины сказки не верилось. Чаще всего в подменыши записывали детей, божьим промыслом народившихся с изъяном каким. Родителям легче поверить, что долгожданное чадушко подменили кикиморы, чем принять ребенка без ручек и ножек, без носа и с раздувшейся головой. Дите к трем годам не

разговаривает, а только слюни пускает – подменьш, пальчики на руках лишние – подменьш, спина горбом и ноги кривые – подменьш, кто же еще? Старухи-ведуньи, кол бы им в дышло, советуют таких детишек головой об косяк приложить. Дескать, подменьш враз пропадет, а родное дитяtko вернется живым и здоровым. Сколько таким макарон ежегодно убивают детей – одному Боженьке весть. По уму гнать надо бабу...

– Ладно, уболтала, – буркнул Рух, поразившись своей добротой. – Обожди, сейчас соберусь.

II

Тропка сорвалась с Лысой горы, запетляла по косогорам и нырнула в нежную зелень березовых рощ. Над Мглистыми топиями, где среди трясин, островков и затянутых ряской озер попадались развалины, оставленные неизвестным народом, собирались черные тучи. В воздухе пахло дождем. Лукерья чуть успокоилась, перестала беспрестанно кланяться и благодарить и тихонечко семенила, хлюпая носом. Рух неодобрительно зыркнул на солнце и поглубже натянул на глаза капюшон. Мысли крутились вокруг возможной подмены. Слишком уж дело сложное в подготовке и исполнении. Если нужен нечисти ребеночек, то легче просто украсть или выкупить у родителей через пятые руки. В голодные годы матери отдают детей за пригоршню зерна. Ведьмы умываются младенческой кровью для поддержания колдовской красоты, лешаки не прочь сладкой человечинкой закусить, из костей некрещеного младенчика дудки делают, на звук той дудочки можно русалку приворожить, а если принести ребенка в жертву темным богам, то можно удачу на многие лета получить. Шутка в том, что для всего этого подмена совсем не нужна. Подмену используют в единственном случае – если дите, на какой-то ляд, нужно живым. В люльку подбрасывают отродье или деревянную куклу, поверх чары кладут. Получается один в один украденный ребенок, не всякий колдун разберет. Подменыш держит связь между настоящим ребенком и матерью, тянет из нее силу и жизнь, не дает ребеночку помереть. Но опять же, надо это кому? Какой прок нечисти от живого человеческого дитяти?

– Муж чего говорит? – зыркнул на женщину Рух.

Лукерья смутилась, глаз не подняла.

– Ничего не говорит, Заступа-батюшка.

– Немой? – посочувствовал Рух. Хотя чего там сочувствовать, лучше немого мужика только немая баба.

– Нету мужа, – еле слышно выговорила Лукерья.

– Вдова?

Лукерья отрицательно помотала головой.

– Так. – Рух остановился. – Если в загадки играть собралась, то давай без меня.

– Стой! – Лукерья схватила за руку и тут же отдернулась, словно прикоснувшись к раскаленному железу в кузнечной печи. – В Новгород Петр Алексеич уехал, на заработки, и весточки нет от него. Я ить не знала, что в тягостях, и он не знал, без него Митюнюшку родила.

– Муж в отъезде, а жена родила? – усмехнулся Бучила.

Лукерья всхлипнула, готовясь расплакаться. Намек на возможность измены оказался излишним, не надо было так злобно шутить. Женщины – существа впечатлительные.

– Ну не реви, – смягчился Бучила.

– Я не это... – зачастила Лукерья. – Ты, Заступушка, не подумай, я мужнину честь свято блюду. Есть у нас Малушка Шныкова, через два дома живет, так вот она...

– Позже познакомишь с Малушкой, – прервал Рух. Послушать о веселом распутстве Малушки Шныковой было заманчиво, но не сейчас. – Одна живешь?

– С матушкой и батюшкой, Невзор и Матрена Моховы, знаете? – Лукерья снова смутилась. Понятно: при живом-то муже у родителей жить. – На сносях была, за коровкой стало дюже трудно следить, в отчий дом и перебралась. Долго мы ребеночка ждали, я и в церкви Богоматери кланялась, на святые источники хаживала, снадобья всякие пользовала – воняла гадостно, а толку-то нет. Уж и не чаялись, Петр Алексеич через то горевал. А тут гляжу, батюшки, кровя из меня перестала идти, грудь округлилась, а потом, святые угодники, живот растет и растет!

– Думаешь, они виноваты? – перебил Рух.

– Кто?

– Святые угодники.

Лукерья поперхнулась, но тут же вымучила улыбку.

– Шутишь, Заступа-батюшка? Обрадовалась я, скрывалась от всех, сглаза боялась, пока матушка не заметила. Скоро Петр Алексеич приедет с деньгой, а тут счастье како!

– Точно приедет?

– А как не приехать? – искренне удивилась Лукерья. – Он у меня... он у меня... Подарков воз привезет!

Рух скептически хмыкнул. Этих баб поди разбери. Как своего Петра Алексеича помянет, аж голову в плечи втягивает, и боится, и

уважает. Вот она какая – любовь. Век бы ее не видать...

За беседой вышли к Нелюдову. Чахлый лес сменился свежей вырубкой и полями с успевшими проклюнуться зелеными игольями ржи. Черный тын белел свежими кольями, пахнув стружкой и сосновой смолой. Первым делом, еще до пахоты, бросив дела, подновляют ограду, меняют сваи, чистят ров от ряски и дохлых лягух. Тут вопрос выживания, мать его так. Село без стены, что воин без доспеха. Так на Руси испокон веков повелось. Придя на новое место, люди ютились в шалашах, пока мужики огораживались частоколом повыше да покрепчей, следом ставили церкву. Церковь и стены отделяли от темного страшного леса, где за каждым деревом пряталась смерть. Лес выжигали на версты вокруг, чаща отступала, но страх оставался, поселившись в самых укромных уголочках крестьянской души. Редкие деревушки, забравшиеся в дебри, считались проклятыми, их жителей чурались и сторонились, почитая за ведьм, лиходеев и колдунов. Если начинал падать скот и люди покрывались гнойными язвами, если дождь хлестал беспрестанно, побивая посевы, или приходила страшная засуха, лесные деревеньки занимались огнем. Тех, кого пламя минуло, поднимали на вилы. Помогало редко, но на душе становилось легче.

Воротный страж, лохматый и здоровенный, подслеповато прищурился.

– Ты что ль, Лукерья.

– Будто не видишь, Спиридон.

– Куды ходила?

– Твое дело какое?

– Мож и я б с тобою сходил.

– С козой своею ходи.

– Опосля прибежишь, а я и не посмотрю, у меня гордостев выше краев. С тобой кто?

– Заступа.

– Хххр. – Спиридон подавился слюнями и обмер. Бучила неспешно проследовал мимо. Он жутко не любил приходить в Нелюдово днем: лишнее внимание, охи и ахи, преждевременные роды у особенно впечатлительных. Ну и точно. Не успели отойти от ворот, следом пристроилась свита из старух, детей и воющих псов. Встречный народ шугался с дороги, Заступу встречали поклонами в

пояс, а вслед плевались, осеняясь крестом. Во, молодцы. Как волколак заведется или полудницы начнут баб в поле жрать, так Заступушка помощи, Заступушка защити! А тут морды воротят, вот и делай добро.

– Заступа, Заступа идет! – По улице с криками брызнули мальчишки.

Особо оборзевшая шавка с рыком бросилась под ноги, кляцнула желтыми клыками и унеслась, оставшись довольна собой. Дальше пошли с музыкальным сопровождением. Объявился деревенский дурачок Прошка, неистово колотя засаленной деревяшкой в бубен, обвешанный бубенцами. Рух поглубже втянул голову в плечи.

Прошка заскакал полоумным козлом и заголосил:

А у нас, у упыря,
Вчера жинка родила!
Дите отца увидело,
«Кол! – кричит. – Несите-ка!»

Бучила одарил придурка коротким, полным ненависти взглядом. Прошка нещадно пришамкивал, орал неразборчиво, но суть, к сожалению, Рух уловил. Понятно – дурак, но неужели страх совсем потерял? Кутенок безмозглый, и тот переживает за жизнь свою, а этот куда? Рух представил, как молниеносно вцепляется дурню в тонкую шейку. Крики, вопли, кровища. А потом бубен в трубку свернуть и в задницу запихать. Скоморох поиметый.

– Давай, Прохор, ишшо! – подначили из толпы.

Прошка и рад стараться, топнул ногой, пошел вприсяд.

Шел я лесом, видел чудо:
Упырихи две сидят!
Зубы черные, гнилые,
Лошадиный хер едят!
У-у-уха!

По толпе прошелестел одобрительный смешок. Рух задумчиво потрогал левый клык кончиком языка. Интересно, сам сочиняет, сука? Одаренный паскуда, самородок нелюдовский. Надо будет надоумить

его в Москву податься, про царя Ивана частушечки петь. Там по заслуге и наградят. Царские палачи страсть выдумщики какие по части наград.

– Ой, Прошка, бедовая голова! – понеслось из толпы.

– Жарь давай!

– Потеха, братья!

Проха радостно загыгыкал, пустив от удовольствия зеленую соплицу по жиденькой бороде. Картинно отставил ногу, вдарил в бубен и завопил:

Хороша наша деревня,
И святой у нас народ!
Кто ворует, кто блудует,
Кто покойничков етет!

Новая частушка прежнего успеха не возымела. Мужики недобро насупились, бабки зацыкали. Толпа отстала, позади затеялась сумбурная толкотня. Послышались вязкие, словно в тесто, удары. Благодарные односельчане мяли комедианту бока.

Улица вильнула в сторону, с дороги врассыпную разбежались пестрые куры. Из-за ближайшего забора неслись сдавленные ругательства, стук и бряканье. Прерывистый мужской голос прокричал, надсадно дыша:

– Ужо, охальницы, я до вас доберусь! Старуха, тащи топор!

Лукерья торопливо шмыгнула в неприметную калитку, Бучила за ней. Уф, отвязался от почитателей, холера их заberi. Во дворе давился лаем косматый страшенного вида кобель. Учувя вурдалака, коротко взвыл и, поджав хвост, улизнул в конуру. На крыльце бушевал тощий невысокого роста дедок в портках и исподней рубахе. Сухонький кулачок сотрясал дверь потемневшей от времени, крытой соломой избы. Рядом, хромым воробушком, скакала старушка в сбившемся на затылок платке, приговаривая:

– Успокойсь, милостивец, успокойсь!

– Топор неси, дура! – заорал дед и примолк, заметив гостей. – Лукерья?

– Я батюшка, я... – Лукерья всплеснула руками. – Вы чего это тут?

– Малышка с Ульянкой, шурины драные, из дому нас со старухой обманиной выманили да затворилися изнутри! – Дед замахнулся на бабку. – Все ты, мохнатая сатана!

– Пощади, милостивец! – Бабка резво отпрыгнула, прикрывая голову.

Лукерья охнула, побелела и чуть не упала, схватившись за перила крыльца.

– Топор неси, гадина, всех покрошу! – Старик уставился на Бучилу и упер руки в бока. – Ты кто таков?

– Здравствуйте, – застенчиво поприветствовал Рух. – А я, знаете ли, Заступа местный, вот, решил заглянуть.

– Заступа-а? – Дед смущенно кашлянул в жилистый кулачок.

– Привела, батюшка, Заступу, как есть привела. – Лукерья справилась с приступом внезапной слабости, коршуном взлетела на крыльцо и рухнула в ноги отцу. – Одна надежда у меня на него. Не губи, батюшка. Митюнюшка где?

Старик недобро глянул на Руха и сказал, ровно плюнул:

– Только ты смылась незнамо куда, ну терь-то понятно куда. – Злые глаза из-под лохматых бровей снова зыркнули на Бучилу. – Прошмандовки энти на двор залетели, орут: «Дед Невзор, хрен старый, ворота у тя не закрыты, корова ушла и по улице чапает!» Мы с бабкой ахнули, побегли зверюгу ловить. Глядим, а сука рогатая в хлеве стоит, смотрит на нас ажно на дураков. Облапошили нас шмары энти, в избе заперлись и Митяйку нашего мучают!

– Митюнюшка! – Лукерья ударилась в дверь. Из дома неслись детский плач и азартные окрики.

– Бабуль, отойди. – Рух подвинул старушку, взбежал на крыльцо и властно постучал. – Эй, затворюги! Я Заступа, слышали такого? Если не откроете, на всех скопом женюсь.

Голоса за дверью притихли, послышалось сдавленное шушуканье, ребенок осекся на самой высокой ноте. Так бывает, когда рот затыкают рукой.

– Заступа, Заступа пришел... – зашептали за дверью. – Ой, е.

– Mamочка...

– Что теперь...

– Открывай, дура...

– Сама...

Рух уловил приближающиеся шаги. Клацнул засов, дверь отворилась, солнечный луч упал на красивое бабье лицо с черными бровями вразлет и темными блудливыми глазищами.

– Мир дому сему! Не помешаю? – Рух чинно вступил в избу. Мимо пронеслась Лукерья, грохнулся и раскололся на тысячу черепков глиняный горшок.

– Гадина!

Бабка с дедом коршунами вцепились в бабу, открывшую дверь. Дед дубасил костлявыми кулаками, старуха норовила выцарапать глаза. Чернобровая отбивалась молча, лишь изредка натужно сопя.

– Ну буде-буде, – разнял драчунов Рух, вдоволь насладившись моментом. С девахи сорвали сарафан, открыв небольшую вздернутую грудь с набухшим соском. Ну вот, уже не зря пришел, какое-никакое, а развлечение. Свет в горницу проникал из двери и крохотного волокового оконца под потолком. В лучах кружились пылинки, у стены горбом дыбилась русская печь, полати и лежанки устилали ворохи вышитых одеял. В красном углу попыхивала лампадка, пахло хлебом, детской мочой и луковой шелухой. К дальней стене прижалась еще одна баба, тощая, противная, остроносая. Лукерья пыталась успокоить верещащего младенчика с исполосованной в кровь задницей и спиной. На полу валялись ивовые пруты. Картина ясная. Рух недобро глянул на виновниц и подобрал гибкую палку. Розга со свистом рассекла воздух. Определение подмывша народными средствами. Дескать, если хлестать нещадно подозрительного ребенка, то настоящая мать – мавка аль дьяволица – не выдержит, примчится на выручку и вернет человеческое дитя. Запороть до смерти – плевое дело. Поверить в такую методу может совсем уж полный дурак. А люди верят, люди обожают верить в самую отборную хреноту – обереги на богатство, вечную любовь, спасение душ. Оттого покоя при жизни не ведают. А большинство и после смерти муку великую пьют...

– Пошли вон, в другой раз не в свое дело полезете – не прощу. – Рух мило улыбнулся бабам, на прощание перетянув чернобровую по аппетитно оттопыренному задку. – Ребеночка дай.

Лукерья с явной неохотой передала сына. Младенчик брыкал тощими кривыми ножками и душераздирающе выл. Никогда детей не

любил – орут, пачкаются, тащат всякую гадость в рот. Рух внимательно глянул в заплаканные глазенки. Митяйка утробно сглотнул и заткнулся. Внушению поддается, уже хорошо. С виду обычный ребенок, ни хвоста, ни рогов, руки две, ноги две, пальцев сколько положено, головенка, правда, большеватая и вся шишковатая, нос похожий на пяточок, личико плоское и широкое. У девок с такими внешностями успеха не будет.

– Красивый, – соврал Бучила.

– В отца удался, – растаяла Лукерья.

Рух повертел ребеночка, потряс и приложился ухом к животу, ожидая услышать... сам не зная чего. Дите и дите. Показалось матери? Мамки – они такие, чуть младенчик чихнет – кричат: «Караул!» и лекаря требуют. Зеркало нужно, самое верное средство. Отражение не обманешь, в нем все обретает истинное лицо. Одна закавыка – где ж его взять? На всей Новгородчине зеркало не у всякой графини есть, а простому люду вообще неча на свои грязные рожи смотреть. В столицу с заморышем ехать? Бучила скривился, представив, как врывается в дворянские палаты с требованием подать зеркала. Живо на кол усадят, а младенчика бросят на съедение псам. За цену зеркала можно деревеньку со всеми потрохами купить.

Бучила задумчиво поглядел на кадку с водой. Можно там отражение посмотреть, но дело гиблое – водичка обманет. В печке громко лопнул уголек, догорающие дрова занялись синим огнем.

– Веник можжевеловый в люльку клала? – спросил Рух.

– Клала, Заступушка, клала, – закивала Лукерья.

– Одного оставляла?

– Ни на мгновеньице. – Лукерья перекрестилась.

– Глаз не спускали, – буркнул дедок. – Чего мы, порядку не знаем? Пока не крещен, на виду должен быть, вот мы и следили, и старуха следила, хоть и слепая совсем.

– Слепая-слепая, – подтвердила бабулька. – Одним глазиком и вижу теперь. Нет ли у тебя, Заступушка, зелья от глаз?

– От глаз есть, – ухмыльнулся Бучила. – Как намажешь, глазки и выпадут, ни забот, ни хлопот. Нет, бабушка, не по моей это части, ты к Устинье ступай, от ее зелья если вконец не ослепнешь, то точно видеть начнешь. Свет все время горел?

Лукерья замялась, исподтишка переглянулась с отцом и призналась:

– Три ночи назад сильно разоспалась, умаялась видно, всегда за лучинкой следила, а тут недогляд. Проснулась под утро, а в избе темнущая тьма.

У Бучилы неприятно екнуло в животе.

– Моя то вина, – нахмурился дед. – Обычно до свету маюсь – глаз не сомкну, а тут сморило старого дурака. Вродь только прилег, а уже петух завопил. И бабка колодой спала, дело невиданное. У ней сон пропал, когда первый хахаль ееный с князем Святославом греков грабить ушел.

Дедову шутку Бучила пропустил мимо ушей.

– Еще странности были в ту ночь?

– Кровь вот тута была. – Лукерья указала на пол. – Запеклась уже вся и не то чтобы много. Кошка крысу задавила, видать.

– Хорошая кошка у нас, – добавила бабка. – Красивыя-я...

– Угу, точно. Кошка. Крысу, – протянул Рух, задумчиво глядя на уютно потрескивающее пламя в печи. Ребенок на руках притих и обмяк. Не бывает так, чтоб в доме всех сон одолел, да еще и кровь на полу. Бучила наклонился и сунул младенца в огонь. Ведь как бывает: дите неразумное, не ведает, что такое огонь, тянется к диковинному цветку, обжигаясь до кости и мокнущих пузырей.

Лукерья заорала не помня себя, кинулась к печке и осеклась. Дед грязно выматерился, охнула бабка. Младенчик дней пяти от роду растопырил ручонки и с неожиданной силой уперся в стены топки, не позволяя впихнуть себя в печь. Глаза, принявшие гнилой оттенок палой листвы, с ненавистью смотрели на Руха.

III

Бучила шагал по Нелюдову, погруженный в черные мысли. На приветствия не отвечал, от поклонов отмахивался, на робкие просьбы скалил клыки. Какая-то сука пролезла в его, личное, едва ль не родовое, село и подменила новорожденного. Злодейство доселе не виданное. Нет, всякое бывало, конечно: лешаки лесорубов частями на ветках развешивали, русалки парней воровали, стая волколаков однажды коров вместе с пастухами на лохмотья кровавые порвала. Но это по первости, пока Рух силушку не набрал. Договорился о мире, с кем по-доброму, с кем кровью великой. Тишина настала да благодать. А тут ребенка похитили. Окрестная нечисть с нелюдью на такое вряд ли решится, опасаясь гнева упыря из проклятых руин. Бучила в своих владениях озорничать строго-настрога запретил. Так и ему спокойней, и они целей. Разве только молоденькие лесовики или мавки шалопутничать весною взялись? Этим знай одно баловство, ни почета, ни уважения. Всегда найдется придурок без царя в голове, выросший на сказках о древних героях Холмеге и Суэнраве, грезящий новой Виерееварой – священной войной против всего человеческого. Огонек, все еще тлеющий в печи полутысячелетнего противостояния и лютой вражды. Наслушавшись баек о старых временах, сбиваются в шайки, грабят и убивают путников, жгут церкви, нападают на деревеньки и хутора, оставляя после себя пепелища и обезображенные тела. Кончают всегда одинаково: войска загоняют банды в лесах, словно крыс, и тогда, взятые живыми, нелюди идут на костер. Кто с гордо поднятой головой, кто обгаживаясь и умоляя простить. Тогда становится ясно: в самом главном люди и нелюди одинаковы. Старуха с косою расставляет всех по местам.

Рух миновал разлегшихся на дороге свиней. Те и ухом не повели. Огромный боров что-то жевал, утопив рыло в жидкой грязи. Даже обидно. Кошки и собаки чуют упыря издали, а свиньям плевать. Что есть ты, что нет. Хоть сто чертей прыгай вокруг. Недаром хряки считаются вместилищем дьявола, а ведьмы пользуют этих тварей как ездовых. Жиды и сарацины, на жидов глядячи, свинятину вообще не едят, боятся с нечистым мясом демона проглотить. Сушеный свиной пяточок – лучшее средство от сглаза, по внутренностям черного борова

лучше всего в будущее глядеть, закопанная перед домом в полнолуние свиная шкура будет три лета на себя все беды и горести забирать. А если на четвертое лето шкуру ту выкопать и соседу на поле бросить или под избу, то несчастий сосед выше крыши хлебнет. А можно свинку попросту съесть. Такая вот полезная тварь.

Кривая улочка вывела на окраину. Покосившиеся, потемневшие от времени избы остались за спиной, Руха накрыла тень заброшенного овина [13]: расплывшегося, вросшего в землю, с прохудившейся крышей, густо заросшего крапивой и зеленым плющом. Новый овин срубили многие лета назад, мужики грозились старый разобрать на дрова, но дальше разговоров дело не шло. Даже близко старались не подходить. Овин – место колдовское, напоенное хлебным духом, намоленное несметным числом голодных годов. Это ведь все равно что церкву снести... Так и стоял старый овин, став домом для мышиноного племени и воробьев. А еще домовых, облюбовавших развалину для сходок и всяческих нужд.

Рух изломал сухие стебли, согнулся в три погибели и забрался в овин. Внутри царила зыбкая полутьма, истыканная косыми лучиками света, падавшими из дыр в потолке. Пахло соломой и пылью. Перекосившиеся стены и провалившаяся крыша свили лабиринт ходов, нор и укромных углов. Явственно слышался тихий многоголосый то ли скулеж, то ли плач. Глаза нещадно слезились, привыкая к перепаду дневного света с подрагивающими душными сумерками овина. По левую руку зашуршало, посыпалась сенная труха. Бучила протер глаза. Перед ним в развязной позе, уперевав руки в бока, стоял домовый. С виду сущий человек, только махонький, Руху где-то по причинное место, с лицом, заросшим короткой буренькой шерсткой. Этим мехом домовики покрыты с головы до пят, включая ступни и ладони. Одет в рубаху навыпуск, полосатые порты и лихо заломленную набекрень шапку. На ногах короткие сапожки, расшитые бисером. Ага, из молоденьких значит, старые домовые обувки не признают. За поясом топорик, глазки внимательные и цепкие. Ружа нахальная и продувная. Нахальство и раздутое самомнение – наиглавнейшие добродетели домовых. Но бабенки у них симпатичные, того не отнять, мохнатенькие и ласковые. На прошлую Купалу к Руху подбивала клинья одна, едва отвязался. Это ведь словно кошку етить, такое поганство даже для вурдалака грешно.

– Куды лезешь? – Домовик презрительно сплюнул под ноги.

– Доброго дня, – мило поприветствовал Рух, подавив желание снести недомерку башку.

– Поворачивай отсель, – насупился домовой.

– Я к Авдею, – козырнул Бучила знакомствами на самых верхах.

– Не до тебя ему, уходи.

– А ты все ж позови. – Руха всегда бесили эти вечные пререкания. Мнят из себя больше чем есть, грубят постоянно и злобствуют. Из-за низенького росточка, видать.

– Ага, побежал, – фыркнул домовой.

Рух закусил губу, намереваясь отвесить нахальцу пинка. Негоже в чужой дом силой идти, но если пес у хозяев дурак?

– Чего тут, Мирон? – Из пахнущей мышиным пометом дыры вылез второй домовой: включенный, растрепанный, по уши заросший бородой, собранной в косички у рта. На упыря внимания не обратил.

– Вона, нечистая принесла, – кивнул на гостя Мирон.

– Человече? – изумился напарник.

– Сам ты человече, варежка мохнатая, – сказал Рух.

– Кто варежка? Ты пошто лаешься? – Домовой закипятился и попер на Бучилу, выставив кулаки.

– Тихо-тихо. – Рух примирительно поднял руки. – Ты меня не замай ^[14]. Нашел человече. Сами-то в сапогах. Нешто очеловечились?

Домовые смутились, запереглядывались, бородатый растерянно поковырял пальцем ладонь.

– Ты это, дурика не гони, – предупредил Мирон и тут же нашелся: – Пращуры наши в сапогах хаживали, когда людишки еще срам листочками прикрывали. То в книгах старинных написано.

– Глянуть можно? Я книги страсть как люблю, – промурлыкал Бучила.

– Не твоего ума. Сказано: писано – значит, и есть. Хошь верь, хошь не верь, мне твое мнение мало волнительно. А сапоги потом людишки у нас отобрали, хотели домовиков исконной одежды лишить. А хрен там, вот они, сапожки! – Мирон притопнул каблуком.

– Ясно, – поспешил согласиться Рух. – Лясы долго будем точить? Меня, между прочим, Авдей дожидается.

– Прямо и дожидается, – напрягся бородатый и толкнул второго в бок. – Ты это, Мирошка, слышь, дойди до Авдея, спроси.

– Сам и иди, – набычился Мирон. – Авдей дюже злой.

– Вы собачьтесь-собачьтесь, – улыбнулся Бучила. – Авдей прознает, как гостя на пороге мурыжили, доложить не подумали, враз подобрееет, мое слово верное.

Бородатый оказался умней, толкнул Мирошку и юркнул в дыру. Отсутствовал недолго, Рух даже заскучать не успел. Мирон зыркал исподлобья и ворошил носком исконно домововского сапога сенную труху. Иногда настораживался, прислушивался и кидал ладонь на оголовье топора. Господи, аки дите с мохнатым мурлом...

Из норы вылезла бородатая рожа.

– Это, как его, Авдей кличет тебя, стало быть. Туды вон иди. – Мохнатый палец указал направление.

– Стой. – Неусыпный Мирон перекрыл дорогу и передразнил сородича: – «Туды иди». Порядку не знаешь, Ульян? – И приказал Руху: – А ну повернись, вдруг злодейство задумал да железку вострую припас, я посмотрю.

Бучила обреченно вздохнул и повернулся спиной. По телу забегали ловкие пальцы, ощупывая складки и швы.

– Пусто, – разочарованно буркнул Мирон. – Теперича иди.

– Думал, у меня за пазухой пушка или меч-кладенец? – Бучила поправил хламиду. – Ты вроде не дурак, ведь смекаешь: ежели захочу, кишки тебе выпущу без ножа.

– Иди давай, выпускальщик, – буркнул Мирон.

Низкий, забитый рухлядью проход вился во тьме. Плач нарастал и несся теперь одновременно со всех сторон и, кажется, даже из-под земли. Странно все это: охрана на входе, оружие ищут, взвинченные какие-то, настороженные. Случилось чего?

Рух вступил в комнатку со стенами из подгнивших снопов, заваленную горами битых горшков, тележными колесами, сломанными прялками, вениками, разохшимися корытами и беззубыми граблями. Сокровищница, видать. Свет отвесно падал из дыры в потолке. Авдей, главный нелюдовский домовик, восседал на резной лавке. Низкорослый, коренастый, поперек себя шире. С виду обычный старикашка, одной ногой на погост – морщинистый, шерсть на лице тронута сединой, горбатенький. Бородища расчесана – волосок к волоску. Борода для домового – первая гордость, чесать ее готовы день и ночь напролет. Хотите задобрить домового – положите

гребень за печь. Только, упаси Господь, не серебряный. Домовые шуток не любят, а уж мстительные, Боженька упаси. Расчесывать домовые обожают больше всего – себе борода, волосы спящим людям, хвосты и гривы коням. Если домовым насолить, ваши волосы будут расчесывать отдельно от головы. В случае особо острых противоречий голову с волосами отделят и унесут. Племя злопамятное, гордое, умеющее постоять за себя. Обожают кровопролитие и молоко.

Предводитель нелюдовских домовых Авдей Беспута прозвище свое оправдывал до копейки. Разменяв второе столетие, много всякого сумел увидеть и сотворить. По молодости бунтовал против стариковских порядков, воли искал, за те дела был нещадно розгами сечен, обиделся крепко, зарезал порольщика и убежал. Прибился к ватаге пропащих людей, душегубничал на большой дороге, ходил по Волге грабить татар, побывал в Югре и у Камня, искал шаманское золото, еле ноги унес. На память о тех славных годах остался Авдею шрам через всю разбойную рожу, проложивший стежку от брови, рассекающий нос и оттянувший рот в вечной звероватой полуухмылке. После ранения взялся за ум, понял: конец один, или в петлю, или зарежут дружки-приятели за ломаный грош. Вернулся в Нелюдово при коне, броне и оружии. Тогдашний главный домовик валялся в ногах, молил забрать власть. Авдей отказываться не стал.

Рух присмотрелся и удивленно хмыкнул. Авдей был облачен в траченную ржавчиной кольчугу и сидел, опираясь на зловещего вида топор. Совсем умом тронулся?

– Здорово, Авдей, – поприветствовал Рух. – Ты чего во всеоружии-то?

– Здорово, Заступа, – прогудел Авдей и жутко осклабился. – Война у нас тут.

– С кем? – ахнул Бучила.

– А хер его знает, – признался Авдей. – Слышь, домовихи ревут? Горе у нас, третьего дня убили Архипку, племяша моего. С той поры и воюем, в обороне сидим. Любил я Архипку, на свое место готовил. Лучшую избу в селе ему дал, стариков Моховых, да дочка при них с народленным дитем.

– Дитем? – Рух поперхнулся, вспомнив Лукерью девичью фамилию.

– Ну дитем, – Авдей недоуменно вскинул лохматые брови. – Мужик, когда с бабой любятся, всякие штуки интересные вытворяют, после того баба походит-походит и дите из нее вываливается. Нешто не знал?

– Три ночи назад Архипа убили? – Рух пропустил подначку мимо ушей. В совпадения он не верил, но тут прямо тряхнуло всего.

– Три, – кивнул Авдей, не понимая, к чему клонит упырь.

– Дочка Лукерья у них?

– А бес ее знает. – Авдей повысил голос: – Ульян! Ульян, душу мать!

– Тута я. – Из соломенной стены высунулась знакомая голова.

– У Моховых дочку Лукерией звать?

– Ага. Ух хорошая ба...

– Пошел вон.

Зашуршала солома.

– Ну Лукерья. – Авдей заерзал на лавке. – Тебе какая беда?

– В ночь, когда племяш твой погиб, у Лукерьи подменили дите. Смекаешь, Авдей? Кто ребенка забрал, тот и Архипа убил.

– Ах, м-мать. Да как же оно? – Масляно звякнуло. Домовой вскочил и заходил по комнате, помахивая топором и путаясь ногами в кольчуге. – Ну дела, ну дела... – Резко остановился и подозрительно уставился на гостя. – А ты зачем ко мне шел? Хотел за дите ворованное спросить?

– Вроде того, – признался Бучила.

– Обидел ты, Заступа, крепко меня. – Шрам на роже Авдея налился кровью.

– Извиняй, – без тени раскаяния отозвался Бучила.

– Горе у меня, а ты...

– Я же не знал.

– Сука ты, Заступа. Ведь знаешь – мои того сотворить не могли. Убить, обмануть, ограбить – то запросто. Но дите похитить – ни-ни.

– А я тебя в чем обвинял? Хотел совета спросить, вдруг знаешь чего. Вы, домовые, больно уж мозговиты собой.

– Льстишь? Того не надобно, ты мне лучше паскудину, Архипку прикончившую, вынь да положи, я с ней по-свойски поговорю.

– Думаешь, просто? – прищурился Рух.

– Было бы просто, мои молодцы давно б стерву эту сыскали. – У Авдея в шраме скопилась слюна. – В селе убивцы нет, доподлинно знаю. Мы с тобой, Заступа, одною ниткой связаны. Я тебе помогу, а ты мне. По рукам?

– По рукам, – легко согласился Рух, откланялся и поспешил туда, где красиво и птички поют. Не, не на кладбище. В лес.

IV

Леса, нареченные русскими Гиблыми, поганое племя водяков кликало Аавера-метса – Леса призраков, начинались в версте от Нелюдова и заканчивались у берегов далекого северного океана, где болезненные, измельчавшие, утратившие величие елки уставали цепляться за скальное крошево, падали и уносились течением в смрадные воды гниющих морей, где ночь царствовала шесть месяцев в год, на небе играло дьявольское сияние, сводящее людей и животных с ума, и твари, никогда не видевшие солнца, выли на островах из песка, пепла и древних костей. Века назад архиепископ новгородский Василий Калика писал епископу тверскому Феодору о проклятых землях: «Леса те подобны аду, противные человеку и Богу, ибо отец того леса есть Сатана. Много детей моих, новгородцев, сгинули на Дышучем море: ибо червь там неусыпающий и скрежет зубный, и река молненная Морг, воды чьи входят в преисподняя и паки исходить трижды днем». В Гиблом лесу не было ни троп, ни дорог, и люди держались лишь течений многочисленных рек. Черная непроходимая чаща раскинулась на тысячи верст, деревья стояли так густо, что мертвым исполинам некуда было упасть и они медленно догнивали, повиснув на соседних стволах. А у корней, среди тлена и падали, зарождалась жизнь, никогда не видевшая солнечного света, жизнь нечистая и богомерзкая. Там, среди лесов, таились развалины канувшей в лету Биармии, страны великих воинов и колдунов. Циклопические стены и заброшенные города, населенные тенями и падшими душами. Там, в бездонных трясилах, вили гнезда мерзкие твари и царапали серое небо шпили загадочных каменных башен, в каждой из которых насчитывалось восемь тысяч ступеней. Редкие смельчаки уходили в леса в поисках славы и золота. Били зверя, добывали болотное железо, грабили могилы пропавших народов. Некоторые возвращались, бывалоча и в своем уме. Извечное людское любопытство гнало лихих людишек на север, и неизвестно, что блеснуло в чащобе: древние сокровища, глаза чудища или наконецник смазанной грибным ядом стрелы.

Слава богу, топать через Гиблые леса никакой нужды не было. Руха накрыла густая тень сомкнувшихся еловых вершин. На опушке

черной громадиной высился охранительный крест, тесанный из цельной просмоленной сосны – изрубленный, искромсанный, изгрызенный, обмазанный слизью и засохшим дерьмом. Лес выплескивал бессильную ярость, пытаясь свалить чужую святыню. Пройдет время, и этот крест сдвинется, вершок за вершком, верста за верстой, и лес отступит под напором огня, железа и простого русского мужика с распятием на груди. Так будет.

Угрюмый ельник слизнул Бучилу с опушки огромным влажным языком, кинув под ноги звериную тропку. Здесь еще ощущался пресный холод месяц как стаявших глубоких снегов. К запаху грибницы примешивались терпкая сладость прели и вязкая горечь сырого валежника. Потренькивали незримые птицы. Рух затылком чувствовал чужой внимательный взгляд. Поганое ощущение. Он с самого начала знал, что его появление не прошло незамеченным. Лес все видит и всегда следит за тобой. От этого взгляда не укрыться, не спрятаться. Рух видел, как самые сильные и смелые под этим мертвенным взглядом сходили с ума. Он остановился и демонстративно пнул обомшелую корягу. Трухлявая древесина проломилась, высыпав пригоршню мокриц, червей и трухи. В лесу установилась вязкая тишина, казалось, даже ветер утих. Ощущение чужого взгляда усилилось. Лес смотрел, но проявлять себя не спешил. Владыку местных леших Кохтуса Рух не видел почитай с прошлой осени и о том нисколечко не жалел. Лешаки крайне неприятны в общении, хитры и зловредны, не поймешь, чего от этих паскуд ожидать. Старые лешаки неприятны вдвойне. А Бучила приперся к самому древнему лешаку этого края Гиблых лесов. В общем-то существа они незлобивые, если человека и убивают, то по ошибке. Ошибаются, правда, суки, частенько...

– Эй, есть кто-нибудь? – подал голос Бучила. – Кохтус!

В ответ тишина. Ну разве не суки?

– Кохтус! – крикнул Бучила. Лес отозвался насмешливым эхом. В чаще послышались приглушенные голоса, мелькнула быстрая тень. За спиной резко треснула ветка, Рух обернулся. Никого. Шуткуете? Ничего, сейчас и я шуткану.

Бучила пошел по тропе, беспечно помахивая сломанным прутиком, одним прыжком сиганул в заросли рябины и опутанного паутиной малинника и схватил что-то живое, мохнатое и грязное. В

нос шибануло псиной и опавшим листом. Мелкий лешонок брыкался и истошно вопил, тощий, скользкий, будто сшитый из лоскутов коричневой шкуры, заскорузлой кожи и древесной коры. Башка уродская с глазами как у совы, бездонными, черными и пустыми, и пастью, полной желтых клыков. Тварюшка колотилась, норовя засадить когтями в живот. Паскудная забава всех леших – выпустить человеку кишки, а потом смотреть, что из этого выйдет. Рух отвесил падле леща и тряхнул за шкуру что было сил. Лешонок попался понятливый, успокоился и обвис, перебирая задними лапами. По людским поверьям, в лешаков превращаются умершие некрещенные дети. У людей вообще вся нечисть из некрещенных младенцев идет. От ограниченности ума и убогости фантазии то. Лешие сами охотно плодятся, с лешачихами балуют, да вдобавок лешие до человеческих баб дюже падкие. Заманят бабу в чащобу, вымотают и оприходуют. Оно и понятно, лешачихи страшные – жуть, шишки на ножках, да вдобавок воняют дохлыми кошками и землей.

– Кохтус где? – строго спросил Бучила.

Лешонок взвыл дурнем, задержался, видать подумал, тут ему и конец.

– По-человечьи не разумеешь, паскуденыш? – окончательно расстроился Рух.

– Пошто над дитем измываешься? – сухой голос за спиной прозвучал треском сломанных веток.

Рух разжал руку, лешонок шмякнулся на задницу и, поскуливая, уполз в густые кусты. Бучила медленно обернулся. У края тропы застыла коренастая кривоногая тварь, обликом весьма похожая на трухлявый пенек. Из бесформенной головы пробились зеленые ветки, огромные белесые глаза навывкате терялись в бороде из тонких, как нитки, корней, тело, заплывшее грубой и жесткой корой, бугрилось узлами, наростами и вьевшимся в плоть и кожу грибом. Леший был настолько древним, что постепенно обращался в дерево. На кривой шее ожерелье из камешков, косточек, птичьих и звериных черепов. В когтистой лапе сучковатый посох с навершием из высушенной человеческой головы. Одеждою не обременен. Оно и правильно, в этот мир мы приходим нагими, нагими и должны помереть.

– Здорово, Кохтус, – поприветствовал Рух.

– Здорово, Заступа. – Пасть лешего напоминала узкий длинный разрез, в котором вкривь и вкось торчали гнилые клыки. – С чем пожаловал?

– Соскушнулся, проведать зашел.

– Ежели проведывать заходят, то дитев хозяйских не бьют. – Кохтус любовно похлопал подползшего ребеночка по уродливой голове.

– Ты долгонько не шел, а я ждать не люблю.

– Невтерпежный какой, – хмыкнул лешак. – Занятой я. Думаешь, делов у Кохтуса нет? Весь лешишко на мне.

– У медведицы, тобой и огулянной, приплод принимал?

Леший утробно заухал, изображая смех.

– Слышал, у Птичьего броду с воздягой схлестнулся?

– Мог бы и упредить, – посетовал Рух. Старый пень, все про все знает в лесу. И о воздяге ведь знал.

– Мог бы, да не схотел. – Леший подсеменял ближе, увлекая за собой покрывало тухлого смрада. – Ты в прошлом году мне подсказал, что людишки Сонное урочище огню решили предать?

– Не успел, – признался Бучила.

– Вот и я не успел, – смежил гляделки лешак. – А у меня там два выводка сгорели живьем. Вона, поглянь. – Кохтус повернулся вполоборота. Левая рука висела плетью – обожженная, черная, мертвая. Под мышкой пламя прожгло неряшливую дыру, внутри хлюпала мерзкая зеленоватая слизь.

– А я говорил, уходите поглубже в леса. Ты не послушал.

– Уходить? – скрипнул лешак. – Со своей, значица, земли уходить? Потому как она белокожим нужней? Ну-ну. Нет, Заступа, стар я уже убежать. Здесь отец мой, деды и прадеды в землю ушли, в деревину обратились и сгнили, дав пищу новым росткам. И я здесь сгнию. Некуда мне из родного дома идти. Так чего надо тебе?

– В селе ребеночка подменили, знаешь о том? – Бучила искренне обрадовался смене неприятной беседы. Если с Кохтусом дальше о людях и старых временах разговаривать, плохо все кончится. Плавали – знаем. Упрямым леший и злопамятен – жуть.

– То не наши, – чересчур быстро отозвался лешак. Словно вопроса этого ждал. – Я уговоров не нарушаю. Чем хочешь клянусь. Дитем вот.

– У тебя их не один десяток поди, – ухмыльнулся Бучила. – Одним больше, одним меньше. Бором, лесным богом клянись.

– Умный, да? Бором клянусь, – проскрипел Кохтус с явной неохотой. – Не брали человечье дите.

– Верю, – смежил веки Бучила. – А кто тогда брал?

– Я почему знаю? – удивился Кохтус.

– Ну мало ли. – В голосе лешего Бучила безошибочно распознал скрытую ложь. А кроме лжи – затаенный, тревожный, мучительный страх. – Падаль какая-то завелась, верно из пришлых. Законы для твари не писаны – лезет в мое село, убивает домовых, крадет детей. Дальше что, черную смерть призовет? Покамест затаился где-то и ждет. Если укрываешь на лесных погостах кого, я ведь опосля приду и спрошу.

– Нету у меня никого. – Кохтус уставил белые, ничего не выражающие глаза. – Нету, и все.

Лешонок мерзко скалился, выглядывая из-за старшего и показывая мелкие желтые зубы.

Рух глянул внимательно. Знает, коряга старая, знает, а сказать не скажет, напуган до чертиков. Страшно подумать, кто может напугать лешака, кроме любимой жены. Давить бесполезно, только еще больше закроется.

Кохтус молчал, глядя куда-то вверх упыря. Лешонок, сдавленно шипя, устроился гадить напрямиком на тропе. Вот дитя леса, ни совести, ни стыда. Ждать окончания просрачки смысла Рух не нашел.

– Прощай, Кохтус.

– Прощай, упырь.

– Увидимся.

– Не дай Бор. – Леший повернулся и засеменял в чашу, неуклюже переваливаясь на одеревенелых ногах.

– Ну и вали в жопу, – вполголоса сказал Рух и быстрым шагом пошел к опушке. Если обманул, так мы с тобой потом по-другому поговорим, шишка тупая. В поясницу шмякнулось мягкое. Бучила обернулся и тяжело вздохнул, увидав, что сучий лешонок запустил в него ошметком дерьма. Образинка скалилась и довольно поухивала. Рух предпочел внимания не обращать. От леса есть несомненная польза – все остается в нем.

V

Личную библиотеку Рух оборудовал в самом дальнем зале первого яруса. Сухая, хорошо проветриваемая комнатка, без дыр в стенах и потолке. Сюда не проникала талая и дождевая вода, не насыпал по самые яйца снег, и солнечный свет не портил чернил. Густая тьма пахла бумагой, пылью и ветхими кожами. Из мебели круглый стол, заваленный свитками, лавка и единственная полка с главными Бучилиными сокровищами – чертовой дюжиной книг. Рух бы и больше с превеликим удовольствием натаскал, да книги на вес золота стоят и купить их редко удастся кому. Всего тринадцать книг у Руха, но это, по нынешним временам, библиотека немалая.

На столе, возле раскрытого Евангелия, стояла масляная лампа, дань памяти былым временам. Бучила с его ночным зрением мог прекрасно читать в темноте, но теплый помаргивающий свет создавал неповторимый уют, грея мертвую душу. На этот раз лампу зажигать он не стал, некогда, да и не рассиживаться пришел. Рух опустил на лавку и тихонько позвал:

– Антоний. Антоний.

Страницы Евангелия зашуршали, словно под легким дуновением сквозняка, из книги завихрился сизый дымок, через мгновение оформившийся в полупрозрачную тень человека с острым лицом и козлиной бородкой. Призрак монаха Антония, двадцать лет назад зарезанного не пойми кем в трех верстах от Нелюдова. Антоний был человеком умным и образованным, направлялся из Москвы в Новгород богослужебные труды изучать. Шел, да не дошел. Бучила давненько подметил – чем грамотней человек, тем больше с башкой нелады. Взять Антония – писать обучен, понимает латинскую речь, страсть сколько книжек прочел, а толку с гулькин хренок. В книгах тех писано, как апостолы за Христом таскались, как иудеи разнесчастные мыкались да как поклоны правильно бить. Житейской сметки в них ни на грош. Потому Антоний и поперся один, не дождавшись попутчиков, думал, Господь сбережет. Угу, спас. Господь дурачков любит, видать, раз старается их при себе на облачках пушистых держать. Но и тут Антонию не свезло, смерть подлую принял, тело осталось в лесу догнивать, и поднялся он умертвием неупокоенным. Людишки стали

жаловаться на призрака-кровопийцу. Рух изводит монаха не стал – пожалел, поселив безобидного и пугливого призрака у себя. Вреда от него никакого, а польза огромная.

– Ну как посмертная жизнь? – спросил Рух.

– Тщетна, – вздохнул призрак. – Пытаюсь понять задумку Божию и не могу, глуп я и грешен, завис между землей и небом. Ни в аду ни в раю.

– А вдруг это пекло и есть? – Бучила неопределенно повел рукой.

– Богохульство, – отпрянул монах. – Господь создал этот прекрасный мир.

– Прекрасный мир, где матери торгуют детьми, а голод, болезни и войны косят народ? По мне так вышел совсем неплохой ад.

– От людей то, не от Бога, – понурился монах. – Бог любить завещал.

– А люди не от Бога?

– Все от Бога. – Антоний подернулся рябью. – По заповедям жить надо и верить в спасение душ.

– Ну-ну, – хмыкнул Бучила. – Я вот слыхал, в Индии тыща богов, а ни ада, ни рая нет, помер человек, погнил маненько в земле, и душа – фьють – в тварюшку какую переселилась – в обезьяну поганую иль в червяка. Верил бы ты в тех богов, сейчас бы не призрачил бесприютно, а серым зайчишкой по травке скакал, на зайчиху похотливыми глазами косил.

– Спаси Господи! – Антоний отшатнулся в ужасе.

– А мне нравится, – загорелся Бучила. – Надо бы всех богов отменить и новое исповеданье создать, чтоб для всех и без глупых ограничений. Чего хочешь твори, и ничего тебе за это не будет.

– Ересь! – вспылil монах. – Смотри, Заступа, взойдешь на костер!

– Мучеником новой веры? Я только за.

– Сатана тебе мысли вложил.

– А может, Господь! – Бучиле доставляло удовольствие мучить несчастное привидение. А то сидит в темноте, скучно, наверно, ему. – Ты ж говорил, все от Бога.

– Оставь, Заступа, не мучай, – взмолился монах. – За тем пришел? Богопротивные беседы вести?

– Просто к слову пришлось, – повинился Бучила. – Дело к тебе. Знаю, с нежитью местной ты не в ладах, да вдруг услышишь чего. Дите в селе подменили, а кто, не ведаю.

– На дите невинное покусились, – охнул Антоний. – На святое?

– Ага, на него, – кивнул Рух. – Ну так чего, визнаешь для меня?

VI

Бревенчатая громада пятиглавого храма Преображения Господня накрыла Руха ажурчатой тенью. Крест на колокольне отсвечивал золотом. Нелюдово село богатое, купеческое, оттого и церковь, славная на всю округу убранством и красотой, вознеслась на пригорке с закатной стороны села, опоясавшись могильными камнями погоста и старыми вербами. Высокая, статная, рубленая из трехвершковой сосны. Один вход, окон нет, с колокольни далече видать, одновременно храм Божий и крепость, последняя опора, ежели подступится враг. Все старые церкви – крепости, оттого что как ни год на Руси, так усобица, как не усобица, так большая война. Прежняя церковь сгорела в правление московского царя Дмитрия Темного, множества зла причинившего Новгородской земле. Окаянный слепец вторгся в новгородские волости, полыхнули деревни и города, снег покраснел от крови, союзнички-псковичи сговорились с Москвой и ударили в спину. Война и смертоубийство охватили землю, дым сотен пожаров застил небеса. Не убереглось и Нелюдово, осталось пепелище одно, хорошо народишко успел укрыться в лесу. Димка Темный получил по зубам и убрался, а за грехи его на московитов обрушились голод, засуха и чума. Нелюдово возродилось в том же году, разрослось и окрепло, пустив крепкие корни.

А церкву отстроили на зависть другим. Вот только с росписью вышла промашка. Уж больно хотели невиданную красоту навести. Отрядили в Новгород самых умнейших и сметливейших мужиков сыскивать мастера фресочных дел. Те помыкались, казну попускали, насмешек наслышались. Хотели уж уезжать, да смилоствивился Господь, мастер сам в кабаке их нашел, назвался Андреем Красным, бумагами в рожу потыкал, где писано было, что обучался он иконописи в самой Венеции и здорово руку набил. Хорошие были бумаги, внушительные, испужались тех бумаг мужики, хоть и грамотными отродясь не бывали. Мастер отвел нелюдинских хватов в соседнюю церковь, которую только расписывать завершил. Мужики обомлели от той красоты. Мастер и настоятеля притащил, богобоязненного и тихого, маленечко даже от переизбытка святости не в себе. «Я ли, – спросил мастер настоятеля, – церкву святую

расписывал?» Закивал монах чинно – «Да-да, истинно так. Лепо иже на небеси». Тут и растаяли мужики, ухватили художника, пока кто не переманил, сговорились, ударили по рукам. Домой воротились в радости великой, иконописца сыскали да деньгу сэкономили. Мастер в церковь не велел заходить, работа, мол, тонкая, глаз посторонних не требует. Два месяца храм расписывал, пил без меры, жрал в три горла, спал на перинах, девок тискал, ни в чем отказа не знал, а потом взял и пропал в одну ненастную ночь. Хватились его, в церковь пришли и завыли. Сволочь эта, вместо фресок с мучениками и херувимчиками, испохабила стены отвратными видами совокуплений и оголенных бабищ. Поп тогдашний в обморок хлопнулся. Оказался благочестивый мастер Андрей пройдохой и плутом, каких поискать. Спер три кандила серебряных, потиры, жемчугами отделанные, раку золоченую с частичкой мощей святого Пантелеймона и, не прощаясь, отбыл в другие края. Хватились нелюдинцы, отрядили погоню, да куда там, ищи ветра в поле... Бросились в новгородский монастырь, а монах тот оказался вовсе не настоятелем, а послушником, умишком и по правдости тронутым, только не от святости благостной, а по причине пробития в позапрошлом годе на торжище беспутной башки. Отныне на любой вопрос он с превеликой важностью отвечал: «Да-да, истинно так. Лепо иже на небеси». Хоть о соитии с поросенком у него испроси. Так полоумненького и прозвали монахи между собой – Лепоиже. Остались нелюдинцы с похабными фресками, которых бы устыдился сам Сатана, и с великой обидой на всех служителей разнообразных искусств. Пришлось другого иконописца искать и уж за ним, пуще чем отец за дочкой-вертихвосткой, следить.

Бучила вошел за ограду, в груди остро и неприятно кольнуло. Он поморщился, стараясь не глядеть на кресты. Намоленное место железом каленым нечисть всякую жжет, долго не выдержать, если соломки кое-какой заранее не подстелить. Рух не подстелил, некогда было, теперь требовалось дело обтяпать быстро и чисто, пока не свернуло в бараний рог. Отца Иону, попа нелюдовского, надо бы за ворота истребовать, да не пойдет, сколь ни зови. Человек неплохой для попа, только упертый и себе на уме. Но договориться с ним можно. До Ионы был отец Тимофей, веры и честолубия преогромнейших человек, великими свершеньями грезил и должностями. Может, даже митрополитом стать помышлял. Тесно ему было в Нелюдово, не мог

себя проявить. Оттого пил безмерно, а похмелившись, перед иконами спину до крови плеткой стегал. Поскучал-поскучал и ушел однажды в Гиблый лес нечисти Божье слово нести. Святой человек и здорово преуспел. Следующим утром у ворот лукошко нашли, а в нем куски отца Тимофея, косточки разные и потрошки. Многого не хватило. Тогда и прислали Иону, попа молодого и без амбиций. В мученики не рвался, в церкви тихо сидел, с Бучилой старался пути-дороженьки не сводить. Понял: здесь, в дебрях нечистых, без Заступы не обойтись. У всех еще на памяти Зараево, село в десяти верстах по реке. Местный поп своего Заступу извел, так и зима не минула, опустело село, кого выкосила гнилая болезнь, кого чудища пожрали, кто обратился в бега. Остался батюшка без паствы, среди могильных ям и ветшающих изб, умишком тронулся и одичал. Видели его голого, косматого, грязного, жрущего падаль на полянах лесных. Потом сгинул, но до сих пор рядом с брошенной деревней нет-нет да слышали редкие мимохожие надрывный жалостный вой.

Рух остановился, не дойдя до церкви десятков шагов. В животе ныло, голова пошла кругом, макушку пекло. Он покачнулся, едва не упав. Тихо-тихо, сейчас полегчает ужо... Дорога в храм открыта для самого закоренелого грешника, хоть сам Сатана приходи, Господь милостив, всегда оставляя единственный шанс. Любая нечисть может зайти, муку великую перетерпев и злобу за порогом оставив. На словах легко, а на деле...

– Иона! Иона! Выйди на час.

В церкви плавала темнота, подернутая россыпью горящих свечей. Зыбкий свет странно приманивал, сливаясь в оранжевую с чернотой пелену. Рух с трудом оторвал взгляд и снова позвал:

– Иона!

Поп тянул время, вроде как дела у него неотложные есть и до упыря поганого ему недосуг. Угу, деловой... Бучилу коробило от ожидания, обычно ведь к нему с поклоном идут, а тут унижение одно, и перед кем?

В дверях появился батюшка – тощий, сухощавый, высокий, черная ряса обвисла на нескладной фигуре. Борода куца, нос крючком, глаза строгие.

– Приветствую, святой отче, – поклонился Бучила.

– Паясничаешь? – подозрительно сощурился поп.

– И в мыслях не было.

– Уходи.

– Не затем пришел, чтоб уходить. Да и с чего бы? Вдруг исповедоваться хочу? Заблудшая овца стада Господня, ты как поп должен выслушать и истинный путь указать.

В глазах Ионы вспыхнул интерес и тут же пропал. Голос посуровел:

– Уходи, Заступа, грешно шутки такие шутить.

– Так не до шуток, – заговорщицки подмигнул Рух. – Мы ведь на одной стороне.

– На одной? – Иона надрывно вздохнул. – Якшаюсь с тобой, а от того порой и не знаю, кому служу, Богу иль Сатане.

– Все от Бога, – назидательно изрек Бучила, вспомнив науку призрачного Антония.

– Богословские беседы я с тобою, упырь, не стану вести. Прошлого раза хватило.

– Вдругорядь боишься продуть? – ухмыльнулся Бучила. – Так я не виновный, если святое Писание знаю получше тебя. Может, мне в попы податься, Иона?

– Уходи, Заступа, не мучай, – умоляюще попросил монах.

– Да ты не спеши, зубоскальство мое от печалей больших. У Лукерьи Ратовой дите подменили, слышал?

Батюшка подался вперед, глаза полыхнули жадным огнем.

– У Лукерьи?

– Ну. Знаешь ее?

Невинный вопрос заставил Иону смутиться. Бучиле показалось, что у монаха слегка запунцовело лицо. Чего это он нежный такой?

– Я всех прихожан должен знать, – строго отозвался батюшка. – Это тебе еда и еда, а мне дети они. Говоришь, подменили?

– Как Бог свят.

Иона поморщился от богохульственной клятвы.

– Точно?

– Проверено, натуральный подменыш у ней.

– Ох, Лукерья, Лукерья, только вроде наладилось все. Знать, плохо село стережешь? – Непонятно, чего было больше в голосе Ионы, горечи или насмешки.

– Знать, плохо, – согласился Бучила.

– А от меня надо чего?

– Мать еще может дите отмолить. Пусти в церковь на три ночи, Иона.

Иона посмотрел пристально, пожевал губу и сказал:

– Хочешь Лукерью с нечистью тягаться заставить?

– Я рядом буду.

– Это страшнее всего. Не выручить ребенка, так Лукерье и передай, Бог дал, Бог взял.

– Надо попробовать.

– Гордыня выиграла? – прищурился Иона. – Отступись, Заступа, тебе все едино, души нет, а Лукерью не трогай, она и без того горя хлебнула лишка. Муж сильно тиранил ее.

– А мне она другое плела, – удивился Рух. – Мол, сильно любит, уважает и вскорости с подарками ждет.

– Может, и ждет, кто этих баб разберет, – неопределенно пожал тощими плечами Иона. – Петька Ратов греховодник и душегуб. Был хороший мужик, работающий, а потом понесло, Лукерью бил смертным боем, ходила вся в синяках, измывался по-всякому, в избе на цепи железной держал, чтобы люди не видели. Говорил я с ним, стыдил, убеждал, карой небесной грозил. Куда там – стоит, кивает, вроде слушает, а сам далеко-далеко. Я к нему спиной повернусь, так страх какой, не приведи Бог. Последний раз он меня с крыльца спустил и палкой отстегал, словно шелудивого пса. Смех Петькин, сатанинский, до сих пор в ушах. Боялись его в селе, нравом крут, на расправу скор, чуть что в драку лез. А если рожу побьют, то обидчика непременно подстережет да голову раскроит. Пить крепко стал, неделями из запоя не выходил. Зимой, на ярмарке, пропился до исподнего и к соседу, Фролу Камушкину, в избу залез, набил котомку добра. А тут Фрол с женой и пришли. Зарубил обоих Петька топором и убег, поймать не смогли. Говорят, видели его в Твери, в кабаке, в компании срамных крашенных баб и разбойного вида мужиков. Деньги швыряли горстями, вино пили, дрались. Может, и обознались люди.

Рух ухмыльнулся про себя. Теперь понятно, почему Лукерья молчала, стыдища такое рассказывать, то ли есть муж, а то ли и нет. И неизвестно, как лучше. Ну ничего, бабья доля такая, не она первая, не она и последняя. Бучила внимательно поглядел на попа и сказал:

– Знать, окромя дитяти, ничего у Лукерьи и нет? Подумай, Иона, вызволим ребенка, богоугодное сделаем, ты святости наберешь, мне, глядишь, какой пустяшный спишут грешок.

Иона колебался, теребя рясу и обдумывая слова упыря.

– Соглашайся, Иона.

Тот еще немного помолчал, собрался с мыслями и ответил:

– Если погубишь Лукерью, я владыке как есть отпишу, пусть решает с тобой.

– По рукам, – тут же согласился Рух, пряча ухмылку.

– Одно условие: с вами пойду.

– Вместе, конечно, оно веселей, – подмигнул Бучила. – На закате будь в церкви, поп, мы будем ждать.

VII

Селом исподволь овладевали первые робкие сумерки. Багряное солнце напоследок сверкнуло на кресте колокольни яркой искрой и свалилось за край, греть черепаху и слонов, влекущих этот разнесчастный мир на горбах. От реки легкой дымкой стелился молочно-серый туман, по низу затапливая бани и сенники, отчего те становились похожими на курьи избушки Бабы-яги. Ветерок нес запахи печного дыма и росной травы. Вдали побрехивали собаки, вечерняя прохлада ласкала лицо. Темнота крадучись, пядь за пядью, ползла от земли по стенам притихших домов к самым верхушкам корявых, расщепленных верб, навстречу пепельному небу и народившейся, злобно ухмыляющейся луне.

Надгробия тонули в расплывчатой мгле. Кладбище прямо в селе – порядок, начатый на Новгородчине от жизни плохой. Исстари как заведено? Погост всегда на отшибе, в сторонке от города, деревни или села. Не нужно мертвого рядом с живым. Но здесь, в краю бескрайних чащ, болот и древнего колдовства, люди быстро смекнули – своих мертвяков нужно как старая дева невинность беречь. Нечисть и нелюдь разоряли оставленные без присмотра христианские кладбища, потрошили могилы, измывались над трупами. Сегодня похоронили, а завтра выкопанные куски нашли перекинутыми через забор. Или вытащат мертвецов, изуродуют и на деревья вдоль дороги пришьют. Только это не самое худшее. Таилось страшное в северной скудной земле, ползут ночами с болот гнилые туманы, и тогда из могил встают мертвецы, клацают зубами, сбиваются в стаи, идут к человеческому жилью. Умные люди подметили – нелюдь могилы не разоряет и мертвяки не встают, если хоронить на старых чудских курганах, зачатых чародейством исчезнувшего народа. Только кто в своем уме будет добрых христиан на поганых капищах хоронить? Против Бога то и против людей. Вот и устраивают погосты внутри сел, деревень и городов.

Рух постоял на ступенях и вернулся в церковь, с головой провалившись в густой непроглядный кисель. Внутри колыхалась вязкая темнота, разбавленная десятком свеч, тускло мерцающих у алтаря. От этого зыбкого света тьма становилась только черней. В носу

свербело от ладана и горелого воска, бревна мореного сруба стремились ввысь и терялись во мраке, иконы и фрески навевали беспричинную жуть, святые за спиной сходили со стен, выстраиваясь зловещей молчаливой толпой. Повернешься – нет никого, только ты и твой потаенный удушливый страх. Бучила поежился, виски ломило, ноги подрагивали, живот выворачивало. Нужно терпеть, это как под солнцем ходить, хреново только вначале. На этот раз соломки он заранее подстелил. Ну как соломки... С вечера накопал два мешка могильной земли и в церкви рассыпал, не обращая внимания на стоны Ионы. С попа не убудет, старушки богомольные поутру все подметут, а упырю облегчение, могильная земля силы придаст.

Возле иконостаса две фигуры склонились голова к голове. Бучилина армия во всей мощи своей – запуганная, истурканная напастями баба и попик с чуть наклюнувшейся бородой. Лучшая компания для крестового похода против нечисти, мать его так. Иона горячо шептал Лукерье на ухо, та послушно кивала. Увидев Руха, подняла полные муки и надежды глаза. Лукерья боялась. Все боятся, Бучила даже больше других, примерно зная, с чем придется столкнуться. От большого знания большая печаль, оттого образованные люди меньше живут.

– Воркуете, голубки?

– Побойся Бога, Заступа, – вознегодовал Иона.

– Бога бояться, с тещей в бане не мываться, – осклабился Бучила. – Ты не серчай, поп, это я ужас из себя шуткой гоню.

– Страшно тебе? – обрадовался Иона.

– А тебе разве нет?

– Меня Господь и святые оборонят.

– Ага, как черти драть тебя вздумают, вспомни о Боге, меня не зови. – Рух перевел взгляд на Лукерью. – Готова ли, душенька?

– Готова, Заступа-батюшка. – Лукерья смотрела с преданностью собаки. Покорная, это хорошо. Ну, правда, не для нее.

– Слушай внимательно, ласточка, и запоминай, повторяться некогда нам. От тебя и твоя жизнь зависит, и дите твое ненаглядное. Как скажу, принимайся молитвы читать. Грамоте обучена?

– Бог миловал, батюшка.

– Странно, если б иначе. На память много знаешь молитв?

– «Отче наш», «Символ веры», молитвы Иисусу и Деве Марии, – без запинки перечислила Лукерья.

– Не густо, – расстроился Рух.

– Я могу читать, а она повторяет пускай, – всунулся Иона.

– Господи, чему вас только учат в ваших монастырях? – Бучила посмотрел на него, словно на дурачка. – Мать должна отмаливать, и боле никто, иначе дите не вернуть. Ты, Лукерья, молитвы какие знаешь читай, а меж них проси Отца Небесного спасти раба божьего Дмитрия, не торопись, не останавливайся, ни на мгновение не умолкай. Нечистый примется тебя совращать, с толку сбивать, всячески искушать, ты не слушай, не откликайся, читай и читай. Замолкнешь – пропал Митяйка, не отдадут. Поняла?

– Поняла, батюшка.

– А мне делать чего? – заволновался Иона.

– А чего обычно ты делаешь? Ходи, пучь глаза, охай глубокомысленно. Ежели завертится, мертвым прикинись, упаси тебя Бог под ногами путаться у меня.

– Прятаться от нечисти не намерен. – Иона обиженно засопел и брякнул, красуясь перед Лукерьей: – Я воин Христов!

– Ну лады, – как-то сразу успокоился Рух. – Если явится тварь какая, глазища ей выдавливать начинай.

Он пожал плечами и ушел к дверям. Наступил неуловимый миг, когда сумерки сменяет темная ночь. Село затихло, желтую Скверню укрыли рваные облака. Рух с усилием закрыл тяжелые створки и задвинул засов. Подергал, отошел на пару шагов, смутился, вернулся и снова проверил запор. Дурацкая привычка, вроде запер, а едва отойдешь, внутри начинает грызть пакостный червячок – а вдруг не закрыл, вдруг забыл, и сейчас кто-то вонючий и злой проберется и всех тут сожрет.

Бучила встряхнулся и громко велел:

– Лукерья, начинай!

Лукерья сноровисто бухнулась на колени, перекрестилась, сильный высокий голос наполнил церковь, эхом отражаясь от стен и уплывая под купола.

Отче наш, иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,

Да придет Царствие Твое...

Рух примостился в уголке, держа Лукерью на виду. Подгреб под задницу могильной земли, блаженно вытянул ноги и приложился к припасенному меху со сладким вином. Напившись, побулькал над ухом и остался доволен. Ночку хватит скоротать. Иона, не находя себе места, болтался по храму.

– Сядь ты, не мельтеши, – поморщился Рух. – Собьешь бабу с толку, все прахом пойдет. Уймись, винишка хлебни, полегчает.

Поп демонстративно отвернулся и ушел к аналою, поближе к Лукерье, взявшись беззвучно молиться, перебирать четки и настороженно зыркать по сторонам. «Аки пес», – усмехнулся про себя Рух.

– ...спаси и помилуй раба божьего Дмитрия.

Верую во единого Бога Отца-Вседержителя, Творца неба и земли...

Тьма висела в душном церковном нутре, пропахшем старым деревом, потом и ладаном. Бучила потягивал вино, поочередно поднимая здравицы за каждого из святых, Лукерья молилась, Иона бдил. Рух, поймав настороженный взгляд монаха, сладко зевнул и приложил сложенные ладони к голове. Дескать, не мучься, поспи. Иона отрицательно потряс бородой и отвернулся. Некогда ему спать, на посту человек.

– ...и паки грядущего со славою судити живым и мертвым...

Время тянулось каплями горького меда, Бучила окончательно освоился в церкви, винишко здорово помогло, он чуть захмелел, из тела ушла противная скованность. Святые уже не казались такими суровыми, посматривая даже вроде завистливо и понимающе. Ведь нормальные мужики, испоганившие себе жизнь трезвостью, воздержанием от баб и прочей мурой.

Все бы ничего, вот только окружающая тишина Руху не нравилась. В тишине всегда есть что-то зловещее. Как тогда, в Шелиховской трясине, куда нелегкая занесла Бучилу в малоприятной компании новгородских ушкуйников. Та работенка случайно нашлась, князю Незамаеву потребовались услуги определенного склада людей. Был князь охоч до всяких загадок и тайн, то коркодилов соберется

искать, то подземелья чудские, то старые развалины ковырять. И попалась ему занедорого карта земель от Валдая до Бологого с россыпью мелких черных крестов. А один крест, жирный и красный, аккурат посреди Шелиховских трясин, места гнилого и проклятого, недалеко от Нелюдова. По легенде, лет триста назад там упал крылатый огненный змей, завяз в болоте, три дни бился, орал и пламенем палил все вокруг, пока не утоп. Может, правда, а может, брехня, много воды с той поры утекло. Ходили смельчаки змея искать, ведь известно, брюхо у чудища набито рубинами с кулак величиной, которые огонь и дают. Из тех смельчаков не вернулся никто, а после смельчаки сами перевелись, или народ поумнел. Кроме князя Незамаева. Решил он дракона сыскать, набрал ватагу душегубцев и висельников, приглядывать за ними, чтобы камень не стырили, поставил доверенного с парой солдат, ну и Бучилу в придачу уговорил, как наторевшего во всяких нечистых делах. Рух легко согласился, маясь в ту пору от скуки. Ну и, естественно, пожалел. Сначала тоже все тихонько было, солнышко припекало, птички чирикали, болото приятно пованивало, а потом такое закрутилось, что страшно и вспоминать. Из восьми человек выбрался из трясины один только Рух. Князь сильно тогда осерчал, возомнилось ему, что упырь подельников порешил и сокровища заграбастал. А Рух до того поганого креста четыре версты не дошел, тины нахлебался, кровью харкнул и никакого сраного змея в глаза не видал. Но князю разве докажешь? По сей день поди Бучилу разыскивает, ежели не сдох, жирная тварь.

– ...исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресение мертвых, и жизни будущего века. Аминь.

Размеренные слова молитв сливались в однообразное убаюкивающее бормотание. Иона клюнул носом и провалился в царство Морфея. Перебдел человек. Рух нашупал комочек земли, примерился и зазвездил попу прямо в лоб. Батюшка вскинулся, подскочил, выкатывая глаза и готовясь сразиться с нападшими демонами. Бучила внимательно изучал фреску с полуголыми мужиками, спускавшимися к реке. Чего это они удумали, интересно бы знать. Или неинтересно...

Иона, обуреваемый стыдом за сон, поднялся, потер лицо и пошел по храму, размахивая длинными руками. Посмотрел на Лукерью,

послушал, одобрительно покивал и начал менять прогоревшие свечи. В мутной темноте поплыли, вихрясь, синие восковые дымки.

Рух напрягся, уловив посторонний вкрадчивый шум. К заунывному распеву Лукерьи исподволь примешивалось едва различимое царапанье и постукивание. Бучила облизнул пересохшие губы, винцо мигом выветрилось из головы, мышцы сжались, в левом виске противно затюкало. Звук шел откуда-то сверху, осторожный, таящийся и зловещий. Послышался шлепок прямо над головой, по крыше словно потащили мокрую плесневелую тряпку. Рух сквозь дерево чуял запах тлена, прелых костей и земли. Сырое чавканье превратилось в притоптывание, будто ползущий встал на нетвердые ноги. Дранка на крыше пронзительно закрипела, Иона выронил свечку и поднял голову. Скрип сменился хорошо различимым мерзким похлопыванием. Иона дернулся, совладал с собой и глянул на упыря. Бучила приложил палец к губам.

Иона сглотнул, прокрался вдоль стены, испуганно косясь наверх, и еле слышно спросил:

– Это чего?

– Хер его знает, – чистосердечно признался Бучила. – Паскуда какая-то балует. Выйди да погляди.

– Я лучше с тобой посижу. – Иона опустил рядом на корточки.

– А чего так? Ты же воин Христов, такому пара пустяков любую тварищу обратно в пекло загнать. Я ведь свою работу херово делаю, так ты поучи.

– Не начинай, – болезненно сморщился Иона.

Царапанье и мерзостное похлопывание отделились и снова приблизились, кто-то тщательно изучал крышу, разыскивая дорогу внутрь. С купола посыпались мелкие опилки и древесная труха. Оставалось надеяться на мастерство плотников, иной твари хватит махонькой щелки или дырки от выпавшего сучка.

– Сюда лезет? – хрипнул Иона.

– А ты догадливый малый, – уважительно посмотрел на попа Рух. – Хотя, может, просто гуляет, скучно ей, падле. Надоест и уйдет.

– А если пролезет? – не унялся воин Христов.

– Беги. Следом за мной и тикай.

– Ага, понял, – кивнул Иона и спохватился: – А Лукерья?

– Баба с возу – кобыле легче... Да тихо-тихо, – успокоил вскинувшегося монаха Бучила. – Если пролезет, к Лукерье подходить не давай, отвлекай на себя, крестом осеняй, водой святою кропи. Это всякую нечисть задержит, а там уж я помогу.

Бучилина уверенность передалась монаху, Иона немного успокоился и перестал часто, с надрывом дышать. Лукерья читала громко, враспев, ничего не слыша вокруг, чем Руха немало порадовала: одной заминки хватит все прахом пустить. Нужно бы ей уши какими тряпками замотать, жаль, умная мысль приходит опосля...

Сырое причмокивание и вкрадчивый стук переместились с крыши на стену, и Рух живо представил сочащийся вонючей слизью кусок темноты и сгнивших костей, прилепившийся к потемневшему срубу. Тварь шарила по стене, огибая церковь по солнцу. Бучила уловил едва слышное цоканье, похожее на уколы в дерево сотен тоненьких игл. Иона вновь задышал с присвистом. Шуршание и игольчатый перестук отдалились, и тут, совсем рядом, за стеной заплакал ребенок. Совсем крохотный, беспомощный и перепуганный, один, среди чудовищ и тьмы. Тут у любого сердце кровоточить начнет. Иона сделал неуверенный шаг к двери.

– Ты это брось, – пригрозил Бучила. – Даже если там и вправду дите, мы не откроем, пусть его хоть живьем сожрут на наших глазах. Выбирай, Иона, один мертвец или четверо.

Плач превратился в жалостливое поскуливание. Иона всхлипнул, забился в угол и прикрыл уши руками. Худые плечи монаха тряслись в беззвучном рыдании. Скулеж перешел в обиженное всхлипывание избалованного ребенка, не получившего заветную сладость. У Руха противно заурчало в желудке, перед глазами стояла отвратительная картина: хныкающая тварь, прикинувшаяся ребенком, хватает жертву, впиваясь сотнями пустотелых иголок, пульсирует и сокращается, жадно всасывая разжиженные мясо, внутренности и кровь. Всхлипывание переросло в низкий горловой вой, исполненный разочарования, ненависти и лютой тоски, вой твари, родившейся там, где властвует первородная тьма и демоны пожирают друг друга среди праха и древних костей. Вой резко оборвался, и Рух перехватил поудобней внезапно потяжелевший тесак. Иона держался за распятие на груди как за единственное спасение. Так утопающий хватается за

всякий проплывающий мусор, вместо того чтобы успокоиться и лечь на воде.

– Давай больше свеч. Нужен свет! – приказал Рух. Это бы ровным счетом ничего не дало, но монаха было необходимо чем-то занять, пока страх не сожрал его изнутри.

Иона, весь побелевший, издерганный, бросился исполнять, путаясь в рясе. Рух осторожно подошел к двери, слушая легкое потрескивание, шелест и чмоканье. Все стихло, и через мгновение дверь сотряс сильный удар, засов выдержал, створки чуть разошлись и захлопнулись, пахнув сырým подвалом и застаревшим гнильем. Снаружи было тихо. Затаилась, подлая мразь?

– Заступа! – подскочил Иона с перекошенной от ужаса мордой. – Там... там... – Монах захлебнулся, тыча в противоположную стену.

Бучила тут же забыл о хнычущей твари на улице. Бревна стены подсветились слабым синим сиянием, такое исходит от плесневелых грибов. Свечение росло на глазах, мертвенные отсветы расплзались по дереву, пожирая лики святых и выпуская дымные щупальца, сухими языками облизывающие темноту. Порыв ледяного сквозняка едва не потушил свечи, по углам заматались тощие злобные тени. «А говорят, первая ночь самая легкая», – с горечью подумал Бучила. В замогильном свечении просматривалась изломанная костлявая фигура, из стены вышла скрюченная лапа, и в церковь с заметным усилием протиснулся... призрак монаха Антония.

У Руха от нервного перенапряжения подкосились ноги. Антоний с натугой выползал из стены.

– Заступа, Заступа! – позвал Иона и, видя, что упырь не реагирует, убежал в темноту.

– Доброй ночи, – Антоний робко улыбнулся. – Простите, без стука... фхр... рхр...

Подскочивший Иона с налитыми кровью глазами выплеснул чашу. Промахнулся порядком, Антоний успел отдернуться, и поток хлестнул его ниже пояса, там, где мерцающая фигура расплывалась, вихрясь в темноте. Зашипело, Антоний начал расплзаться на рваные лоскутья, шугнулся обратно, но сил пройти церковную стену уже не хватило.

– Святая вода? – со знанием дела поинтересовался Рух. – Разве так встречают гостей?

Иона поперхнулся, явно не понимая, почему драный Заступа ничего не предпринимает против зловредного призрака, и швырнул в Антония чашей. Тот вскрикнул и неловко увернулся, черпая руками прожженную плоть. Чаша ударилась в стену и, брэнча, укатилась во тьму.

– Ну буде-буде, давай не буянь. – Рух встал между ними.

– Ты мне не указчик! – взвизгнул Иона, собираясь схватить рогатый подсвечник.

– Дружок это мой, Антониюм знать, – пояснил Бучила. – Между прочим, из вашей братии, из попов. – Повернулся к призраку и успокоил: – Не бойсь, он больше не будет.

– Осквернили храм Божий, – ахнул Иона. – Ведь знал, доподлинно знал: связаться с тобой, Заступа, – все одно что душу продать.

– Ты к Лукерье ступай, – мягко ответил упырь. – Проверь, как она, заодно и охолонешь.

Иона спохватился, собирался уже уйти, но вернулся, пристально всмотрелся в Антония и прошептал:

– А ведь узнал я его! В прошлом году Пасхальную отслужил, собирался храм закрывать, гляжу, умертвие вылезло и по церкви плывет. Страху вытерпел, а нечистого шуганул.

– Никакой не нечистый я, – обиделся Антоний, прорехи от святой воды затянулись. – Душа неприкаянная. Молиться о спасении в храм прихожу, разве нельзя?

– Никем не запрещено, – поддержал друга Бучила. – На твоём месте, поп, я бы эту историю на всю Русь раструбил. Мол, у Ионы даже призраки бесприютные на молитву идут.

– Язык у тебя – помело. – Иона перекрестился и ушел к Лукерье.

– Ты тоже хорош, – попенял Рух привидению. – Зачем в церковь полез? Не мог подождать?

– У меня срочные вести! А этот... меня...

– Вызнал? – жадно перебил Рух.

– Маненько.

– Ну не томи.

– Мертвые шепчут – объявился нечистый, силы невиданной, дите и забрал.

– Пошто?

– Он не докладывал. Боятся его и нелюдь, и мертвяки, всех запугал, укрывается в Гиблом лесу, а где – не знает никто и выяснять не намерены.

– Лешаки в стоворе с ним?

– Того не ведаю, – развел полупрозрачными руками Антоний. – Проку ему от лешаков как от козла молока. Они на морды страшные, а зла-то в них нет, лес берегут по обычаям и вере своим, дубам старым молятся, в них же после смерти и обращаются. А у нечистого забота одна – род людской изводить.

– Оно, может, и верно, меньше людей – меньше проблем? – невесело оскалился Рух.

– Пойду я? – увильнул от разговора Антоний.

– Иди, – кивнул Рух. – Стой. Кто вокруг церкви шарится, не видал?

– Нет никого. Но воняет гадостно – мертвечиной и плесенью. – Антоний медленно утек в стену, оставив Бучилу наедине с невеселыми мыслями. Самые паскудные догадки, как водится, подтвердились. Кохтус, старый хер, в глаза набрехал, Бором поклялся. Клятве той, правда, веры нет никакой, именем мертвого бога клясться легко и удобно. Ничего, припомнится тебе, шишка гнилая, сочтемся ужо. Значит, в противниках нечистый у нас. Хм, стоило ожидать. Все усложнилось до невозможности, теперь наизнанку придется вывернуться, чтобы ребенка спасти. А и ладно, где наша не пропадала... Рух прислушался. В селе самозабвенно и радостно, встречая солнце, горланил первый петух.

VIII

Бучила плелся домой. Непокойная ночка вытянула все силы, оставив вялость в ногах, ослабшие руки и звенящую пустоту в голове. Мысли лезли поганые – сцапать какого ротозея, затащить в уголок потемней, вдоволь напиться сладкой опьяняющей крови и, свернувшись калачиком рядом с остывающим трупом, вволю поспать. Много ли надо для счастья бедному упырю?

Измотанную Лукерью оставил на попеченье Ионе, больно уж поп переживает за бабу, так и вьется вокруг уродливым мотыльком. Ну ничего, дело-то молодое...

Посередь дороги расселась мышка-норушка, бесстрашно уставившись на Руха бусинами крохотных глаз. Встала на задние лапки, замахала передними и пронзительно пискнула. Сумасшедших людей и нелюдей Бучила нагяделся изрядно, но вот мышей...

– Уйди, дура, раздавят, или кошка схарчит, – посоветовал серенькой Рух.

Мышка внимательно выслушала, смешно наклоня головку, потеряла лапкой усы, отбежала на пару шагов, снова села и пискнула. Бучила невольно поежился под осмысленным, едва ль не человеческим взглядом.

– Тронутая? – осведомился Бучила. Вот к чему приводит недосып – с мышами разговоры ведешь. – Пошла прочь!

Мышь заскакала на месте, явно маня за собой. Рух пошел следом, заинтересовавшись странной игрой, старательно обходя грязные лужи и стараясь не упустить из виду странного поводыря. Мышка свернула, потом еще и еще, впереди закособочился старый овин. Мышь свернула на едва заметную тропку, пискнула и была такова. Нет, ну домовые те еще сволочи, самим надо, а не пришли, заслали мыша. Обиженный Бучила продрался сквозь заросли лебеды и сухой крапивы ко входу, но внутрь не пошел. Много чести. Он носком сапога стукнул в трухлявые бревна и прислушался. В овине за-

шуршало, на свет божий вылез давешний знакомец – наглый и хамоватый Мирон с неизменным топориком за поясом и соломой в кудрявистой бороде.

– Авдей тебя кличет, – хмуро сообщил домовый.

– Пусть выйдет, поговорим, – в тон ответил Бучила.
– К нему надо идти, – упрямо повторил домовый.
– Тебе надо, ты и иди, – повел плечом Рух.
– Пошто ерепенишься? – У Мирона дернулся глаз. – Добром ведь прошу.

– А то что? – осклабился Рух и ударил по самому больному. – В непотребное место рожей ткнешь, коротышка?

– Ты... ты... – Мирон поперхнулся, морда налилась краснотой.

– Зови Авдея, не то я пошел, некогда мне.

– К Авдею надо, ждет он... – совсем растерялся Мирон.

– Ну пуцай ждет, а я пошел. Бывай, недомерок. – Бучила демонстративно повернулся спиной.

– Погодь, – спохватился Мирон. – Чичас испрошу!

Домовой скрылся в пыльных недрах и назад уже не вернулся. Вместо него чуть погодя появился самолично Авдей Беспута, злой, осунувшийся, вооруженный. Пахнуло перебродившим пивом. Надо же, сподобился, экая честь!

– Кочевряжишься, Заступа? – Авдей пристально огляделся, ожидая нападения с любой стороны.

– Я? – удивился Рух. – Да ни в жисть. А наперед запомни, Авдей, если надо чего, сам приходи, челядь и мышей всяких не посылай. Где обретаюсь знаешь?

– Знаю.

– Ну то-то. Говори, что хотел, устал как собака, ноги едва волоку.

– Отстояли первую ночь? – Авдей подался вперед.

– Как видишь.

– Трудно пришлось?

– Не особенно.

– Отмаливает?

– А куда ей деваться?

– Это да, от себя не уйдешь, – неопределенно покивал домовый. – Мы тут тож на жопушках не сидели, ребята побегали, поспрошали вежливо, да гиблое дело, все словно воды в рот набрали. Отловили трясовца на Волчьем болоте, вот тот оказался общительный, хоть и прикидывался дураком. Сказал – гадина пришлая объявилась, может, анчутка, а может, и бабалыха, хер его разберет. Как думаешь, Заступа, наш поганец или не наш?

– Кто знает, – неопределенно пожал плечами Бучила. Делиться новостями с домовыми желанья не было. Парни горячие, испортят дело, спугнут нечистого, тогда и мальчишке, и Лукерье конец. Всеу время свое. – Как живьем ублюдка пощупаем, так и скажу.

– Уж я бы пощупал яво. – Авдей кровожадно облизнул мокнувший шрам. – Ты, Заступа, обещаешь, ежели сыщешь душегубца, отдашь его мне.

– Тут уж как повезет, – уклонился от ответа Бучила. – Кохтуса спрашивал? Коряга старая знает все обо всем.

– Не разговариваем мы с ним. – Авдей разом поник. – Десятый год в смертных врагах, с той поры, как в Хролином логе убили двоих лешаков. Пню мохнатому возомнилось, будто то мои ребята наделали.

– А не твои? – прищурился Рух.

– Не мои, – соврал Авдей и поспешил оставить неприятный разговор. – Ты, Заступа, помни про уговор.

– Помню, Авдей. – Рух повернулся, собираясь уйти, и спросил: – А с трясовцом чем дело закончилось?

– Помер. – Глазки домового стали невинными. – Хлипенок оказался, не выдержал сурьезного разговору, так уж, видать, написано на роду. Ребята его и пальцем не тронули.

– Ага, не тронули. Ты, Авдей, не против, если я подменыша к тебе на время определю?

– Нянькаться я люблю.

– Вот и договорились. Бывай, Авдей.

Бучила пошел прочь от овина, ускоряя шаг. Снились ему в тот день церковь, говорящие мыши и пальцем никого не тронувшие домовики. Хоть не ложись.

IX

Вторая ночка по всем приметам обещалась быть стократ веселей, в первую нечистый силы опробовал, пощупал защиту, наметил самую малую слабинку. Умный сучара попался, тупой сразу бы на приступ пошел и по харе бы получил. Нет, этот хитрый, а хитрых надо от хитрости отучать. Не доводит она до добра...

Едва зябкая темнота окутала церковь, Бучила расположился на старом месте, приветливо кивнул святым, отведал вина, блаженно причмокнул и вытянул ноги, любовно баюкая на коленях первейшее средство от любых хитрецов – короткую пищаль с толстым расширенным дулом, прозванную волкомейкой и стреляющую вместо одной пули целой пригоршней. Первым на Руси волкомейку изготовил новгородский оружейник Якун Сырохват, взяв за основу европейские образцы. Армейским умникам этакая диковина не по нраву пришлась – бьет недалече, разлет огромный, только огневые припасы переводить. Так и не пошла волкомейка в войска, и скоро все бы забыли о ней, если бы короткая и хватистая пищаль не полюбилась дворянской охране, разбойникам, грабителям, авантюристам и прочей шушере, любящей палить в упор и чтобы наверняка. На расстоянии до пяти сажень волкомейка производила чудесный эффект, разрывая человека на кровавые лоскуты. Шутка ли, почти четверть фунта железа и рубленого свинца, вылетающих как из крохотной пушки, оставляя жуткие рваные раны, отстреленные конечности и перемолотые кишки. Для пущей надежности в тело залетают обрывки пыжа, первой попавшейся грязной тряпки, чаще всего оставляя шансы на излечение, равные примерно нулю. Короткую пищаль можно запросто укрыть под кафтан и вдарить в нужный момент, а перезарядка занимала вдвое меньше времени, причем в ствол можно сыпать хоть гвозди, хоть горстку камней. Церковь тут же объявила волкомейку оружием Сатаны и наложила строжайший запрет на производство, продажу и ношение. Пойманные на месте преступления с волкомейкой приговаривались к усекновению рук. Ага, кого бы это остановило. Лихой народишко распробовал прелести волкомейки, а умельцы с радостью покрыли спрос. Вот и Бучила не удержался и себе по случаю прихватил...

Прикосновения к резному увесистому дереву и ледяному металлу вселяли уверенность. Из такой жажнешь – клочки по закоулочкам полетят. Рух не поспешил, зарядил серебром, для хорошего дела не жалко. Серебро потом можно, ежели не брезгливый, после выстрела обратно вернуть. А Бучила не из брезгливых, в таких говнах копался, не приведи Господь Бог.

Лукерья начала отчитку, слова молитвы плыли в пахнущей ладаном темноте.

– ...прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякие скверны, и спаси, Блаже, души наша...

Рух уловил испепеляющий взгляд попа и спросил:

– Что?

– Нельзя с оружием в храм, – укорил Иона.

– А-а, – протянул Бучила. – То есть богомерзкий упырь, забросавший церковь могильной землей, тебя уже нисколечко не смущает, а самопал, значит, чего-то не то?

– Нельзя с оружием, – обреченно повторил Иона.

– Иди, покажу, как из красоты этой в живого человека палить, – от чистого сердца пригласил Рух и, видя ужас на лице священника, тут же поправился: – Ну, не в живого, вдруг нечистый полезет, руки мне оторвет, а тут ты ему срам отстрельнешь.

– Нельзя оружие, грех.

– Заладил, грех-грех. Нешто не грешил? Чем бабу будешь оборонять, беседу с нечистым ндравоучительную проведешь? Засовестишь? Ты это словоблудие брось. Рука нужна твердая, верный глаз да что-нибудь острое, тяжелое иль огнебойное, лучше освященное да с серебром. Без оружия ты не воин Христов, а пачкун свойских штанцов. Молодцов из патриаршей гвардии видел? Каждый при пищали, а тот же монах.

– Им можно...

– И тебе можно, – убеждающе сказал Рух. – Хошь напомним про латинянские монашские ордена? Тамплиеров, тевтонов, Калатраву? Чей-то с оружием все и орудуют – залюбуешься.

– Ну наверно, – дал слабину Иона и тяжело вздохнул. – Учи, а грехи потом замолю.

– Во, слова не мальчика, но мужа, другой разговор, – обрадовался Бучила. – Граблями не лезь, смотри и запоминай. Видишь полочку и

порох на ней? Если его подпалить, огонек в эту дырочку пролезет и, ага, жажнет ружжо. Главное, не забыть супротивнику дуло направить в живот.

Рух на всякий случай показал, как упирать приклад в плечо и откуда вылетает всякая смертоносная дрянь.

– Фитиль зажженным держи. – Упырь подул на тлеющий фитилек, подсветив багровым бледное худое лицо. – Капризный, зараза, боится сырости и ветерка. Загогулину железную зришь? Жагрой зовут, помудреному – серпентин. Нажмешь, фитиль к пороху припадет. Глаза зажмуривай, сейчас же пальнет. Вот и вся наука. Смекнул?

– Смекнул, – заверил Иона так истово, что Бучила сразу понял – монах ни хрена не смекнул. А и шут с ним, неохота возиться.

Рух похлопал попа по плечу и отправился в незапланированный обход. Проверил дверь, поковырял пальцем стену, попил вина. Всюду тишина и покой.

– Матушка! – От звука детского голоса Руха едва не хватил кондратий. – Матушка!

Дрожащий голосишко поднимался из-под земли, глухим эхом отражаясь от стен. Ну вот, началось.

– Матушка, где ты?

Лукерья сбилась, Рух подскочил гигантским прыжком и прошипел:

– Не вздумай отвечать, слышишь? Не вздумай!

Лукерья застонала, продолжив читать.

– Страшно мне, матушка. Темно тут, забрала бы меня. – Невидимый ребенок умело давил на потаенные струны любой материнской души. – Матушка.

Лукерья всхлипнула, ее затрясло. Подоспевший Иона брякнулся рядом и прохрипел:

– Не слушай, не Митюнюшка это, отродье сатанинское сыночком прикинулось. Молись, Лукерьюшка, молись, Господь великую силу дает. Я с тобой.

Рух посмотрел на попа уважительно. Надо же, без истерики обошелся и без обычного скулежа. Глядишь, вырастет мужиком. Лукерья, послушная, млелая, жалась к Ионе, читая надрывно и утирая глаза концами платка.

– Матушка, выручи! – Голосишко заканючил плаксиво, разрывая душу на мелкие кровоточащие куски. – Пропаду, матушка, пропаду.

Лукерья забила в объятиях у Ионы.

– Тихо, милая, тихо. – Батюшка мягко удержал ее за плечи.

– Матушка, отзовись, не дай помереть!

Лукерья молилась сквозь душащие слезы и хрип.

Плач оборвался, заходясь юродивым злобным смешком.

– Сука ты, Лукерья, – прошипел невидимка. – Не мать ты мне боле, слышишь, не мать! Ненавижу тебя, ненавижу!

Мерзкий голос отдалился и утих. Лукерья упала бы на бок, не успеет Иона ее поддержать. Рух прислушался, пытаясь угадать, откуда ждать новой беды. Гробовая тишина длилась всего лишь мгновение, а может, и целую ночь. От стука в дверь Бучила дернулся и едва не пальнул.

– Пустите богомолиц заночевать, – тихонько попросила с улицы баба. – Идем к святым источникам Варлаама Хутынского.

– Вот и идите, – отозвался Бучила. – Тут недалече осталось, верст сто пятьдесят.

Лукерья чуть успокоилась, Иона уже не рвался к дверям, как вчера. Не такой дурак, каким кажется.

– Пустите за ради Христа, – взмолилась баба. Голос напоминал густой сладкий елей, затуманивая разум, подталкивая открыть дверь и впустить странниц внутрь. Только не на того напали...

– Отваливайте, не подаем, – фыркнул Рух.

В ответ загомонили на разные голоса:

– Х-холодно.

– Пустите погреться.

– Голодные мы...

– А монашек сладкий поди, – проскрипели, словно железкой по глиняному горшку.

– Больно тошшой, кости да жилы одни, – за дверью разразились поганым кудахтаньем.

– Упыря бы попробовать.

– Не, в ем говна много, бабу лучше всего. Она роженица, самое время молоко кровавое из сисек тянуть.

Грянул мерзкий, скрежещущий смех, на дверь посыпался град сильных ударов, Рух уловил шаги сразу нескольких ног.

Лжебогомолитцы двинулись вокруг церкви, стуча по стенам, переругиваясь и хохоча.

– Лукерья! А Лукерья! Сукина дрянь, – позвала тварь. – Ненавидит Митяйка тебя, так и сказал!

– Не мать ты ему, – вторила другая. – Не мать!

– Потаскуха!

– От кого дите прижила, тварь?

– Всею селу ведомо – от юродивых паршивых, которые осенью по селу шли! Со всеми скопом блудила в свальном грехе.

– С Ионой, попишкой срамным, за аналом емлась.

– Муж прознает, получишь свое. Знать, мало учил он тебя!

– Теперича насмерть убьет, в своем праве мужик.

Иона обнял Лукерью, впавшую в полуобморок, и убежденно шептал:

– Не слушай, не слушай, молись, диавол искушает тебя.

У Лукерьи заплетался язык, слова выходили обрывками, продираясь сквозь осипшее горло.

– Молись-молись, развратница, – захихикали голоса. – Не слышит твой Боженька, отрекся от тебя, как и Митяйка отрекся от гулящей мамаша. Неча было с попенком блудить!

Бучила шел следом за голосами, шарканьем и поскребыванием. Хер знает, какую подлянку выкинут, надо держать ухо востро. Внутрь, может, и не пролезут, а поджечь запросто подожгут, полыхнет храм за милую душу. Лоб остро кольнуло, ледяные пальцы перебрали затылок, невесомо провели по вискам. Поганое ощущение копания в голове пропало так же внезапно, как появилось, оставив над бровями тупую, нудящую боль. Кто-то нахальный попытался заглянуть в разум несчастного упыря. Бучила попробовал мысленно идти по оставленному, быстро истончающемуся следу из злобы и ненависти и наткнулся на глухую черную стену. Дальше хода не было, совсем рядом притаилось нечто поганое, скользкое, за версту разящее гарью и падалью. Бучила похабненько ухмыльнулся, встретив самое меньшее ровню себе. Хм, будет весело...

Паскуды на улице приглушенно загомонили, и тут же в стену последовал тяжелый удар, потом еще и еще. Сруб пытаются прорубить? Так это долгонько, да и не даст ничего. Боженька и побеждает, потому как на стороне Сатаны полудурки одни. Глухие

удары сыпались в стену, иконы подрагивали, отвечая встревоженным бряканьем. Рух обернулся проверить своих. Ионы возле Лукерьи не было. Поп расшатанной пьяной походкой волочился к дверям.

– Иона, – шикнул Бучила.

Батюшка не ответил и не обернулся, перекосившись на сторону и подволакивая левую ногу. Скрюченные руки потянулись к засову. Рух явно погорячился, отрядив всех придурков на противоположную сторону. Своих хватает, даже с избытком.

– Стой, мудила! – Бучила дернулся к попу, понимая, что не успеет. Склизкая тварь, потерпев неудачу с вампиром, нашла лазейку в разум попа. Твою же мать! А оружие и долбящие бошками в стену паскуды просто отвлекали бдительного, но крайне доверчивого упыря.

Бучила остановился на полушаге и сдавленно зарычал. Сучий Иона доковылял до дверей, рывком отбросил засов и свалился кулем. Снаружи клубилась непроглядная темнота. Темнота шуршала и постукивала сотнями тоненьких коготков. Сквозняк принес запах вековой пыли, разоренных склепов и плесени. Тьма порвалась, и в церковь вползла увитая клочьями ночного тумана, извивающаяся, кошмарная тварь. Громадная сплюснутая многоножка, сотканная из голых костей, обрывков мертвецких саванов и высохшей плоти. Безглазую, матово отблескивающую башку венчали четыре острых, трущихся друг о дружку серпа, приготовленных хватать, рвать и заталкивать в узкую слюнявую пасть. Уродливое исчадие мрака, прячущееся в древних могилах, веками спящее на ложе из трупов и высохших мумий, присоединяя их кости к своим. Десятки острых ножек, похожих на рыбы кости, зацокали по полу, двигаясь волнообразно и хаотично, придавая движениям тела мерзкую грацию и красоту. Эта красота завораживала и притягивала, разум кричал: «Беги, дурак!», но ноги отказывались идти. У твари не было имени, ибо те, кто ее повидал, не могли ничего рассказать. Человеческие черепа, вживленные в тело чудовища, вопили раззявленными в мучительном крике, обтянутыми высохшей кожей ртами.

– Лукерья, читай! – заорал Бучила, обходя костяную многоножку по широкой дуге. Подлюка дернулась, распрямляя сегментированное тело в рывке, и Рух сжал скобу. Вспыхнул порох на полке, волкомейка зашипела и дернулась норовистым конем. Бахнуло, глаза застил вонючий, въедливый дым. Заряд картечи большей частью полоснул по

святым, но кой-чего досталось и мрази. Несколько серебряных шариков ударили по хребту, с треском ломая полые кости. Уродина запищала, свившись в тугую скрипящий комок. Тоненькие ножки выстукивали по полу омерзительную мелодию, щелкнули жвала.

Рух бросился прочь, отвлекая тварь на себя. За спиной шелестело и терлось, клубок распался, сегменты скрипели. Бучила несся, роняя за собой витые подсвечники, пожара уже не боялся, хай горит, лишь бы сучара не сцапала. Знал, куда бежать, рассчитав все наперед. Он вихрем взлетел по ступенькам и оглянулся. Страшилище нагоняло, извиваясь огромным угрем и разбрызгивая склизкий коричневый гной. Проломленные картечью кости скрежетали, ничуть не замедляя движения. Волкомейка пустая, Поповичем только брюхо отродью сатанинскому щекотать... Рух отступил на шаг, примерился и одним пинком опрокинул купель для крещения. Поток святой воды обрушился в фонтане брызг, хлынув навстречу чудовищу. Зашипело, тоненькие ножки растворились, словно угодив в кислоту, тварь утробно всхлипнула и плюхнулась пузом в озеро из святой воды, корчась, ломая мослы и истаивая в облаке гнилого парка́.

Бучила, удовлетворенно хмыкнув, провозгласил:

– Крещается раб Божий, хм... Костяное говно, во имя Отца и Сына и всего прочего, аминь. Господ крестных прошу к столу.

И тут же скривился, почувствовав жгучую боль. Брызги святой воды попали на оголившееся запястье. Рух задумчиво смотрел, как кожа шла пузырями и плавилась плоть, оставляя жуткие язвы и оголенную кость. М-да, не забывай, кто ты есть...

Лукерья усердно читала. Вот железная баба, такую надо за деньги на торге показывать как создание диковинное и уникальное. А поп худосочный попался. Иона пришел в себя и силился встать, руки подламывались, ноги безвольно скребли. По церкви стелилась вонь горелых костей. Рух поспешил к дверям, проигнорировав умоляющие стоны попа, и с грохотом захлопнул тяжелые створки. Приладил засов и стал лихорадочно перезаряжать пицаль. Пальцы не слушались, победная эйфория схлынула, и Бучилу била мелкая противная дрожь. Он просыпал порох и сдавленно выматерился.

– Заступа. – Иона подполз и ухватился за балахон. – Заступа, не хотел я, помутненье нашло...

– Знаю, – поморщился Рух. – Нечистый тебе приказал. Вроде не виновный, а все ж сунуть бы тебе в рожу пару разов. Чуть все через тебя к праотцам не ушли.

Иона всхлипнул.

– Сопли утри, ты же воин Христов. А воины Христовы ежели и плачут, то только когда не видит никто.

– Мне велели, а я... а я...

– Дурак ты.

– Дурак, – обрадованно согласился монах. – Зря с тобой напросился, едва всех не сгубил.

– Ну ладно, бывает, – смягчился Бучила. – Все одно наша взяла.

– Наша взяла... – Иона слабенько улыбнулся и тут же спохватился, ткнув себя в лоб. – Заступа, а нечистый все еще тут?

– А хер его знает. – Рух затолкал в дуло пыж. – Хочешь, на всякий случай башку отстрелю. Самое надежное средство, никаких повторных случаев одержимости нет.

– Заступа?

– Ну.

– Раз нечистый мной овладел, значит, слаб верой я? Значит, есть лазейка в душе? – Иона разорвал рясу на горле и хватал воздух ртом.

Ответить Рух не успел. В дверь тихонечко поскреблись, и умоляющий голос позвал:

– Эй, есть кто? Хлебца подайте, хлебushка.

– На, сука, жри! – Рух рывком распахнул дверь и пальнул в темнеющее за порогом пятно, в суете и заботах не заметив, что на улице уже рассвело...

Х

Бучила сидел на паперти и безучастно разглядывал изувеченный, вывернутый наизнанку труп. Воняло свежей кровью и человеческим дерьмом. Нависший над телом Иона раскачивался и причитал:

– Богомолицу убил, Анфису, старушку благочестивую. Всегда спозаранку в храм Божий шла...

– Угу, Бог забирает лучших, – буркнул Рух. Особых угрызений совести он не испытывал. Фатализм как он есть, от судьбы не уйдешь. Может, как раз где-то охотник на вомперов заостряет осиновый кол...

– Дурное дело затеяли, и за то наказаны были, невинную душу сгубили.

– Я сгубил, не скули.

– Я позволение на отчитку дал, значит, и грех тот на мне.

– Забирай, мне не жалко, только, ради Бога, не ной. Померла и померла, ее и так на том свете заждались поди. О живых подумай, монах, мертвые сами оплачут себя.

– Нет больше веры во мне, кончилась вся, – прошептал Иона потрескавшимися губами.

– Давай, расплачься еще, христовоин траханый, – вспылил Бучила. – Вера кончилась. А может, и не было веры, а, поп?

Иона отшатнулся, словно ошпаренный, и зачистил:

– Была вера, была, как не была? – И тут же потух. – А если и не было? Не знаю теперь.

– Ты мне эту тряхомудию брось, – повысил голос Бучила. – Мне срать, есть вера у тебя или нет. Руку под рясу запусти и проверь, если яйца на месте, можно и без веры в Бога прожить. Мужиком будь, тогда и Господь поможет, соплежуи ему ни к чему.

– Невинную душу жизни лишили. – Иона сотрясся от беззвучных рыданий.

– Прямо невинную, – всплеснул руками Рух. – Откуда я знаю, может, у ней было сто мужиков. Вот ты заладил, меня аж трясет. Виноват я, а самоедством маяться не привык. Знать, на роду бабке было написано погибнуть за веру. Ты думал, с Сатаной биться станешь и останешься чистеньким? Шалишь, поп, дорога эта вымощена костями и залита кровью вот таких вот Анфис. Вспомни отцов и

матерей церкви, остановивших орды нечисти: Иоанна Демонобойцу, Татиану Святую, Яна Пламенного. На образах они в белых плащах, лики возвышенные, святость и благородство – волной. История каждого тебе известна не хуже меня. В конце земного пути меч об колени и в дальний скит, грехи замаливать смертные. Потому как груз великий на душе и руки по локоть в крови. Думаешь, им было легко? Вот сопли и подбери.

Иона обмяк. За спиной зашумело, монах вскинулся, взлетел по ступеням и поддержал вышедшую Лукерью. На почерневшем бабьем лице залегли синие тени, глаза блестели нездоровым огнем, взгляд блуждал, словно не в силах остановиться, вокруг губ залегла сетка мелких морщин. Лукерья сорвала платок. Иона ахнул. В густые Лукерьины волосы пробилась молочно-белая седина.

XI

Вечером третьего дня собрались измотанные, обессиленные, молчаливые. Некрепкий, прерывистый, наполненный кошмарами сон налил головы тяжестью, а тела кипящим свинцом. Каждое движение отдавалось ноющей болью. На Лукерью было страшно смотреть, она еще больше почернела, осунулась, исхудала, превратившись в старуху. Иона, видать, вообще глаз не сомкнул, Рух как оставил его молящимся перед образами, так и нашел.

Бучила обошел церковь и собрал военный совет. Вурдалак, полубезумная баба и пошатнувшийся в вере монах. Христово войско, каких поискать. Рух многозначительно помолчал и сказал:

– Осталась последняя ночь. Что будет, не ведаю, готовьтесь к самому худшему. Лукерья, если не отступишься, к утру сына вернешь, не дашь нечистой обратиться и Сатане остатки жизни служить. Иона, узришь сегодня истинного врага, если вера с тобой – победишь, если нет веры – падешь. Еще не поздно уйти, никто не осудит.

– Не уйду. – Иона упрямо мотнул головой. – Боюсь спасу нет, и не скрываю того, но ежели отступлю – себя прокляну. С вами я, от начала и до конца.

Бучила пристально поглядел монаху в глаза. Всегда нравились люди с железом внутри. Вроде хлипок собой, голосок тоненький, пуглив, как зайчишка, а вон оно, твердо стоит и не своротишь ничем.

– Ну тогда начнем, помолясь, – кивнул Рух.

Лукерья, запинаясь и выставив руки перед собой, как слепая, дошла до иконостаса и тяжело бухнулась на колени. Слабый, надтреснутый голос заполнил церковь молитвой. Иона крутился рядом, не находя себе места. Бучила ждал. Ждал, сам не зная чего. Нечистый, скорее всего, явится сам, а уж кем окажется, остается только гадать. А гадать Рух не любил, все едино кому рога оббивать. Время густело во мраке, разбавленном зыбким пламенем свеч.

В полночь дверь вылетела, засов переломился соломиной, одна створка грохнулась на пол, вторая повисла на вывороченных петлях. С улицы пролилась дымная полоска лунного света, проложив дорогу из мира мертвых к миру живых. В церковь медленно вошла человеческая фигура, облепленная клочьями тьмы. Не ясно было, где кончался

человек и начинался чернильный, удушающий мрак. Рух разглядел ссутуленного высокого мужика, полностью голого. Под кожей полночного гостя бугрились и двигались узлы и наросты, мятое лицо напоминало маску, содранную с чужой головы. Человек двигался рвано и хаотично, с трудом переставляя ноги и загребая руками перед собой. Тело покрывали рваные раны, в дыре на боку проглядывались ребра, левая половина лица была изорвана до кости. Лоскутья кожи закрывали вытекший глаз. Впереди себя человек гнал запах смерти, разложения и чего-то еще, чего Рух пока не сумел определить. Одно точно – в храм приперся заложный, поднятый из могилы ненавистью и злым колдовством. И тут Бучила понял, что за запах примешивался к привычному аромату ожившего мертвяка: от гостя разило демоном, горелой плотью, пламенем и дымом серных котлов. Тяжелая, страшная, опасная вонь. Рух понял, кто перед ним, ноги чуть повело. Из всех возможных паскудств выпала, естественно, самая паскудная. Клят, ну вот никогда не везло!

– Лукерья! – требовательно позвал гость скрипучим жужжащим голосом. – Муж пришел, Лукерья! Встречай!

Тьма исторгла человека на колышущийся свет десятка свечей. Иона дернулся навстречу, остановился и ахнул:

– Петр?

– Уже нет, – глухо обронил Бучила в звенящую пустоту. – Бес это, натянувший шкуру Петра, исчадие адаво.

Руху разом открылась картина – резкие перемены в поведении Лукерьиного мужа, подлость, непомерная злость. Мог бы и раньше догадаться, дурак. Отгадка, как водится, на самом видном месте была.

– А ты, Заступа, умный. – Бес оскалился, показав на мгновение загнутые клыки.

– Давно в Петрушке сидишь? – осведомился Бучила.

– Давненько, – нечистый сладко зажмурился. – Дрянь человечиска был, мелкими страстишками душу, словно червяк древоточец, изгрыз. Я ему на ухо нашептал, он и открылся, без усилий я им овладел. Большие надежды на Петюнечку возлагал, здесь, в селе, развернуться негде было, подались мы с Петюней в Москву. А там подвел он меня, упился в говнину, в канаву упал, захлебнулся блевотиной, свиньи объели всего. – Бес жалостливо продемонстрировал изжеванную руку без пальцев.

– Ясно, – кивнул Бучила. – А без тела тебе в этом мире не жить, вернешься ни с чем, хозяин выдерет хвост. А тут невиданная удача – смертная баба от одержимого понесла. Петюня про то ни рылом не знал, а ты ведал своим поросычьим мурлом. Обычно семя бесовское ростков не дает, один шанс на тьму тем, и тот выпал тебе. Ребенок тот будет наречен Открывающий врата, и войско сатанинское хлынет в божеский мир, как предсказано в Кодексе Иезекииля. И тогда ты всем рискнул, стал ждать, когда разродится Лукерья, чтобы ребенка забрать, слабел, медленно увядал, но дождался. Все по-твоему вышло, одно не срослось: упырь, проклятый Богом и людьми, встал на пути. Жизнь полна иронии, не правда ли, бес?

– Встал на пути? – хохотнул нечистый. – Не льсти себе, кровопийца. Два дня Лукерье выгадал, кро-охотная помеха, заноза в заднице, не боле того.

Бес рванул руками плоть на груди, гнилая кожа треснула, выпустив волну гнили и протухших яиц. На пороге церкви в корчах рождался дьявольский мотылек, сдирая чужую шкуру омерзительным коконом. Вонючка ела глаза, на пол хлынули потоки слизи, гноя и переваренных потрохов. Остатки Петьки Ратова опали осенним листом, а из них поднялась сухощавая, приземистая, аспидно-черная тварь. Пламя свечей отражалось на лоснящейся шкуре, с легким хлопком раскрылись и медленно сложились за горбатой спиной два кожистых полупрозрачных крыла, испещренных сеточкой вен. С узкой, как лезвие топора, башки злобно уставились крохотные черные лупала, две дырки вместо носа с шумом тянули застоявшийся воздух, в безгубой пасти, полной острых клыков, ворочался длинный, сочащийся вонючей жижей язык. Тварь потянулась, пощелкивая костями, перебрала загнутыми когтями и довольно выдохнула:

– Ух, хорошо.

Бучила невольно отступил на два шага назад. Бес засиделся в мертвом теле, ослаб, и это давало призрачный шанс. Опаснее врага Рух еще не встречал. Виданное ли дело, чтоб демон в церковь зашел? Теперь нечистый или заберет ребенка, или низвергнется в ад.

– Изыди, сатанинское отродье! – Иона храбро перекрестил беса.

– Куда лезешь, поп? – Демон кровожадно ослабил. – Бессилен твой крест, ибо Бога в тебе ни капельки нет. Знаю, на Лукерью давненько глаз положил, еще при муже живом. Мысли твои срамные

читаю, монах. За грехи твои Бог покинул тебя, пусто внутри, одна чернь, оттого вчера я в душу твою с превеликой легкостью влез. Не душа, а душонка, тряпка гнилая, мой ты теперь и она моя.

– Не слушай беса, Иона, – предупредил Рух. – Ложь – первое оружие Сатаны.

Монах беспомощно взглянул на Бучилу, губы дрогнули.

– То правда, люба мне Лукерьюшка. Исповедь ее слушал, о жизни горемычной, о муже-тиране, о надежде, о Боге. Жалел поначалу, а потом прикипел, сна лишился, только и думал о ней. Грешен без меры, и веры во мне никакой.

Поп оглянулся на Лукерью. Баба продолжала читать, словно не видя и не слыша ничего вокруг.

– Снова сопельки распустил? Ну-ну. – Рух отошел в сторону и положил волкомейку на пол. Эх, не так все задумывал, да чего уж теперь...

– Заступа? – поперхнулся Иона. – Ты... ты... должен защищать, мы тут из-за тебя...

– Ты, значит, на попятную, в грехах каяться вздумал, а мне больше всех надо? – огрызнулся Бучила. – Не, поп, так не пойдет.

– Чтишь договор, упырь? – промурлыкал нечистый.

– Чту, – сказал, как сплюнул, Бучила. Все он учел, кроме одного пустяка – противником оказался бес, демон из сраного Ада. После Пагубы между первородными вампирами и демонами полыхнула война за право властвовать над людьми, собирая обильную дань кровью и душами. Вампиры были повержены, и был подписан Договор. Отныне и навеки вампиры отказывались выступать против посланников Ада. Нарушить договор – значит подписать себе приговор. Тебя будут преследовать как бешеную собаку и вампиры, и демоны, можно убежать, прятаться, заметать следы, веками жить в вечном страхе – от расплаты все равно не уйдешь.

– То-то. – Бес направился к Лукерье колченогой походкой, оставляя когтями глубокие царапины на полу.

Рух уставился на Иону, кося глаза на пищаль.

– Чего стоишь, идиот? Заберет он бабу твою и тебя заберет.

Иона, растерянный, перепуганный до смерти, сломленный, замер с раззявленным ртом.

Демон доковылял до Лукерьи и уткнулся в невидимую стену, лапищи зашарили в воздухе, ощупывая препятствие. Рух улыбнулся. Кто умный? Бучила умный. Загодя начертил защитный круг солью, ножом из небесного железа и кровью черной козы. Последняя стена против тьмы.

Демон резко повернул морщинистую башку, глаза полыхнули багровым огнем.

– Убери!

– Ого, про круг-то я и забыл! – всполошился Бучила и бросился устранять препятствие, одарив Иону испепеляющим взглядом. – Это я мигом!

– Нравится людишкам прислуживать? – насмешливо осведомился бес.

Рух, нагнувшись смахнуть черту, застыл и парировал:

– Матушка не жаловалась твоя.

Демон глухо зарычал, крылья дернулись, когтистая лапа молниеносно сцапала Бучилу за горло.

– Повтори. – Бес притянул жертву, и Рух едва не сблевал от тухлой вони из черного рта.

– Лапы убери, хвостатый. – Бучила одной рукой раскрыл когтистую хватку и внутренне возликовал. Бес, промыкавшись в мертвец, и правда здорово ослабел, можно с ним справиться, если б не договор...

– После поговорим. – Бес нехотя убрал лапу. – Круг убе...

Демон опрокинулся рылом вперед, наткнулся на невидимую стену и упал на колени. Позади белела перекошенная морда Ионы, огревшего беса со всего маху серебряным распятием между крыл. Священник был страшен – расхристанный, обезумевший, злой, волосы на голове встали дыбом, борода растрепалась. Раскалившийся крест с грохотом выпал из рук.

– Пицаль тащи, полудурок! Пицаль! – заорал Рух, откатываясь в сторону. Бес ревел от боли и ярости.

Иона опомнился, мелко семеня, сбегал к дверям и вернулся с волкомейкой в дрожащих руках. Огнебойную науку монах усвоил сполна. В пламени раздуваемого фитиля на миг высветились налитые кровью глаза. Зашипело, слепящая вспышка высветила иконы. Беса швырнуло, размазало по стене, он истошно завыл, барахтаясь на полу

и раздирая когтями рваные раны. Серебро беспощадно прожигало нутро.

Бучила чудом ушел от картечи и глянул через плечо. Лукерья продолжала читать, заткнув уши и раскачиваясь как пьяная. Иона клацал серпентином, забыв о перезарядке, и что-то орал. Ну точно дурак, значит, далеко по церковной части пойдет. Бес дымился и полз к высаженным дверям, Иона, впад в неистовство, догнал его в три огромных прыжка, перехватил волкомейку за ствол и принялся херачить демона прикладом по чем попало: трещали сломанные кости, повисло порванное крыло, волочась по полу скомканной тряпкой. Бес отмахнулся, Иона отлетел пушинкой, шмякнулся со всего маху и тут же вскочил, сплевывая повисшую на подбородке кровь. Берсерк драный. Монах, потеряв пищаль, испустил яростно-писклявый боевой клич и с разбегу прыгнул бесу на спину ногами вперед. Бучила лишь руками всплеснул. Во дает, совсем озверел! И откуда взялось? В тихом омуте...

Демон полз к выходу, подтягиваясь передними лапами, стремясь убраться в стылую темноту, найти берлогу и зализать страшные раны. Уголья глаз на миг зацепились за Руха, и бес умоляюще прошептал:

– П-помоги...

– Ага, уже бегу, – ухмыльнулся Бучила.

– Договорrrr...

– Подотрись договором своим. Он мне не велит рога тебе обломать, а другим-то пожалуйста.

Иона вооружился массивным подсвечником, размахнулся, но подступивший Бучила перехватил руку. Поп дернулся, заворчал, попытался ударить вампира свободным кулаком и резко остановился, в глазах появилась осмысленность, смывая кровавую пелену.

– Ты отдохни, не силуй себя, – вкрадчиво улыбнулся Бучила. – Беса просто не взять – всего истыкай, на части порви, все одно оклемается.

– И чего делать? – заорал обуреваемый жаждой убийства Иона. Теперь настоящий воин Христов.

– А ничего, есть тут у меня умельцы одни, – подмигнул Рух.

Бес переполз через порог, подтянул отказавшие задние лапы и тяжело свалился с паперти вниз мешаниной обожженной плоти, сломанных костей и порванных крыл.

Бучила вышел следом, брезгливо обходя подтеки черной, дурно пахнувшей крови, и свистнул в два пальца. В темноте, среди угрюмых надгробий, проявились низкие тени. Фигуры поплыли в полосах промозглого хмельного тумана, превратившись в хмурых неразговорчивых домовых, увешанных оружием с ног до головы. Рух узнал вредного Мирошку и того, второго, чье имя совсем позабыл. Домовых было больше десятка.

– Вот теперь тебе будет заноза в заднице, саженой длины, – посочувствовал демону Рух. Бес сдавленно зарычал, сиюсь подняться на подламывающих руках.

Из толпы домовых степенно вышел Авдей Беспута со свертком в руках, поглядел на беса и пробасил:

– Этот, что ль?

– Этот, – кивнул Бучила. – Племяша твоего загубил и ребенка украл.

– Хорошо. – Авдей бородой указал своим. – Забирайте, ребята.

Бес вскинулся, заорал, готовясь подороже продать свою жизнь, но битвы не вышло. Домовые заработали увесистыми резными дубинками, сильные удары бросили демона ниц. Молчаливые коротышки подхватили жертву под руки и потащили за церковь.

– Моя воля, я б его неделю на куски распускал, – пожалился Авдей.

– Времени нет, – развел руками Бучила.

– Уговор есть уговор, – Авдей недовольно запыхтел. – Натешиться не даешь. На, твое.

Он бросил сверток, Рух поймал на лету. Ткань развернулась, приоткрыв сморщенное личико подменыша.

– Забавная какая зверуха, – сказал Авдей. – Всего на денек ты мне ее на сохранение дал, а я как к родному душой прикипел. Ножиком тычу, а он ножками сучит и улыбка до самых ушей. Ну бывай, Заступа, некогда мне.

Главный нелюдовский домовый вразвалочку скрылся во тьме. Иона дернулся было за ним, но Рух удержал, шепнув на ухо:

– Не стоит на это смотреть, досталась падле самая поганая смерть.

– А это и правда бес? – голос Ионы дрожал. – Ни рогов, ни копыт, ни поросячьего пятака.

– Много ты понимаешь, – обиделся Рух. – Бесы с рогами и копытами только в книжках твоих, потому как ни один пачкун бумажный живого нечистого в глаза не видал. А ты зрел, за это мне спасибо скажи.

Он увлек монаха в церковь, звезды блекли, небо на востоке, за изломом черных лесов, пронзила светлая полоса. Свежий ветер, ворвавшийся в храм, разогнал вонь серы, горелой плоти и протухшей воды. Лукерья завалилась на бок в охранном круге и молилась почти неслышно. «Ну вот, теперь точно вдова», – неуместно подумал Бучила. Его немножко трясло, ноги подкашивались. На погосте истошно выл и визжал раздираемый по косточкам бес. Так кричат, если шкуру сдирают живьем или льют на темечко кипящий свинец. Домовые мастера в таковских делах, не дай боже им когда дороженьку перейти, лучше заранее руки на себя наложить. Село полыхнуло собачьим воем, лаем и скулежом. В Нелюдово нынче выдалась беспокойная ночь.

Из серой туманной дымки выплыла низенькая фигура, и Рух опознал нахального задаваку Мирошку. Домовой, с ног до головы изляпанный вонючей черной жижей, подошел, шмякнул на паперть кожаный мешок и сказал:

– Во, ваша пропажа.

– Отдал? – понимающе ухмыльнулся Бучила.

– А куды деваться ему? – Мирошка пожал плечами и уходя предупредил: – Не прозевай, упырь, сейчас будем кончать.

– Это чего? – Иона опасливо косился на подтекающий слизью подарок.

Рух молча распахнул мешок, подозрительно похожий на обрывок крыла, внутри скорчился, подтянув ножки и ручки к груди, крохотный, надрывно сопящий младенец.

– Митяйка! – ахнул Иона, крестясь.

– Он самый, – подтвердил Рух. – Возвращен могучим вурдалачьим умом, материнской молитвой и острым ножом домовых. Теперь дело за малым.

– Где бес прятал дитя? – Иона застыл.

– А вот этого тебе, поп, лучше не знать! – Рух назидательно воздел палец вверх. – Хватай ребенка и живо за мной!

Занялся рассвет, визжание демона резко оборвалось, Бучила перехватил подменыша за ноги и одним махом отсек крохотную башку,

обрывая всякую связь между матерью, спасенным ребенком и колдовством. Кровь плеснула на руки и на пол. Языческий ритуал в стенах христианского храма. Иона бережно передал сморщенного синенького младенчика матери. Лукерья всхлипнула, слезы хлынули в два бурных ручья. Младенец тянул ручонки и пускал пузыри. Лукерьины глаза, полные боли и ужаса, смотрели на Руха. Вурдалак едва заметно пожал плечами, дескать, тебе решать. Лукерья поцеловала Митяйку, отстранилась на миг и крепко-накрепко прижала крохотную головку к груди. Иона дернулся к ним, но Бучила перехватил священника за руку, тихонько предупредив:

– Не суйся.

Было в голосе упыря что-то, заставившее Иону молча досмотреть, как мать душила собственное дитя. Лукерья сделала выбор, и один Бог знал, верный он или нет. Долгожданный ребенок с каплей бесовской крови, плоть от плоти отца, вечное напоминание о пережитом ужасе. У каждого свой крест, и Лукерья волокла свой на Голгофу, сгибаясь под тяжестью самого страшного из грехов. Со стороны казалось, мать обнимает дитя, Митяйка трепыхался, пытаясь сделать единственный вдох, дернул ножками и обмяк. Лукерья с глухим рыданием повалилась ничком и свернулась калачиком вокруг затихшего тельца.

«Такова плата, Лукерья, – подумал Рух. – Теперь плачь, молись и меня проклинай. С сыном твоим увижусь в аду, будет он мне обвинителем и судьей».

А потом они сидели рядом на ступенях и смотрели на самый красивый в жизни рассвет. Потерявший и заново обретший веру монах, рано поседевшая женщина с мертвым дитем на руках и проклятый Богом и людьми вурдалак. И солнце светило им одинаково.

Все оттенки падали

Господь даровал человеку право на выбор: гнить или гореть, взлететь или упасть, обнажить меч или трусливо сбежать, жрать дерьмо или идти с высоко поднятой головой. Мы вольны выбрать свет или тьму, выбрать дорогу и людей, с которыми нам по пути. Харкая кровью, разрывая жилы, слыша треск и стоны ломающихся костей, помни: никто и никогда не отнимет у тебя право на выбор. И только ангел на Страшном суде решит, верным он был или нет.

Чуть разбавленная мерцанием свечей бархатистая темнота пахла вином, потом и похотью. Рух Бучила расслабленно лежал на медвежьей шкуре, поохивая под ударами бедер оседлавшей его графини Бернадетты Лаваль. Лоснящееся, гибкое тело графини откинулось немного назад, бесстыдно выставив большую упругую грудь с вздернутыми сосками, высокая прическа сломалась, пухлые губки плотоядно закушены. Во мраке напудренное красивое лицо с тонкими благородными чертами приняло звероватые хищнические черты.

Графиня наезжала в гости два-три раза в год, устав от новгородского шума, многолюдства и тесноты. По ее заверению – воздухом подышать. Что за такой особенный воздух у него в гнилом подземелье, Рух понять так и не смог. Графиня сваливалась на голову без предупреждения, задерживалась на пару дней и вновь исчезала, оставляя после себя сладкую боль в паху и едва уловимый аромат ванили и роз. Блудили без меры, пили вино, читали привезенные графиней новые книги. Во время чтения тоже блудили, чего греха-то таить? В постели Бернадетта была чудо как хороша, фантазией, выдумкой и долей безумия выгодно отличаясь от местных деревенских бабенок, обмирающих под Бучилой со страху. А кому понравится, если любовница в самый важный момент «Отче наш» возьмется читать? Рух через это к ним ходить перестал. Лучше уж вовсе без баб, авось заделаешься святым...

– В меня, в меня, – зашептала графиня, изгибаясь и ускоряя движения.

– Так тут больше и нет никого, – еле слышно прошептал Бучила и взорвался. Лаваль охнула и прижалась к нему: мокрая, трепетная,

горячая. Она всегда требовала оставить семя в себе. Выводка крохотных упырят не наблюдалось, да и не такая дура – мечтать забеременеть от ожившего мертвяка. Рух однажды видел, как она собирала семя в пузатую склянку. Вопросов задавать не стал. Ну надо человеку, чего с расспросами дурацкими лезть? Этих колдуний сам черт разберет. Рух встречал на пути штук пять или шесть, и у каждой, без исключения, были огромные проблемы с башкой.

– Чудовище ты мое. – Обессиленная Бернадетта свалилась рядом, открывая взору точеную фигурку без капельки жира и лишних волос. «Какое же дурацкое имя», – подумал Бучила. В своих попытках разорвать последние связи с варварской Московией Новгородская республика не гнушалась ничем. Государство построили на западный манер, с парламентом и дворянскими вольностями, а теперь и за имена принялись. В высшем новгородском свете стало хорошим тоном брать французские имена. Махом, словно собак нерезаных, всяких Людовигов, Кристианов и Жозефин развелось. Славянские рожи никого не смущают. Магдалена, и все, даром что при крещении Фроськой или Акулиной была... Срамота.

– В следующий раз будь со мной погрубей, – попросила Бернадетта, лукаво щуря глаза. – Поиграем в чудовище и невинную деву. Обещаешь?

– Что-нибудь придумаем, – буркнул Бучила.

– А лучше в царя Ивана и прекрасную пленницу, – оживилась Лаваль. – Слышал о новом увлечении безумного московитского царя?

– Не доводилось, – признался Рух, втайне очень надеясь побыть хоть немножечко безумным царем. Наверное, интересно вытворять всякие забавные штуки и знать, что ничего тебе за это не будет.

– Ой темнота, сидишь в подземелье своем. – Графиня перевернулась, выставив аппетитно оттопыренный зад. – Царь Иван собрал в Кремле уродов: карликов, горбатых, сросшихся вместе, искалеченных, Черным ветром испоганенных, таскает туда крестьянок и дворянок неугодных и смотрит, как эти страшилища насилуют их. Только такое зрелище в нем мужчину и пробуждает. Насмотрится и тоже трахать идет, и женщин, и уродцев своих, кто под руку попадет.

– Тебе бы туда, – фыркнул Бучила.

– Дурак, – надулась графиня. – За кого ты меня принимаешь?

– За самую красивую женщину на свете, – нашелся Бучила. – Кстати, московиты другое говорят, дескать, это Новгород – рассадник блуда и срамоты, бабы там сплошняком шлюхи покрашенные, а мужики друг друга под хвосты пользуют, на французский манер. И надо бы с божьей помощью это дьявольское гнездо выжечь дотла.

– Война будет, – графиня разом отбросила шуточный тон. – Тайны умеешь хранить?

– Могила.

– На прошлой неделе в Сенате едва до драки не дошло. Ожидают вторжение Москвы ближе к зиме.

– Который раз уже ожидают, десятый? А все никак не срослось.

– Иван копит силы, на границе каждый день стычки, города наводнены агентами. В прошлом месяце в Торжке раскрыта шпионская сеть. Сплошь каторжники-душегубы. При подходе московского войска должны были вырезать стражу и открыть ворота. Ничего, полезут – кровью умоются. Ха, Ганза живо их на место поставит. Наши послы в Любеке переговоры ведут. Если сунутся, со всей христианской Европой будут дело иметь.

– А христианская Европа знает, что Новгород потакает ведьмам и колдунам? – усмехнулся Рух. – Иван, может, и безумен, а в вере тверд, тут одно другому не мешает, а про Новгород бабушка надвое наплела. Между прочим, папа Иннокентий запретил войны между христианами под угрозой анафемы.

– Когда это было? – вспыхнула графиня. – Тот указ плесенью покрылся, или крысы сожрали давно. Франция с Англией воюет? Воюет. Швеция с Речью? Да за милую душу! Ну пожурит папа, пальцем погрозит, на том все и кончится.

– Англичане еретики.

– А для папы и православные еретики, разве нет?

– Может быть, – пожал плечами Рух и прислушался. Из залитого мраком коридора сквозняк принес едва слышимый зов.

– ...упа.

– ...па.

– ...а.

Какое все-таки здесь противное эхо. В забавах с графиней Рух потерял счет времени. Интересно, день сейчас или ночь?

– ...упа!

– Слышишь? – вздернула тонкую бровь Лаваль.

– Слышу, – кивнул Рух. – По мою душу пришли.

– Кто?

– Вот щас гляну, и упаси его Бог, если дело не важное. – Бучила сполз с ложа и принялся искать балахон среди пустых бутылок и разбросанного дамского белья.

– Не ходи. – Графиня звонко шлепнула себя по заднице.

– Я быстро. – Рух сглотнул, стараясь не смотреть на аппетитно задрожавшие ягодицы, набросил балахон и пошлепал по коридору. Капала вода, и пищали летучие мыши. Запах вековой пыли соседствовал с ароматами плесени и сырых волчьих шкур. Под ногами то и дело путался всяческий хлам. Рух дважды за последние тридцать лет порывался прибраться, но быстренько угасал. Может, Бернадетту заставить? Хоть и колдунья, но ведь баба, все признаки налицо, сам проверял. Зов, эхом расходящийся по подземелью, обретал силу и жизнь.

Искрошенные каменные ступени оборвались белым, увитым узловатыми корнями пятном. Ага, значит, все-таки день. Бучила остановился на границе света и тьмы, ожидая, пока пообвыкнут глаза.

– Заступа-батюшка! – Сбоку выплыла тощая тень.

– Ты, что ль, Анисим? – Рух узнал одного из старейшин Нелюдова.

– Я, Заступа-батюшка. Дело до тебя есть.

– Давай так, Анисим, – ухмыльнулся Бучила. – Если никого не убили и демоны из Пекла лезть не взялись, ты тогда беги, я тебе по старой памяти уступку шагов в двести дам.

– Не до шуток мне.

– Оно и видно. Иначе бы сам не пришел.

– Ну это, как его... – Анисим замялся. – Степан Кокошка, бортник нашенский, с Рычковского хутора, тебе кланяться попросил.

– Ну кланяйся, – разрешил Рух. – Я до поклонениев ужас жадный какой.

– Сам он побоялся тревожить, вдруг, говорит, пустяк, – пояснил старейшина. – Вторую ночь вокруг хутора кто-то ходит впотьмах и скулит.

– В Новгородчине живем. – Бучила дернул плечом. – Тут отродясь вокруг кто-то ходит впотьмах и скулит. Сам не этим ли занимаешься?

Вот как тишина будет, значит, точно беда.

– Ты сходи, Заступушка, погляди, – взмолился Анисим. – Как за себя прошу, век благодарен буду. Степан мне каждую осень бочоночек меду подносит. Уважь старика.

– Ну схожу, – согласился Бучила. – Но за тобой, Анисим, должок.

– Отплачу. – Анисим затряс седой бородой. – Только это не все.

– Ну.

– Могилку разрыли одну.

– Где? – напрягся Бучила. Скулеж и бляение вокруг хуторов – дело привычное, а вот разрытая могила всегда не к добру.

– От новгородских ворот сто сажен, под горелой сосной. Теперь пустая стоит, без мертвяка.

– Ясно, жди, сейчас соберусь. – Рух надрывно вздохнул и скрылся в норе. Можно было Анисима к бесам послать, он бы стерпел, но обижать старика не хотелось, одной ниточкой связаны. В спорах с нелюдовскими старейшинами Анисим всегда на сторону Бучилы вставал.

– Долго как, – капризно простонала графиня.

– Отлучиться надо, работенку добрые люди подкинули. Может, со мной? – откликнулся Рух, шарясь по комнате в поисках сам не зная чего. Хутор рядом, могилка раскопанная вообще под рукой, благородный рыцарь может отправиться налегке, без коня, пики и железных портков.

– Ну нет, – отмахнулась Лаваль. – У вас тут все навозом завалено, фу.

– Как знаешь.

– Бросишь невинную деву одну? – Графиня игриво качнула задницей. От открывшегося вида закружилась голова.

Рух замер. Анисим, засратый хутор и умотавший хер знает куда мертвец могли подождать...

Бучила сидел на корточках у краешка ямы, задумчиво разминая пальцами комья влажной земли. Не было у бабы горя, купила баба поросся... По словам Анисима, три дня назад к селу приперлись калики перехожие: горбун, безногий на волокуше, слепой старик с гуслиями и мальчишка при них. Просили пустить на постой, песни орали, брякали в бубен. Стража намяла попрошайкам бока, тем сыты и остались. Вродь убрались, а утром, глянь, снова причапали. Оказалось,

мальчишка помер у них. Вроде здоровенький был, ножками дрыгал, а тут взял и подох ни с того ни с сего. Хотели калики его на нелюдовском погосте захоронить, но опять же получили от ворот поворот. Где дураков найти, чужого покойника на свойском кладбище хоронить? Рух такое паскудство строго-настрога запретил. Не дай бог зараза какая с трупа пойдет. Кто его знает, где мертвяк при жизни шлялся и с какими бабами спал. Все село вымрет, какой с того прок? Послали калик на клят. Те постонали, поохали, прикопали мальчонку возле села и своей дорогой ушли. А теперь Бучиле дерьмо полной ложкой хлебать. Поленились калики драные, зарыли тело едва ли на локоть, почитай сверху землицей присыпали. Котят глубже закапывают. Самое гадкое, покойника выскребло не игривое лесное зверье. Судя по ровным срезам, орудовали лопатой. А где лопата – там человек, волку лопата без надобности, у него, паскуды лохматой, лапищи загребущие есть. А лучше бы волки. Сожрали, да и дело с концом, а теперь бегай, ищи... Одна радость – мальчишка поднялся не сам, тело выкопали и куда-то уволокли. А чего, свежий труп – вещь в хозяйстве полезная, хошь свиней корми, хошь сам жри, хошь на снадобья колдовские распотроши. Правда, в Нелюдово любители мертвечины давненько перевелись, Рух постарался. А если бы появились, он бы первый узнал. И год не голодный... Ну что за народ?

Следы замыло пролившимся накануне дождем, неизвестный гробокопатель сработал грамотно, или просто свезло. Сукин сын! Рух поднялся, зачем-то отряхнул незапачканные колени, плюнул в могилу и потопал на Рычковский хутор в самом мрачном расположении духа.

Кривая малоезженная лесная дорога вильнула собачьим хвостом и вывела Руха к жилью. На поляне раскорячился приземистый, потемневший от времени дом с соломенной крышей, разбухший по бокам уродливыми наростами сараюшек, слепленных из веток, грязи и плоских камней. Над печной трубой вился едва заметный белый дымок. Место Бучиле понравилось – уединение и благодать. А если бросить все и прикупить избушку на берегу озерца? Вести спокойную, умиротворенную жизнь, без пьянства, убийств, поганого чародейства и живых мертвецов. Ловить рыбу, выращивать репу, кормить оленяток с руки. Эх, мечты...

Анисим сказал, обитателей на хуторе четверо. Сам бортник с дочкой Варварой тринадцати лет. Жена пропала в лесу больше года

назад, Степан переживал, истомился весь, но потом успокоился, привел по зиме из Варанихи солдатскую вдову с малым дитем, себе жену, Вареньке мачеху. Жили тихо и скромно, сторонились людей. В Нелюдово Степана почитали за колдуна, но это уж как повелось. Для народа любой живущий на отшибе непременно чернокнижник и слуга Сатаны.

Его заметили издали. Полная невысокая женщина, копавшаяся на огороде, выпрямилась и приложила руку к глазам, закрываясь от солнца. Рядом нетерпеливо подпрыгивал мальчонка лет пяти. К гадалке не ходи, новая жена с сыном.

– Здравствуйте, люди добрые, – поприветствовал Рух.

– И ты здравствуй, путник, – Женщина напряглась ровно настолько, насколько требуется с неизвестной харей, выползшей из леса. И незаметно пихнула мальчишку коленкой под зад.

– Здрате, – неприветливо буркнул малец и шагнул вперед, закрывая мать. Весь опасный такой, посматривающий сурово и подозрительно, вооруженный деревянным мечом, изляпанным зверски посеченной крапивой.

– Степан-бортник здесь живет? – осведомился Бучила.

– А кто спрашивает? – Женщина уперлась кулаками в бока.

– Заступа нелюдовский. Меня Анисим прислал.

– Ой-ой! – Женщина всплеснула руками. – Прости, Заступа-батюшка, не признала. Ждали, ждали тебя! Я Дарья, Степана жена, а это Филиппка, сынок, значит, мой. Прошу в избу.

– Заступа-а? – У Филиппа округлились глаза. – Настоящий?

– Всамделишный, – важно кивнул Рух, следуя за хозяйкой.

– А меч у тебя где?

– Дома, под кроватью забыл.

– Как? – Филиппка посмотрел обескураженно. – А чем нечисти бошки рубить? Меч должен быть!

Мальчишка издал писклявый боевой клич и от переизбытка чувств одним взмахом расколол висевший на плетне пузатый горшок.

– Негодник! – охнула мать. – Уж задам я тебе!

Филиппка не стал дожидаться расправы, скакнул огромным кузнечиком и побежал, сверкая голыми пятками. Обернулся, глядя, есть ли погоня, и скрылся в зарослях лебеды.

– Беги-беги, обормот! – прокричала Дарья. – Жрать захочешь – вернешься, всыплю чертей!

Рух улыбался краешком рта.

– Сладу с ним нет, – пожаловалась несчастная мать, скрывая гордость за боевитого отпрыска. – Почти новый горшок, ирод, расколотил.

– Горшки дело наживное, – успокоил Бучила, входя в открытую дверь. В избе было опрятно и чисто, чувствовалась рука хорошей хозяйки. На полу домотканые половики, печь свежесвыбелена, тараканов и мышей не видать. Запах стоял особенный – сладко-приторный аромат гречишного меда, полуденного солнца и разогретого луга. С непривычки голова кругом пошла. Ах да, тут же бортник живет, мед, кругом один мед. Спасибо, изба не из сот.

– Варвара! – повысила голос Дарья. – Кликни отца, скажи, Заступа пришел!

Худенькая, остроносенькая девочка-подросток в платье до пят выскочила из-за печки, пискнула:

– Здравствуйте. – Потупила серые глазища и выскочила на улицу, легонько задев Руха плечом. Пахла она, опять же, медом и еще чем-то, тревожным и смутно знакомым.

– Падчерица, – пояснила Дарья. – Дочкой мне стала, душа в душу живем. Сначала сторонилась меня, а потом ничего, ужились. Садись, Заступа, поесть соберу, не побрезгуй.

– Не беспокойся, хозяйюшка, – поспешно открестился Бучила. – Разве водички.

Спустя мгновение он сидел за выскобленным столом и потягивал ледяную воду из деревянной кружки. Вода была медовой на вкус. Дарья громыхала посудой и тараторила без остановки:

– Одни мы, никого вокруг нет, до села две версты. Леса тут не больно-то страшные, князь Горбатов владеет, нечисть повывел, оттого спокойно живем. Лешаки и мавки в чаще сидят, к нам не лезут. Потому и спужались, когда ночью кто-то вокруг избы начал ходить. Слышим шаги, то затихнут, то снова пойдут, а потом как завоет!

– Долго шарился? – спросил Бучила.

– Почитай целую ночь.

– Ничего не видели?

– Ничегошеньки, Заступа-батюшка. В избе затворились. Степан с топором выйти хотел, да я не пустила. Он у меня сильный, а все ж неохота снова во вдовицах-то ходить.

– Ну это понятно, – согласился Бучила. – А скотины почему у вас нет? Даже курей.

– А какая скотина в лесу? – замялась Дарья. – Разве волков привечать. Перережут, не успеешь глазом моргнуть, холеры серые. Мы на медок все меняем, и мясо, и сало, и яйца. Ни в чем недостаточка нет.

– Молодцы, – похвалил Рух и пальцами выбил по столу нервную дробь. Может, и правда волки шалят, а может, дело в другом. Скотина в плохом месте не приживается, например. Даже кошачьей площадки нигде не видать. С другой стороны, икона на положенном месте, в красном углу. Христос посматривал искоса, но тревожных сигналов не подавал.

Из сеней послышались шаркающие шаги, и в дверь ввалился звероватого вида мужик, по уши заросший черной, с обильной проседью бородой. Глаза настороженно посверкивали из-под лохматых бровей. Следом невидимой тенью проскользнула Варвара.

– Степа, Заступа пришел, – сказала Дарья.

Бортник прошел к кадушке, шумно напился, проливая на грудь, сел напротив Руха и хмуро сказал:

– Шастает вокруг мразота нечестивая. Ты ее излови, Заступа, а я отблагодарю. Засаду, может, или еще чего...

– Предлагаешь ночь на улице скоротать? – хмыкнул Бучила. – Не, так не пойдет, я не псина дворовая, хозяйское добро сторожить. Лаять не умею, только кусать. – Рух ощерил пасть, с радостью отметив страх, охвативший хозяев. Дарья побледнела, у Степана задергался глаз. К безмерному удивлению, не испугалась только Варвара, смотрящая на упыря с жадным вниманием. – Я Анисиму обещался прийти, – продолжил Бучила, довольный произведенным эффектом. – Но ты запомни, Степаш, сторожем я не нанимался тебе. Еще тот поганый час не настал, чтобы вурдалак Рух Бучила вокруг избы с колотушкой за чарку меда ходил.

– Да не за мед... – попытался оправдаться Степан.

– Да хоть за самоцветов ведро, – оборвал бортника Рух. – Мне плевать, кто тут ходит, пока вреда людям нет. Был тебе вред, Степан?

– Н-нет, – заикнулся бортник.

– А домашним твоим?

Степан отрицательно мотнул головой.

– Ну вот, а то заладил: схвати, убей, накажи. Может, зайчишки у вас тут прыгают серенькие, а может, кикимора из болотины вылезла. Ты пойми, Степушка, если я буду бегать к каждому, кому шаги померещились, и ночь напролет сторожить, то село без Заступы останется. Смекаешь?

– Да как не смекнуть. – Степан спрятал глаза. – Не за себя боюсь – за семью!

– Так на Заступу надейся, а сам не плошай. Странное было в последнее время, кроме этих шагов?

– Не помню. – Степан уронил голову.

– Про собаку скажи, – подсказала Дарья, и Рух уловил волнение, волной пошедшее от Варвары.

– Пес у нас был, – нехотя пояснил Степан. – Жена-покойница хворого щенка принесла и выходила, не дала помереть. Долго прожил, дочка любила его. Морда сивая, полуслепой, лапы задние волочил, спал целыми днями. С месяц назад ушел, согласно своей песьей вере, в лес помирать. Погоревали мы, Варька поплакала, а ведь такая собачья судьба. А дней через пять дрова колю и вижу: батюшки-святы, волочится от опушки Черныш. Шкура облезла, ребра торчат, башку свесил, из пасти багровые слюни текут. Боком идет, лапы заплетает, два раза упал. Глаза мутные, в точку уставлены. Филиппка из избы выскочил – и к нему, хотел приласкать, а Черныш ощерился, рычит, скалит клыки, шерсть на загривке дыбом поднял, а я гляжу, кожа треснула и оттуда вязкое, словно сметана гнилая, течет. И воняет падалью. Еле успел ребятенка отнять, а Черныш, паскуда, зубами клацает, норовит ухватить. Ну я лопату схватил, по башке его и огрел. А он все одно ползет! Череп проломлен, зубы выбиты, глаза вытеккли. Без головы только и успокоился.

Степан замолчал, по всей видимости, исчерпав меру слов на неделю вперед.

– Хороший Чернышечка был, – всхлипнула Дарья.

– Бешанку, видать, подхватил, – развел руками Бучила. – Этой заразы нынче много в лесу. Больше ничего не было?

– Вроде нет, – отозвался Степан. – Разве борти стали хуже меду давать.

– Ну, тут помочь не могу, пчела из меня хреноватая. – Рух поднялся, собираясь уйти.

– Дядька Заступа, а я... – робко начала Варвара и тут же примолкла. Бучила посмотрел на девку в упор. В серых Варькиных глазах мелькали замешательство и плохо скрытый испуг.

– Говори, – приободрил Рух.

– Ты чего, дочка? – всполошилась Дарья.

– Ничего, так, подумалось. – Варвара поспешно отвернулась.

– На нет и суда нет. – Бучила замер на пороге. – Ничего не бойтесь да попытайтесь углядеть, какой гость из себя. С того и будем решать. Ну а если случится чего – сразу ко мне.

– Спасибочки, – буркнул Степан.

– Да пока не на чем. – Рух задержался, давая Варваре шанс выговориться. Девка поспешно отвела растерянный взгляд.

– Есть на чем, есть! – всполошилась Дарья. – Ты пришел, Заступа-батюшка, не отказал, и легче нам стало, я раньше сильно боялась, а теперь маленько боюсь. Всякому ведомо: где Заступа побывал, того места всякая нечисть тридцать три дня сторонится.

– Может, даже тридцать четыре, – согласился Бучила, успевший привыкнуть к глупым байкам вокруг своей скромной персоны.

– Вот, возьми, Заступа-батюшка. – Дарья сунула в руки небольшой пузатый горшочек. – Медок.

– Я так и подумал. – Рух отказываться от подарка не стал. Все ж ноги топтал, да и Бернадетта порадует. Авось, даже намажемся во всяких интересных местах. Бабы сладкое любят.

Рух шел, оставляя за собой шлейф намертво прилипшего медового духа. Все вышло как-то не так. Хутор оставил после себя смутное тревожное беспокойство. По уму надо бы задержаться и побродить вокруг, послушать птичек, понюхать цветы. Если Варька девка умная, сама придет. Ведь что-то хотела сказать. Что удержало? Страх перед отцом и мачехой? Возможно, но то дела семейные, и Руху туда нечего лезть. Скотины нет? Ну мало ли как...

Бучила дернулся и едва сдержал рвущийся испуганный крик. В кустах затрещало, мелькнуло темное, на дорогу выскочил победитель

мамкиных горшков Филиппка и щербато оскалился, довольный произведенным эффектом.

– Ты... ты это, не балуй, – выдохнул Рух, едва сдержавшись, чтобы не оборвать клятенышу руки.

– Напужался?

– Аж до уср... Немножко совсем.

– То-то! – Мальчишка погрозил пальцем. – Я спрячусь, никто ни в жисть не найдет. Мечом рублю, камни кидаю, воду мамке ношу, чтобы сила была. Готовлюсь.

– Людей на дорогах пугать? – любопытствовал Рух.

– Заступою быть, – таинственно понизил голос Филиппка. – Вот как ты. Народ защищать, нечисть бить, в норе черной жить. Идем-ка со мной, чего покажу.

Постреленок увлек Бучилу в кусты, продрался сквозь заросли орешника и с гордым видом ткнул пальцем под ноги.

– Видишь?

– Ну трава, – пожал плечами Рух и спохватился: – Ой, какая красивая. Зеленая вся.

– Да не, – Филиппка досадливо сморщился. – Я, по-твоему, травы не видал? Мы пока в деревне жили, держали кролей, так они знаешь сколько жрут? Мамка велит набрать целый мешок, и пока не надергаешь, домой ни-ни-ни. А ты мне – трава. Сюда гляди.

Рух разглядел на земле под березой следы. Собачий и рядом человеческий, босая нога. Дальше еще: собачий – человеческий, собачий – человеческий, теряясь в подлеске по направлению к хутору.

– И у дома такие видал, – сообщил Филиппка таинственным шепотком. – На гороховой грядке, да я их утром замел, а то мамка убиваться начнет, и мне заодно попадет. Думаю, тут дяденька с собачкой гулял.

– Глазастый ты, – одобрил Бучила. – И башковитый.

– В Заступы сгожусь? – обрадовался мальчонка.

– Заступой человеку не стать. – Рух с трудом сдержал подступающий смех.

– А ты меня укусишь, как подрасту!

– Все-то ты продумал, браток. А если не захочу тебя я кусать, а? Больно шея у тебя грязная. Настоящий Заступа мыться должен.

– Я помоюсь! Нынче мамке накажу воды бадейку согреть, – всполошился Филиппка. – Ты только куси, как Марью с Ванькой кусил!

– Ваньку я не кусал, – возразил Бучила, понимая, что бороться с деревенскими слухами – все равно что с голодухи дерьмо куриное жрать. Не наешься, но перепачкаешься будь здоров.

– Кусал-кусал, – прищурился мальчишка. – Иначе куда он пропал? Больно ты хитрый.

– Разве тебя обхитришь.

– Обхитришь. – Филиппка внезапно поник. – У нас тут дядечки ночевали, мамка сказала – люди святые. А один, горбатый, жуть страшный какой, у меня ножик украл. Взял палочку построгать, да с ножиком и утек. Ужо я до него доберусь! – Парнишка погрозил невидимому обидчику деревянным мечом.

– Дядечки святые, говоришь? – задумчиво протянул Рух. – Горбун, говоришь? Второй на коляске, третий слепой старик с гусями и парнишка при них?

– А ты откуда узнал? – У Филиппки округлились глаза. – И у тебя украли чего?

– Разве только сон и покой. – Бучила тяжело вздохнул. Тоненькие, почти невидимые паутинки сплетались в узор, и в середине этого узора жирным пауком замер Рычковский хутор и его обитатели. По уму надо было подергать за паутинки, но Руху было лень. Дома его дожидалась пылкая графиня Лаваль.

Два дня утонули в вине, любовных утехах и праздности. Рух забыл обо всем, наслаждаясь приятным времяпрепровождением. Заботы и тяжкие мысли растворились в сладкой головокружительной пелене, и потому на новый призыв Бучила отозвался нехотя и не спеша. Сначала прикинулся мертвым, боясь разбудить вконец измотавшуюся Лаваль, но неизвестный попрошайка не унимался. Пришлось выползть из норы. Рух поднялся по ступеням и нос к носу столкнулся с зареванной Дарьей Кокошкой.

– Заступа-батюшка! – Баба всплеснула руками. – А у нас, а у нас... Варька пропала!

– Как пропала? Когда?

– А в тот день, когда ты к нам заходил. – Дарья дышала бурно и с присвистом. – Вечером ушла, а домой не вернулась. За...

– Обожди. – Бучила прикинул в уме и на всякий случай пересчитал на пальцах. – Ночь, день и еще ночь миновали, а ты только пришла?

– Думали, вернется-я. – Дарья чуть не расплакалась. – Она и раньше, бывалоча, уходила, я уж подмечала за ней. Только Степану не говорила. То на полночи уйдет, а то до рассвета. Прямо беда.

– Любовь одолела?

– Не знаю, Заступушка. – Дарья смахнула слезу. – Неразговорчивая она, вся в отца. Спрашиваю, а Варька молчит, воды в рот набрала. Глаза прячет, и улыбка такая, что оторопь берет. А Степан с ума сошел, мечется по лесу, о пчелах забыл. Помоги, Заступа-батюшка, Христом Богом прошу!

– Беда с вами. Жди. – Бучила резко повернулся и ушел в знакомую темноту. Хотелось вернуться и наградить Дарью лещом. Девчонка пропала, а им хоть бы хны. Столько времени потеряли! Сказал же: нехорошее случится – сразу ко мне. Ну что за народ? В спальню пробрался крадучись, и совершенно зря. Бернадетта не спала, бесстыдно разметавшись на медвежьей шкуре, с кубком в руке.

– Снова сбегаешь? – спросила графиня.

– По делу, – откликнулся Бучила. – Девку буду искать.

– Меня тебе мало? – шутливо надулась графиня.

– Пропала она.

– Красивая?

– Палка в сарафане. Ей лет двенадцать, только зреть начала.

– М-м, – оживилась графиня. – Юность – лучшая пора: робкие объятия, поцелуи, первая влюбленность, пошленькие стишки. С кавалером сбежала? Предчувствую романтическую историю.

– Ага, или анчутки кожу сняли, а голову водяным подарили, нелюдовская романтика, мать ее так.

– Я с тобой! – Бернадетта вскочила.

– Там деревенщины и навоз, – напомнил Бучила.

– Ничего, потерплю! Скучно одной! Я быстренько!

Быстренько растянулось на час. Графиня вертелась у зеркала, привезенного с собой, примеряла наряды, фыркала, сетовала на скудность походного гардероба, советовалась с Рухом, делала все наоборот и снова советовалась, наконец остановившись на

приталенном охотничьем костюме, высоких ботфортах с пряжками и широкополой шляпе.

Так и выдвинулись: впереди горделиво задравшая острый нос Бернадетта, за ней Рух и последней притихшая в обществе ведьмы Дарья. Солнце нещадно пекло, Бучила натянул капюшон на глаза, расслабился и проشياпил опасность. Из леса навстречу вышли три огромные собачины породы «огромная страшная слюнявая мразь», в шипастых ошейниках и кожаных доспехах, прикрывающих мускулистые, покрытые шрамами тела. Псины угрожающе зарычали, скаля клыки. Рух оскалился в ответ, но впечатления на животинку почти что не произвел. Обычно зверье разбегалось от упыря, едва почувствовав запах, а эти псины хоть и испугались, но давать заднюю не спешили. Тупые какие-то...

– Девочки, без резких движений. – Бучила прикрыл женщин собой и засюсюкал: – Собачки, собачки, мои вы хорошие.

– Сейчас я их успокою. – Лаваль подняла руку, готова заклятие.

– Не надо, – попросил Рух. – Подумаешь, рычат, ничего страшного.

– Будешь до вечера с ними в гляделки играть? – фыркнула ведьма.

Ответить Рух не успел – на обочине появились два опасного вида мужика в кольчугах и дубленой коже. Тот, что повыше, наставил Бучиле в живот арбалет. Второй, с жутким шрамом через всю рожу, требовательно спросил:

– Кто такие?

– Тебе что за дело? – набычился Рух. Еще не хватало, чтобы всякая приبلудная шваль вопросы тут спрашивала у честных людей.

– У меня рука затекла, – пожаловался высокий. – Ща случайно болт в пузо пущу.

– Знаешь, кто я? – вмешалась графиня.

– Шкура в шляпе? – Мужик со шрамом презрительно сплюнул.

У Бернадетты нехорошо потемнели глаза, Бучила обреченно вздохнул, приготовившись к смертоубийству. За поворотом застучали копыта, по дороге двигались конные числом около десяти, вооруженные до зубов, одетые в кожу и стальные кирасы. Передовой – худощавый с тоненькими усиками хмырь, красуясь перед бабами, поднял на дыбы вороного жеребца. Весь такой расфуфыренный, в

черном мундире, богато украшенном серебряным шитьем, высоких сапогах, с двумя пистолетами и палахом.

– Что тут, Яков? – голос усатого отдавал сталью.

– Личности подозрительные, – отозвался грубиян со шрамом. – Вот, задержали.

– Задержали, – передразнил усатый. – Ты, харя, не видишь благородную даму? – Он приложил пальцы к шляпе с ободренным пером и представился, обращаясь исключительно к Бернадетте: – Ротмистр Александр Вахрамеев, пятый рейтарский, Черная рота.

Бучила посмотрел на хлыща искоса. Надо же, Черная рота, в душу эти, только их тут для полного счастья и не хватало. Особое подразделение Новгородской республики: охота на прилюдную нелюдь, выслеживание инакомыслящих, подавление бунтов и крестьянских восстаний. Изуверы, мучители и палачи. Сброд, готовый к самой грязной работе. Ими даже армейские брезгуют. Надо держать ухо остро. Теперь ясно, почему псыны не испугались вурдалака – натасканы любую нечисть клочьями грязными рвать.

– Бернадетта, графиня Лаваль. – Ведьма обворожительно улыбнулась.

– Весьма рад встрече, сударыня. – Ротмистр поклонился в седле. – Могу увидеть дворянскую грамоту? Прошу прощения, сударыня, служба.

– Понимаю. – Лаваль расстегнула верхнюю пуговку камзола, демонстрируя нежные полушария белых грудей, и извлекла гербовый дворянский знак на цепочке, золото и эмаль, щит с алой розой, поддерживаемый орлом и грифоном. Тонкая и искусная работа, подделать которую практически невозможно.

– Еще раз прошу простить мою наглость, сударыня. – Вахрамеев остался доволен увиденным. – Гуляете?

– Приобщаюсь к жизни простого народа, а тут ужасные собаки и еще более ужасные неотесанные мужики. – Графиня ткнула пальцем в Якова и наябедничала: – Вот этот меня оскорбил.

– Матушка, не вели казнить, обознался. – Яков рухнул на колени.

– По морде деревенщину угостите, сударыня, – разрешил ротмистр. – Дурак, какой с него спрос? Вы уж простите великодушно его.

– Да чего уж, прощаю, – отмахнулась графиня.

– А это с вами кто, челядь? – Ротмистр небрежно кивнул на Руха и Дарью.

– Жена бортника местного, Дарья, а я Заступа села Нелюдово, Рух Бучила. – Рух снял капюшон. Всхрапнули кони, люди взволнованно зашумели, лязгнула сталь.

– Упырь? – прищурился Вахрамеев.

– Вурдалак.

– Заступа?

– Мне повторить?

– От митрополита разрешение есть? – Ротмистр опустил ладонь на рукоять палаша.

– Не, сам по себе херней тут страдаю и кровь у младенчиков православных пью, – отозвался Бучила и тут же успокоил: – Закон знаю, все честь по чести. Поезжай со сворой в Нелюдово, старейшины подтвердят, у них и бумага красивая с печатями есть.

– Печать есть, толку нет, – фыркнул ротмистр. – Заступа, говоришь, а нечисти вокруг села безмерно развел. Никита!

Замерший за офицером всадник пустил коня на три шага вперед и резко взмахнул рукой. Бучила не шелохнулся. Нечто круглое описало дугу, шмякнулось о землю и подкатилось к ногам. Рух поморщился. Вершках в трех от носков сапог застыла отрубленная голова, уставившись на упыря круглыми разноцветными глазами навывкате. Уши оттопыренные и круглые, нос как брюква, лицо морщинистое, задубелое, похожее на стариковское, только голова меньше человеческой раза в два. И борода из колосьев, вымокших в ярко-алой крови.

– Это полевик, – слегка охрипнув, сказал Бучила. – Опасности от него никакой: хлеб охраняет, скотину на пастбище бережет, если и шалит, то без злобы.

– А мне без разницы, – поджал губы Вахрамеев. – Всякая нечисть будет истреблена. Всякая, слышишь, упырь?

– Слышу, – кивнул Бучила, собираясь в комок.

– Я за него ручаюсь, ротмистр, – поспешно вклинилась Лаваль.

– Воля ваша, сударыня. – Вахрамеев прикрыл блудливые глазки. – Путешествуйте в ненадежной компании сколько угодно, но я обязан предупредить – в окрестностях замечены падалыщики.

Бучила напрягся. Безоблачный летний день приобрел тошнотворные ароматы свернувшейся крови, горелых костей и тухлого мяса. Падальщики. Болезнь, взявшаяся из ниоткуда лет двести назад. Первая вспышка в Ливонии, вторая в Московии и дальше по всему свету. Кто-то говорил, зараза в воздухе, кто-то – в воде. Люди в одночасье сходили с ума и убивали сохранивших разум родичей, соседей, друзей. Безумцы вымазывались кровью, пожирали еще живые тела и сбивались в стаи подобных себе. Дикари, человекоядцы и трупоеды, уничтожающие все на пути. Новый бич божий. Падальщики появлялись из предрассветной дымки, убивали, насиловали и грабили, оставляя после себя пепелища и голые кости. Так близко к Новгороду ни разу не появлялись – и вот тебе на.

– Откуда? – спросил Рух, чувствуя горький привкус на языке.

– Пятнадцатого числа у Заборья накрыли огромную стаю, – сообщил ротмистр. – Образин двести, с бабами и детьми. Перлись в сторону Старой Руссы. Лесная стража их выследила, а мы прижали ублюдков к реке и посекали. Две Черные роты и драгунский эскадрон из полка князя Багге. Славное было дело, доложу я вам, господа. Не поверите: рука устала рубить. Сущие дьяволы! Бросались как одержимые, ни страха, ни самосохранения. наших полегло восемнадцать человек. Поручика Зимина на моих глазах разорвали в куски вместе с лошадьё, до сих пор как глаза закрою, красное все. А он мне двести гривен остался должен, прохвост. Падлятины накрошили изрядно, но десятка три прорвались и ушли по воде. Сукины дети! Третий день в седле из-за них, задница ноет, простите, сударыня.

– Ничего не слышал, – признался Бучила. За потрапушками забыл обо всем. А если бы дикари приперлись в село? Вот тебе и Заступа...

– Неудивительно. – Ротмистр развернул коня. – Потрепали их крепко, тихо идут, держатся вдали от деревень и дорог, хотят в Гиблые леса утечь и раны в тайных укryвищах зализать. Одного не пойму: опережали нас на два дня, а сегодня след свежий совсем, будто приклеились здесь.

– Действительно странно, – согласился Бучила. Лес вокруг Рычковского хутора большой и дремучий, но Гиблым лесам не чета. Прячется тут долго не выйдет. Пара пехотных полков прочешут вдоль и поперек за три дня.

– Падальщиков меньше десятка, но вам, сударыня, лучше вернуться в село, – посоветовал ротмистр.

Лаваль вопросительно посмотрела на Руха. Бучила на мгновение задумался. С падальщиками шутки плохи, с другой стороны, дело есть дело, а упырь и ведьма способны управиться с десятком помешанных дикарей. Можно рискнуть. И сказал:

– Безумцы, поди, разбежались при появлении доблестного ротмистра, и мы в полной безопасности. До хутора рукой подать.

Вахрамеев закатил глаза.

– Ну вот видите, ротмистр, никакие людоеды нам не страшны, – улыбнулась графиня.

– Позвольте сопроводить вас, сударыня! – Ротмистр, видимо подцепив романтическую лихорадку, решил идти до конца.

– Разрешаю. – Ведьма явно упивалась вниманием.

– Прошу ко мне. – Вахрамеев вытянул руку и приказал: – Яков, помоги даме!

Незадачливый Яков хлопнулся на четвереньки, графиня легонько оттолкнулась от его спины и взлетела в седло. Ротмистр усадил Лаваль перед собой, бережно придерживая за талию. Кавалькада развернулась, взметнув облако пыли. Рух прикрылся ладонью и отвернулся, только тут заметив Дарьины зареванные глаза.

– Ты чего? – Рух потащил бабу за удаляющейся Черной ротой. Слышались молодецкие выкрики ротмистра и жеманный смех графини Лаваль.

– В-варьку падальщики з-забрали-и. – Дарья завсхлипывала. – Они, проклятушие, вокруг дома и шастали-и...

– Ну это вряд ли, – успокоил Бучила. – Не в привычке у них под окошками выть. У падали в башках насрато крепко, человека завидят – сразу режут в куски. Эти, хоть по словам нашего ротмистреныша, и осторожные, но не до такой же степени, чтобы одинокий хутор с бабами и детьми стороной обойти. Нет, не они это.

– А Варька?

– Насчет Варьки не уверен. Будем на месте смотреть.

Лес из солнечного и светлого стал нахмуренным и злым. Кроны шумели тревожно, за каждым стволом мерещились притаившиеся дикари. Зная свою удачливость, Рух рассчитывал на самое хреновое, что могло только быть. Или по пути нападут, или хутор сожгли... Не

сожгли. Хутор стоял целехонький. Вокруг дома бдительно прогуливался Филиппка с мечом.

Вахрамеев мягко спустил Лаваль на твердую землю, словно невзначай коснувшись груди. Графиня ойкнула и расхохоталась. «Надо же, быстренько спелись, голубки», – подумал Бучила. Ревности он не испытывал. Ревность – глупая вещь и кровью часто кончается. К ведьме он особых чувств никогда не испытывал. Интрижка, приятное времяпрепровождение и не боле того.

– Не забудьте, ротмистр, вы обещали показать мне живого падальщика, – напомнила графиня.

– Непременно возьму вас с собой, – отсалютовал ротмистр. – Завтра на рассвете на этом же месте! Я покажу вам охоту на человека, сударыня! Честь имею!

Вахрамеев резко дернул поводья и пустил лошадь в галоп, увлекая за собой головорезов и мелькающих расплывчатыми тенями собак.

– Подружились? – съязвил Бучила.

– Самую малость, – рассмеялась Лаваль. – Приятный молодой человек.

– Угу, после таких приятных молодых человек ценности из дому пропадают, – буркнул Рух.

Филиппка, увидев процессию, обрадовался, побежал навстречу и закричал:

– Батяка вернулся!

– Варьку нашел? – ахнула Дарья.

– Не-а, один. – Мальчишка стрельнул глазенками в лес.

– А ну пошел в избу, на улицу нос не показывать! – велела мать.

– Ну мам...

Послышался звонкий шлепок, будущего Заступу и грозу всей окрестной нечисти загнали поджопниками домой.

Бортник сидел за столом, уронив лохматую голову на руки. Перед ним лежал скомканный сарафан. Чистый, без подозрительных подтеков и пятен.

– Горюешь, Степан?

Бортник поднял красные, заплаканные глаза и прохрипел:

– Нету доченьки, нету, тока платье сыскал.

– Следить надо за доченьками, беседы нравоучительные вести, в душу девичью лезть. – Бучила взял сарафан и шумно принюхался.

Пахло бабой.

– А я следил! – взревел Степан и грохнул кулаком по столу. – А толку? Та тварь Вареньку уволокла, которую ты, Заступа, должен был изловить!

– Не доказано, – обиделся Рух. – Где платье сыскал?

– У тропы на опушке. – Плечи Степана содрогнулись. Он разбил кулак в кровь и даже этого не заметил.

– Платок есть? – спросил Бучила у Бернадетты.

Графиня передала накрахмаленный шелковый платок с вензелями.

– Поранился ты. – Рух заботливо вытер кровавую ладонь бортника, безбожно извозякав белоснежный платок.

– Ты... ты... – ошалела от наглости Лаваль.

– Я тебе новых сто тыщ подарю, – соврал Бучила, протянув окровавленную тряпку владелице.

– Фу! – Лаваль отдернулась. – Убери эту гадость!

Бучила сунул платок в карман и спросил:

– В лесу искал?

– Разве сыщешь! – всплеснула пухлыми руками Дарья. – Взрослые каждый год пропадают, а тут дите неразумное.

– Варенька! – Степан ткнулся рожей в сарафан, вполне естественно изображая убитого горем отца. Или не изображая?

– Вечером как себя вела? – спросил Рух.

– Обычно, – задумалась Дарья. – По хозяйству мне помогала.

– Ясно. А калики перехожие зачем ночевали у вас?

– А я ему говорила! – вскрикнула Дарья. – Нечего бродяг привечать!

– То дело богоугодное, – буркнул Степан. – Во искупление тяжких грехов.

– И много у тебя грехов тяжких, Степан? – поинтересовался Рух.

– Какие ни есть, все мои. – Бортник зыркнул с вызовом.

– Тут согласен, – кивнул Бучила. – Мальчишка, который с каликами был, у вас умер?

– У нас. – Дарья перекрестилась. – Хороший мальчонка такой, уважительный, ласковый, Митенькой звать. Тощий как шкелет, а жрал, не приведи Бог...

– Дарья, – осуждающе шикнул Степан.

– А чего? Как есть говорю. Каши спорол больше всякого мужика, и куда только лезло? С Варькой сдружился, целый вечер на задворках возились, он ей куклу из соломины сплел.

– Болел чем? – поинтересовался Рух.

– Вроде здоровенький. Только хроменький, одна ножка сухонькая, короче другой. Уродился таким. Утром встали, а он остывает уже и кровь ртом пустил.

– Варькины вещи где?

– Вот тут, Заступушка. – Дарья засуетилась, указав на печной закуток.

Варькино приданое вышло не из богатых: узенькая лавка с парой лоскутных одеял, под лавкой разбитые лапти и плетеный короб со всяким девичьим добром – иголками, нитками, куклами, пряжей, обрезками ткани, бусинами и красивыми камушками. На колышке, вбитом в стену, висел расшитый бисером сарафан. В таком хоть замуж выпрыгивай. Рух быстренько осмотрелся, залез под матрас, набитый соломой, и выудил тряпичный сверток. Внутри горсть высушенных ломких цветочков, листиков и стебельков. Бучила определил ромашку, колокольчик, побеги малины и, удивленно хмыкнув, протянул графине вытянутый яйцевидный листочек с заостренной верхушкой.

– Ваше мнение, сударыня?

Лаваль размяла листок, понюхала и отозвалась:

– Определенно *Atropa belladonna*, она же сонная дурь.

– Красавка по-нашему, или бешеница, – кивнул Рух и задумался. В принципе, ничего необычного, невзрачный кустик с грязно-фиолетовыми цветочками. Мимо пройдешь – не заметишь, если только ты не ученый, свихнувшийся на гербариях, или вдруг не задумал кого-то убить. Красавка ядовита от корней до кончиков стебля, вызывая учащенное сердцебиение, резкое повышение температуры, светобоязнь, судороги и смерть. Вопрос один – Варьке она на хрена? Для интереса, или мышей изводить? А может, другое? Красавка – сильнейшая защита от сглаза и черного колдовства. Эх, Варюха-горюха, почему молчала? Что хотела сказать? Загадки одни.

– Так. – Рух повернулся к Степану и Дарье. – Ничего страшного не случилось. Пока. Сидите на хуторе, в лес ни ногой, ясно?

– Ясно, Заступушка, ясно, – закивала Дарья.

– И засветло лучше вам в Нелюдово перебраться.

– Хозяйство не брошу, – грубо отрезал Степан.
– А если башку потеряешь? – предупредил Рух. – И ведь не только свою.

– Никуда не пойду. Если Варенька вернется, а меня нет?
– Степушка, может, и правда уйдем? – осторожно попросилась Дарья.

– Иди, назад не приму.

– Степушка!

– Отстань, баба!

Рух прихватил графиню за локоть и выбрался из избы. В спину неслись звуки ожесточенного спора. Степан упрямылся, Дарья настаивала, но исход был понятен и так. Никуда они не уйдут. Бортник упертый, и гордости выше краев.

– Заступа, – позвал тоненький голосок откуда-то от самой земли.

Бучила наклонился, заглянул под сруб и увидел в темноте грязную мордашку Филиппки.

– Ты чего тут, малой? Велено дома сидеть.

– А я убег!

– Смотри, добегаешься, батька шкуру спустит.

– Пуцай догонит сперва, – заявил Филиппка. – А и догонит, не будет пороть. Он же мне не настоящий отец.

– Чужие крепче лупят.

– А ему не до меня. – Мальчонка обиженно засопел. – Он только Варьку любит свою.

– А ты не любишь? Ведь почти что сестра.

– Плохая она, – сообщил Филиппка. – Завсегда шпыняла меня. Как ущипет, так синяки. Из леса придет злющая, воняет гадостно и давай меня изводить.

– Мамке бы жаловался.

– Заступы не жалуются.

«Еще как жалуются, – невесело усмехнулся про себя Рух. – А еще ноют и даже плачут тайком, когда рядом нет никого и урона Заступиной чести нет».

И сказал:

– Ладно, раз так, назначаешься младшим Заступой, за мамкой с батькой приглядывай, от них ни на шаг. Справишься – меч подарю.

– Не обманешь?

– Чтоб мне пусто было.
– Смотри у меня, – пригрозил Филиппка.
– От отца с матерью ни на шаг! – напомнил Бучила, удаляясь от хутора.

– Не боишься пчеловодов одних оставлять? – поинтересовалась Бернадетта.

– На все воля Божья, – отозвался Бучила. – За каждым уследить не могу.

– Может, мне с ними остаться?

– Не терпится падальщика увидеть?

– Не терпится, – подтвердила графиня. – Такая, знаешь ли, девичья блажь.

– Сдалось тебе.

– Ну интересно же! Они и правда ужасные?

– Не-а, на котятков похожи. Миленькие, пушистенские, херню всякую мурчат.

– Ты сам-то видел?

– Бог миловал. У меня без них всякого злобного мразья через край.

– Скучный ты.

– Ротмистр твой веселый.

Тропа манила в коричнево-зеленую глубь, пахнущую грибницей и прелым листом. Березы шелестели на ветерке, где-то рядом дробно выстукивал дятел. Хмурой стеной высились лохматые ели. Рух шкурой почувствовал чей-то ненавидящий пристальный взгляд. По спине, несмотря на жару, пробежал холодок.

– Ты чего? – прищурилась Лаваль.

– Так, нахлынуло. – Рух встряхнулся, прогоняя колкий озноб. – Чей-то надоело мне прогулки гулять. Айда домой, я вроде камин забыл потушить. Ща как полыхнет...

– Ну уж нет! Что я, зря мучилась? – Графиня уверенно направилась в лес и закричала: – Эй-эй, дикари поиметые! Выходите!

«Господи божечки, – вздохнул Бучила про себя. – Ну вот зачем быть настолько тупой? Сейчас накличет беды».

– Нападайте, ублюдки! – голосила Лаваль. – Где вы, страшные грязные морды? Ау!

– Завязывай, а.

– Где твой азарт? – воскликнула графиня. – Мы обязаны схватить падальщика живьем.

– Между прочим, это законом запрещено, – назидательно сказал Рух. – Кстати, почему?

– Одна неприятная, но весьма поучительная история, – скривилась Лаваль. – Когда появились падальщики, феноменом заинтересовались ученые. Тевтоны отловили несколько особей по заявке Кенигсбергского университета. Там делали с ними всякие нехорошие вещи: препарировали, копались в мозгах, ставили опыты, хотели выяснить причину болезни и пути заражения.

– Выяснили?

– Еще как! Безумцы то ли сами освободились, то ли им помогли. Резня была жуткая, погибли профессор медицинской кафедры, два магистра, случайно подвернувшийся доктор права и два десятка студентов. Говорят, кровяную и мясные ошметки соскребали со стен. У Эттельбаха есть стихотворение «Тьма и кровь», посвященное Альбертинской бойне. Не читал?

– Не люблю всякие ужасы, – поежился Рух.

– В следующий раз обязательно подарю тебе томик Эттельбаха. Великолепнейший поэт и...

Лаваль резко замолкла. Бучила выглянул из-за плеча графини и вместо устрашающего вида дикарей увидел полянку, утонувшую в плотной тени высоченного дуба обхвата в три толщиной, с вырезанным на коре потемневшим лицом. Трава вокруг вытоптана, на земле несколько глиняных тарелок, в одной кособочился оплывший огарок свечи.

Бучила сунулся в плоску и брезгливо поморщился. На дне присохли остатки позеленевший тюрки из хлеба и молока. Вторая вылизана дочиста, в третьей подозрительные бурые пятна и налипший птичий пух. Чуть левее накопаны несколько ям.

– Похоже на кладбище. – Бернадетта заглянула в раскоп.

– На клятское дерьмо это похоже, – буркнул Рух. Ямки оказались совсем небольшими, в каждой лежала почерневшая деревянная кукла, замотанная в мешок. По ощущениям, кукол сначала похоронили, а потом откопали и бросили под открытым небом. Всего он насчитал двенадцать ям. В последней куклы не было.

– Жуть какая, – повела бровью Лаваль. – Вот за это и не люблю медвежьих углы. А кормят тут кого?

– А кого угодно, – хмыкнул Бучила. – Требное место. Хлеб, кровь, молоко. Неумелая попытка задобрить высшие силы.

– Чья попытка? – спросила графиня.

– наших знакомых с хутора, скорее всего. Не удивлюсь, если балует Степан.

– Почему он?

– Все таким промышляют, кто с лесом имеет дела. Чтобы что-то взять, нужно что-то дать. Иначе нельзя.

– И как Церковь на это смотрит?

– А никак, у Церкви своих забот полон рот, за каждым бортником, охотником или любителем грибочков не уследишь. Знаешь, почему нельзя в одиночку между речками Ловатью и Полой гулять?

– Просвети.

– Людишки там пропадают частенько. Каждый год то трое, то пятеро. Лес сосновый, строевой, на продажу в Московию и Европу идет. Местные живут замкнуто, кровосмешением балуют, чужих хватают и лесу в жертву приносят, чтобы, значит, деревья валить без ущерба себе.

– А власти?

– А что власти? – удивился Бучила. – Смерды бесплатно рождаются, а хороший лес больших денег стоит.

– Хочешь сказать, Степан кому-то дочь подарил?

– А вот это скоро узнаем, – загадочно улыбнулся Бучила и пошел из лесу прочь.

Ночи еле дождался, как на иголках сидел, растревожился весь, раз пять выбегал наружу, торопя звезды и серый закат, пока, наконец, не напоролся на бархатистую темноту, пропитанную остывшим солнцем, запахами полыни и трелями соловьев. Обрато в подземелье вихрем слетел, смел со стола всякое ненужное барахло и зазвенел пузырьками и инструментами. Фыркнула и зашипела горелка, разбросав по стенам тусклые всполохи.

– Ну расскажи наконец! – потребовала вконец истомившаяся графиня.

– Мудрить буду. – Рух, с видом ярмарочного колдуна-шарлатана, выдернул из кармана заляпанный Степановой кровью платок.

– Отстирать хочешь? Ну-ну.

– А может, и отстирается заодно! – азартно выкрикнул Рух. Жидкость в медной кружке зашумела, и он поспешно убавил огонь. Нужна горяченькая, ни в коем случае не кипяток, а то вся затея прахом пойдет. Бучила опустил платок в слабый раствор спирта, уксуса и мышьяка, ткань надулась пузырьем, набрала влаги и утонула, оставив на поверхности маслянистую пленку. Рух забренчал пузырьками, воскрешая в памяти нужную формулу. Так, капля щелочи, две капли настойки мандрагоры, все тщательнейшим образом перемешать. Готово.

Он снял кружку с горелки, ложечкой вычерпал платок и тщательно перемешал воняющую кислым бурду.

– Ах вот зачем хитрюга испортил платок! – Графиня жадно подалась вперед.

– Ага. Сей дивный напиток внутрь приму, кровь, пока свежая, воспоминания крепко хранит, гляну, что видел наш молчаливый и загадочный бортник.

– Фу, – скривилась Лаваль. – Противно-то как! Всякую гадость тащишь в рот!

– Как портовая шлюха! Ваше здоровье, сударыня! – Бух вымученно улыбнулся, поглубже вдохнул, залпом выщедил противную жижу со вкусом металла и мышиноного дерьма и прислушался к ощущениям. Способ мерзкий, но действенный, большой эффект дает только питье из человеческого горла. Если все правильно сделал, можно погрузиться в память достаточно глубоко, увидев самые яркие и запоминающиеся события. В девяти случаях из десяти это траханье, еда и мысли о них. Ну и грязные тайны, куда же без них? У всякого они есть, и у грешника, и у праведника, у праведников даже больше подчас. Ну разве что у деревенского дурачка Прошки грязных тайн нет, этот ведь напоказ онанирует, и то на людях, за что поп ему слепотою грозит, да Прошка все не слепнет никак, а вроде даже и зорче становится день ото дня.

Рух откинулся на спинку стула, голова закружилась, в затылке кололо, тянуло сблевать. Первые раз десять это доставляло определенные неудобства, а теперь ничего, пообвык.

– Я только слышала о таком, – удивленно вскинула брови графиня.

– Хочешь попробовать? – Рух протянул кружку. – Я тут оставил чутка.

– Отвали. – Лаваль посмотрела в глаза. – Не понимаю я тебя, Рух.

– Да я вроде парень простой.

– Живешь в подвале своем. Нет-нет! В плесени и пауках присутствует некий шарм, денек-другой можно и потерпеть, но не десятки же лет!

– Каждому свое.

– Прячешься в подземелье, охраняешь коз и порослячье дерьмо. Зачем?

– Меня устраивает, – отозвался Бучила. – Ненавижу лишние проблемы и суету.

– Тебе нужно в Новгород, – убежденно сказала Бернадетта. – Мои друзья, очень и очень влиятельные люди, заинтересованы в услугах таких, как ты.

– Мерзких чудовищ?

– Это с какой стороны посмотреть. Соглашайся и получишь все – золото, положение, власть.

– Мне привычней навоз.

– Медленное гниение, как по мне.

– Вполне подходяще для мертвеца.

Ответа Рух не услышал. Ротик графини открывался, но звуки пропали, перед глазами зависла мутная пелена. Он словно провалился в бездну, заполненную густым киселем, пока не завис, как паяц на ниточках, в крошечной удушающей темноте. Не чувствовал ни рук, ни ног, а когда прозрел, оказался в чужой голове, задыхаясь от посторонних мыслей, переживаний и мелких надежд. Свежие воспоминания отыскал без труда. Ужас ночи, сердце, рвущееся из груди, звуки шагов за стеной, обмершие дети и Дарья. Солнечный день, привкус меда. Рух увидел себя. «Какой же все-таки страшный», – пришла в башку неуместная мысль. Потянулись бортнические заботы и долгое тюканье топором. Ничего важного. Одно точно – к пропаже дочери Степан отношения не имел. Бучила обжегся об отцовское горе и погружался глубже и глубже, тонул в ярких вспышках и образах. Дарья, Филиппка, пчелы, пчелы, пчелы и мед. Воспоминания становились расплывчатыми и непонятными, пока Рух не наткнулся на нечто, скрытое в самых потаенных уголочках души. Ночь, хмурый

неприветливый лес. Степан, бесшумно крадущийся по тропе следом за расплывчатым белым пятном. Пятно замерло на поляне посреди черной чащи. Женщину в исподней рубахе окружили неясные тени, мелькали огромные выпуклые глаза и тощие когтистые лапы. Женщина протянула сверток, и Степан сорвался на крик. Все исчезло, растворилось как дым. Рух чувствовал вскипевшую в бортнике ярость. Перекошенное женское лицо. Удар. Хрип. Темнота. Руха выбило из тела Степана, развернуло налетевшим вихрем, и он успел увидеть в зарослях Варьку, наблюдающую за отцом, ставшим убийцей...

Бучила рывком вынырнул из чужих воспоминаний, наполненных горечью, утратами, раскаянием и скрытым грехом.

– Я уж испугалась, когда ты глаза закатил! – вскрикнула склонившаяся над ним графиня.

– Руку. – Бучила вытянул пальцы. – Не бойся. Я тебе покажу...

Спалось плохо, и поэтому на опушку прибыли затемно. Лес в предрассветных сумерках казался черной стеной. В небе потухали и размывались холодные звезды, уступая напору солнца, позолотившего горизонт. В зарослях вопила полоумная птица, кликая беды и кровь.

– Давай еще разок уточним, – сказала Лаваль на ходу. – У Степана год назад пропала жена, так?

– Так, – кивнул Рух.

– Он ее прикончил?

– Скорее всего.

– А теперь она восстала и хочет муженьку отомстить?

– Вполне может быть. Хотя это только теория. Вокруг хутора шагает, воеет и утробно орет. Заложные – паскудники жуткие.

– А девчонка?

– Мамка поди сожрала, – предположил Рух. – Времени много прошло, мозги сгнили, ей теперь один хрен – дочь, сват, брат, любого схарчит.

– Что сделаем со Степаном? – кровожадно спросила графиня.

– А ничего, – отозвался Рух. – Ну убил жену и убил, с кем не бывает? Сам грешен чутка, разов пятьдесят. Вот труп тайком в лесу прикопал, за то пожурю, ишь, взялся мне заложных плодить.

– И все? – удивилась Лаваль.

– А чего ты хотела?

– Справедливости, например.

– Ну, можно задницу ему напороть. Вообще, я в семейные дразги не лезу, – скривился Бучила. – Нет, могу, конечно, кому следует донести, но это шагов двести бесплатно идти. Оно надо мне?

– Хата с краю?

– Я Заступа, – напомнил Бучила. – Мне лешего или кикимору подавай, а в человечьи дела нос не сую.

– Зачем тогда поперлись на хутор ни свет ни заря? – удивилась Лаваль.

– Бабу мертвую будем ловить. – Рух многозначительно воздел палец.

Непроницаемая черная чаша прохудилась решетом тысяч солнечных зайчиков. Тьма поползла рваными лохмами, стараясь укрыться у корней и в кучах сырого валежника. Трава на лугу вокруг хутора слезилась росой. Теплый ветерок уносил охвостья тумана к болоту.

Недоброе Бучила почуял, увидев выбитую ко всем чертям дверь, расщепленную и повисшую на петле.

– Не лезь наперед. – Он удержал рванувшуюся графиню и осторожно вступил на крыльцо, медленно, пядь за пядью, обнажая благоразумно припасенный тесак. Внутри колыхалась могильная полутьма, смердящая опорожненным кишечником, гнилью и медом. Под ногами хрустели осколки посуды. Стол и лавки перевернуты, из раскрытого сундука кишками повисло белье, посередине разбитый горшок в луже пролитых щей. И кровь, всюду кровь. Багровые подтеки на полу, мелкие брызги на стенах и белом боку русской печи. Тягучие капли нитками застыли на потолке. Красный угол разорен, иконы сброшены, расколоты в щепки и загажены жидким дерьмом. Кто-то или что-то билось тут в приступе ненависти.

– Ого, – хмыкнула протиснувшаяся следом графиня.

– Не успели. – Бучила прошел по избе, заглянув в каждый угол. Никого не было.

– Мертвечина постаралась? – осведомилась Лаваль.

– Не похоже, – отозвался Рух. – Заложные не забирают тела и запасов не делают. Убить – да, утащить – нет.

– Падальщики?

– Скорее всего. – Бучила застыл, увидев обломки деревянного меча на полу. Перед глазами встал Филиппка, защищающий мать и

приемного отца. Маленький, храбрый, теперь уже мертвый поди. Рух почувствовал легкий, мгновенно улетучившийся приступ вины. Степана предупреждали – он не ушел, поставил жизни жены и парнишки на кон, какой теперь спрос?

На улице послышался глухой перестук конских копыт, и Рух с графией поспешили выйти из залитой кровью избы. Из рассветной дымки шагом выплыли всадники во главе с нахальным ротмистром Вахрамеевым. За ними бежали несколько пеших с собаками в поводу. Охотничья команда по отлову падальщиков прибыла.

– Доброе утро, сударыня! – Вахрамеев сорвал потасканную шляпу, демонстрируя кое-как расчесанные сальные кудри. – Упырь, ну и рожа у тебя мерзкая.

– В жопу иди, – отозвался Бучила.

– Приветствую, мой герой! – кокетливо пропела Бернадетта.

Псы в шипастых ошейниках натянули поводки и угрожающе зарычали на дверь.

– Ночью напали на хутор, – Рух кивнул за спину. – Внутри все вверх дном и кровищей залито. Бортник, жена и ребенок пропали.

– Дикари, суки. – Ротмистр спрыгнул с лошади, звякая шпорами, взбежал по ступенькам и заглянул в дом. Лицо искривилось. – Точно, их работенка. Сволочь. Мне шестнадцать было, только в полк поступил, а тут тревога. Прилетели в Радомино, сельцо за старым московским трактом. Темнотища, а горизонт оранжевым полыхает, избы в огне, только угли щелкают. В полночь падальщики перебрались через тын, порезали спящую стражу и устроили карусель. Мы подскочили, да поздно, на воротах баба распятая, живот вспорот, а внутри нерожденный ребенок шевелится. Я после этого месяца два спать не мог, снилось всякое, навидались такого, не приведи Господь Бог. Село горит, по улицам трупы навалены, половина без голов, поручик Бахтин, на год младше меня, так не поверите, словно лунь в один момент поседел. На службу вернуться не смог, повредился башкой, теперь если увидит огонь – в корчах падает и воет ночь напролет.

Ротмистр замолчал, бездумно глядя на хутор и играя желваками.

– Вы их догнали тогда? – нарушил молчание Рух.

– Какое там. – Вахрамеев пришел в себя. – Болотами паскуды ушли, мы сунулись, потеряли двоих. – Ротмистр повысил голос: –

Яков!

– Тут, ваше благородие! – откликнулся опальный псарь.

– Из кожи вон вывернись, а след мне сыщи.

– Будет исполнено, ваше благородие!

Псы, неистово рвущиеся с поводков, ткнулись мордами в землю и принялись выписывать пересекающиеся круги.

– Устроим погоню! – Вахрамеев сжал кулаки. – Далеко мрази вряд ли ушли.

– Есть шансы, что люди живы? – спросила Лаваль.

– Призрачные, – отозвался ротмистр. – Падальщики любят свежее мясо на своих ножках гнать, пока не сожрут. У меня вчера двое разведчиков не вернулись, вот теперь и гадай. Может, заблудились, а может, того...

– Или запили, – предположил рейтар с повязкой, закрывающей левый глаз. – Фролка Кузьмин своего не упустит.

– Есть след, ваше благородие! – заорали от леса.

Трое псарей присели на опушке, удерживая скулящих собак.

– Гляньте. – Яков протянул на ладони обрывок грязного кожаного шнура. Бучила матерно выругался. На шнурок были нанизаны отрезанные человеческие уши, сморщенные, почерневшие, высохшие. Чудесное ожерелье работы неизвестного мастера.

– В темноте обронули, – кивнул Вахрамеев. – Украшения такие у них, отсекают пальцы, носы, уши, херы – и на шею, кто во что горазд. Особенно головы уважают, уносят с собой как доказательство доблести и в дар своим темным богам. А еще любят кожу снимать с лиц и темени с волосами. Твари, одним словом, хуже нечисти и зверья. Сударыня, вы с нами?

– Разве могу я упустить такую возможность! – Лаваль не отрывала взгляда от кошмарного ожерелья.

– Упырь? – Вахрамеев перевел взгляд на Бучилу.

– Может, не будем горячку пороть? – осторожно предупредил Рух. – Мало нас, и неизвестно, что за клятва впереди. Я, может, и выкручусь, вас жаль, дураков.

– Черная рота не отстывает. – Ротмистр горделиво задрал нос.

«Потому как мозгов нет», – подумал Бучила.

Никуда идти ему, естественно, не хотелось, особенно преследовать людоедов и живодеров по топям и дремучим лесам, в

которых дикари как рыба в воде. С одной стороны, успокаивало присутствие Черной роты, с другой, ухватить в чаще стрелу в брюхо проще всего. Оно, конечно, упырю не смертельно, но под шумок можно лишиться ушей. Бучила машинально потрогал себя за острое ухо. Такие красивые каждому дикарю захочется хапнуть.

Рейтары спешили, конному в лесу пути нет. Солдаты поправляли снаряжение, лязгали сталью, проверяя клинки и заряжая пистолы. Обычная предбоевая суета опытных в ратном деле людей. Собаки с лаем ринулись в лес.

– Держитесь меня, сударыня. – Вахрамеев без жеребца оказался низенек ростом, Бучиле едва по плечо. Пф, недомерок бойцовский. Колонна втянулась в чащу. Веселая погоня продолжалась саженой с полста. Впереди слышалась удивленная брань.

– У, сука! – Яков замахнулся концом поводка на здорового черного кобеля. Пес пятился задом, поджимая обрубленный хвост. Две другие псины тихонько скулили.

– Встали, душу етить, – доложил Яков. – Марут, чтоб тебя!

Черный кобель жалостливо подвыл.

– След потеряли? – осведомился ротмистр.

– Какое там! – Псарь остервенело рванул поводок. – След свежихонький, а брать не хотят.

– Почему?

– А кто его знает, животную эту! Марут!

– Романовские болота помните? – спросил второй псарь, угрюмый детина с золотой серьгой в левом ухе. – Аккурат так же себя собачки вели. Выли и за спины прятались, а оказалось, тот след костомеха оставила, а псины умные, не хотели за мертвечиной нечистой идти. Чуют они.

Рух и графиня переглянулись. Лаваль сделала страшное лицо и едва заметно кивнула на ротмистра. Бучила отрицательно мотнул головой. Кто его знает, что собакам причудилось, рано по такому пустяку солдатиков заложным пугать. Тем более про откопавшуюся убитую жену бортника это ведь только предположение одно. Может, мертвечиха увязалась следом за падальщиками, а может и нет, тут бабушка надвое наплела.

Испуганных псов угрозами, лаской и пинками заставили снова взять след, незримо вьющийся среди замшелых валежин и гнилых

ямищ, забитых прошлогодним листом. Елки застили солнце, вытягивая мохнатые лапы до самой земли. Спустя полчаса хорошего хода Бучила окончательно убедился, что охота не для него. Скука смертная – переться по буреломам, постоянно озираясь по сторонам. Глаза резало от напряжения и попыток рассмотреть хоть что-то в коричнево-зеленом месиве веток, стволов и склизких коряг. Под ногами пружинил подозрительного вида мох, сочащийся грязной водой. Того и гляди ухнешь в болото, и поминай как зовут. Отряд растянулся длинной цепочкой: впереди псы, за ними шесть спешенных рейтар с короткими кавалерийскими мушкетами наперевес, в середине Бучила, пребывающая в полном восторге Лаваль в компании бравого ротмистреныша и замыкающими снова четыре рейтара. Шли в полном молчании, время от времени останавливаясь и подолгу вслушиваясь в тревожную тишину.

Когда казалось, что уже ничего не произойдет и они без толку меряют версты, псари остановились, послышался сдавленный мат. На краю залитой солнцем полянки к сосновым стволам были привязаны два человека. Вернее то, что осталось от них. Бучила подошел ближе. Мужикам выпала лютая смерть: с лиц срезана кожа, глаза выколоты, разорванные рты распахнуты в крике, животы вспороты, внутрь набиты шишки, листья, комья земли и сухая трава. У одного не хватало руки, у второго обеих ног. Вырезаны куски мяса с груди и боков. Кровь давно запеклась багровой, треснувшей коркой.

– Это Фрол, – выдохнул Яков, застывший возле безногого мертвеца. На плече под слоем грязи и крови синела татуировка – голая баба с огромными сиськами в объятиях бравого усатого молодца.

– Точно Фрол. Он эту бабу в честь псковской кампании наколол. Побили ребят. – Высокий рейтар со сломанным и криво сросшимся носом стащил шляпу. Остальные повторили скорбный ритуал.

– А второй Алекса, видать, – хмуро кивнул Яков. – Ох и обезобразили, сволочи. А он только женился, супруга дома брюхатая ждет.

– Тела снять, – велел Вахрамеев. В глазах ротмистра застыла тьма. – На обратном пути заберем.

– Если будет путь этот, обратный, – проворчал седой солдат, раскачивая и выдирая удерживающий мертвеца деревянный кол. Чавкнуло – то, что осталось от Фрола, упало на руки однополчан.

– Это предупреждение, – глухо обронил Бучила. – С умыслом оставили за собой. Далее хода нет.

– Ага, как же, напугали, ублюдки, – скривился ротмистр, в глазах запрыгали сумасшедшие искорки. – Из-под земли мне тварей достать!

Робкие надежды Бучилы на возвращение домой развеялись в прах. Изуродованных мертвецов бережно сняли и уложили рядком, забросав от зверья еловыми лапами и травой. Заболоченный лес дышал влажным смрадным теплом. Вековые ели закрыли солнце, обрастая понизу плесенью и серым грибом. Упавшие исполины утопали во мху, вспухая гнилыми наростами изнутри. Попадались огромные, в два обхвата, березы, треснувшие, почерневшие, с чудом сохранившимся на вершинах жидким листом. На грубой и толстой бересте Рух видел заплывшие, едва различимые руны, вырезанные, должно быть, когда деревья еще были молодняком. Изредка в чаще верещало и ухало, и тогда отряд замирал, ошестинившись сталью. След, вдоволь попетляв между крохотных озер с застоявшейся протухшей водой, вывел к оврагу, густо заросшему чахлым папоротником и кривыми елками, с болезненной, отходящей пластами корой. Верхушки с пожелтелой, затянутой паутиной хвоей клонились вниз, образуя арку, полную стылого полумрака и жидких теней.

«Жутковатое место, – подумал Бучила. – Неужели пойдем сквозь него?» Слава Христу, ротмистреныш оказался не таким дураком.

– Яков, Михайла, Никита, Савва, берите собак и в две пары прочешите мне склоны, – приказал Вахрамеев.

Люди и псы бесшумно растворились в зарослях, и наступила тревожная, изматывающая душу тишина. Рух слышал, как у напряженно замершего рядом солдата колотится сердце и кипящая кровь набухает в висках. Это не было страхом, вовсе нет. Это было ожиданием боя, запаха смерти и криков. Так охотника колотит при виде добычи. Бучила внезапно поймал себя на мысли, что ведет отсчет: сто один, сто два... Лаваль крутила головой во все стороны. Сто двадцать, сто двадцать один... Ротмистр кусал губы, побелевшим кулаком сжимая эфес. Сто пятьдесят четыре... Остервенелый собачий лай вспорол зыбкую тишину где-то по левому склону оврага. Стеганул отрывистый выстрел.

– К оружию, м-мать! – завопил фальцетом ротмистр.

Рух едва не упал, столкнувшись с рейтаром. Солдаты поспешно выстроились в крохотное каре. Бахнул второй выстрел. Теперь справа. Неистовый лай оборвался душераздирающим скулежом и затих.

Слева затрещало, из зарослей выскочили Никита и Савва с перекошенными лицами и дикими глазами. Савва рывками волочил упирающегося всеми лапами пса с клочьями пены на оскаленной морде.

– Пададь, пададь там! – заорал Никита. Разведчики заскочили в квадрат. – Засада, ваше благородие! – Никита дрожащими руками перезаряжал пистолет, просыпая порох и сдавленно матерясь.

– Корчун, лапочка, издаля их учуял, тем и спаслись! – Савва похлопал пса по лоснящейся голове. В глазах «лапочки» застыло желание убивать. – Сверху сидят, думали, невидимы, гниды!

– Никит, глянь, это чего у тебя? – спросил седой рейтар. У разведчика над левой лопаткой засела короткая, выкрашенная черным стрела.

– Ох, епт, – удивился Никита, посмотрев за плечо. – Думал, комар укуси...

В елку над головой Руха с глухим стуком вонзилась стрела. Вторая отскочила от нагрудника рейтара, стоящего впереди. Вахрамеев, опередив Бучилу, прикрыл графиню собой. Коротышка драный! От диких воплей заложило уши, среди деревьев замелькали быстрые тени, и Рух впервые увидел падальщиков. Страшные байки не ввали, дикари мало напоминали людей – косматые, полуголые, раскрашенные черными и синими полосами, грязные, ряженные в сальные шкуры, с лицами, скрытыми масками, похожими на мерзкие хари разложившихся мертвецов.

– Огонь! – Приказ Вахрамеева утонул в грохоте выстрелов и пороховых облаках. Несколько падальщиков покатались по мху. Бучила, не собиравшийся вступить врукопашную, на всякий случай вытянул из ножен тесак. Побледневшая Лаваль вскинула руку – от ведьмы пошел холодный поток, след творящегося колдовства. Бегущий дикарь с двумя отрезанными головами у пояса резко остановился, выронил копье с широким зазубренным наконечником и засипел, тараша выпадающие глаза. Сделал шаг, шея изогнулась под невыносимым углом, и он повалился на обмякших ногах.

– Держать строй! – завопил ротмистр. Падальщики налетели смердящей, истошно улюлюкающей толпой. То, что Рух издали принял за маски, оказалось безобразными рожами. Безумцы уродовали себя, обрезая носы и губы, обнажая рты в вечном оскале гнилых, хищно заостренных зубов. Жутко лязгнула сталь, падальщики взвились в высоких прыжках, стремясь ворваться в каре и умирая под ударами багинетов и палашей. Вооружены дикари были всякой дрянью: ржавыми мечами, каменными топорами, дубинками и прочей клятней. Хорошего железа Рух не заметил. К его ногам упал людоед с раскроенной башкой. Из треснувшего черепа плеснули расквашенные мозги. Щеку опалил холод – Лаваль творила новое заклинание, не успевала и оттого злилась больше прежнего. «Хер в такой свалке поможет твое колдовство», – злорадно подумал Бучила. Рейтары отбивались молча, прикрывая друг друга, дикари наседали как одержимые, с воплями и скулежом. Здоровенный падальщик в плаще из сшитых человеческих лиц, с рожей, обезображенной мокнущей опухолью, рубанул крайнего солдата причудливо изогнутым, похожим на кусок сырого мяса, клинком. Рейтар завалился, рассеченный до пояса, кровь фонтаном ударила из оборванных жил. Вахрамеев пальнул почти в упор, верзила дернулся, скорчил морду и ударил наотмашь. Ротмистр успел обнажить палаш, лязгнуло, оружие Вахрамеева разлетелось осколками, и он упал, закрывая руками лицо. Дикарь навис сверху, занес меч, коротко хрюкнул и повалился на Вахрамеева.

– Не помешал? – Бучила, возникший из сечи, раскачал и вырвал застрявший среди ребер тесак.

Ротмистр хрипел, придавленный вонючей тушей. Бучила, брезгливо морщась, отвалил тяжеленного мертвеца. Схватка закончилась, уцелевшие падальщики отхлынули в чашу, бросив убитых и раненых. Мертвыми Рух насчитал семерых, ранеными двоих. Дикарь с длинной, смазанной жиром косой полз, хватаясь за траву и волока клубок вывоженных в грязи потрохов.

– Гляньте, жить хочет, паскудина, – хохотнул седой рейтар и наступил на кишки. Падальщик застонал и свился в клубок. Пощады он не просил. В глазах тлели ненависть и сосущая пустота.

Бучила хмыкнул при виде жутко обезображенного лица. Ага, а говорят, что упыри страшные. Все ведь врут, сукины дети! По

сравнению с этой образиной вурдалаки милашки, каких поискать! Рух подобрал с земли чей-то оброненный пистолет.

– Куда собрался, красавчик? – Рейтар нехорошо ухмыльнулся и ударом приклада размозжил падальщику башку. Хлюпнуло, череп лопнул перезревшей тыквой, челюсть съехала на сторону, правый глаз вытек, повиснув на щеке склизким комком. Дикарь все еще жил, руки бессмысленно царапали мох. Следующий удар окончил мучения.

Второй раненый падальщик корчился среди корней, харкая кровью и зажимая огнестрельную рану в покрытом ритуальными шрамами животе. Сквозь пальцы толчками брызгала черная жижа. Пуля разворотила печень.

– Этот у меня долго мучиться будет. – Никита оскалился, на ходу доставая узкий, с волнистым лезвием нож. Рух прицелился и выстрелом снес раненому башку.

Никита замер, перевел тяжелый взгляд на упыря и прорычал:

– Пожалел? Ну-ну. Они-то не пожалеют тебя.

– Они – нет, – согласился Бучила. – А вдруг кто другой – да? Все под Богом ходим. Нет, я, конечно, сам не прочь над умирающим покуражиться, но мы тут вроде торопимся, не?

– Упырь дело говорит, – кивнул перекосившийся на бок ротмистр. – Отдохнули и будет!

Среди рейтар убит был один, трое ранено. Одному вскользь досталось костяной палицей по башке, ничего смертельного, но смотреть было страшно – сорванный с темени лоскут кожи кровавой лохмотухой напознал на глаза. Второму досталось копьем в бедро.

– Идти сможешь? – спросил солдата ротмистр.

– В огонь и в воду, – отозвался боец, закусив до крови губу.

Третьим раненым был Никита, вполне освоившийся со стрелой в спине.

– Че пялитесь, помогите, суки, – окрысился он, попытавшись сцапать древко через плечо.

– Тебе и так красиво, будешь в Новгороде перед бабами красоваться. – Савва раскачал и вырвал стрелу. – Слабенький лучишко попался, едва на полпальца в мясо зашло.

– Жжет, сука, – Никита поморщился.

– Промыть надо.

– Ниче, как на псе заживет, не впервой. – Никита пошатнулся, упал и забился в траве. Солдатня окружила товарища, не зная, что предпринять. Никита дернулся, выкашлял багровые сгустки и затих.

– Отмучился раб божий Никита, – сообщил Савва, проверив дыхание.

– Гляньте. – Седой показал подобранную стрелу. По середке костяного наконечника пролегал желобок, заполненный смолистой гнойно-зеленой бурдой.

– Вытяжка из крови ядовки, – со знанием дела сообщил Савва, понюхав наконечник, и зашвырнул стрелу подальше в кусты. – Противоядия нет. Падаль на такие дела мастера.

Рух посмотрел на мертвых дикарей уважительно. Шутка ли, вытяжка из крови болотной ядовки – твари скрытной, злобной и смертельно опасной. Только полный безумец с напрочь разложившимися мозгами может устроить охоту на ядовку и выйти из нее победителем.

– А этот, страхолюдина, паршивый весь, как бы заразу не подцепить. – Рейтар кивнул на падальщика, героически убитого Рухом. Здоровяк валялся плашмя, лишив сомнительного удовольствия любоваться обезображенной рожей. Правая рука высохла, среди отмершей плоти проглядывала желтая кость. От плеча по телу расползались губчатые наросты, сочащиеся белесой дрянью с запахом протухших яиц.

– Эти его в душу, вы гляньте! – Савва ткнул под ноги.

Рух только сейчас вспомнил про странное оружие падальщика, и у него скрутило живот. Во мху валялся похожий на застывшую молнию меч: зазубренный, хищно кривой, безобразно уродливый, сплюснутый из железа, кости, камня и дерева, одним своим видом внушающий отвращение и удушливый страх. Подобие рукояти обмотано полосками кожи и со вкусом украшено темляком с десятком человеческих и звериных клыков.

– Чертов клинок! – ахнула Лаваль.

Рейтары отшатнулись, крестясь и нашептывая молитвы, кто-то едва не упал. Так пугаются прокаженного или чумного. Рух жадно подался вперед. Надо же, Чертов клинок! Вот уж не чаял. Пагуба отгремела почти четырьестя лет назад, но до сих пор напоминала о себе, время от времени открывая проходы-нарывы в мир кромешной

тьмы, умертвий, демонов и тварей, ненавидящих солнечный свет. Никто не знал, где возникнет и сколько будет продолжаться Нарыв. Самый длинный из попавших в летописи длился шестнадцать часов, и за это время почти полностью исчезло Вестфальское королевство. Нарыв набухает и открывается, выпуская Гнилую бурю, или в просторечии Гниловей – порывы смрадного ветра, несущие смерть, пепел и черную пыль. Все живое, попавшее в Гниль, изменялось, теряло разум и разлагалось живьем. Гниль мимолетна, и от нее можно спастись, но следом из Нарыва могли прорваться чудовища. А могли и не прорваться, тут уж как повезет. Порой Нарыв выбрасывал артефакты – необычную посуду, загадочные инструменты, жуткие украшения и тысячи других странных и опасных вещей. А иногда, очень и очень редко, из Нарыва выпадал Чертов клинок. Говорят, сам Сатана выбрасывает проклятое оружие, не в силах с ним совладать. Ученые, напротив, полагают, что Чертовы клинки возникают при столкновении чудовищных колдовских сил в месте Нарыва. Но в одном были уверены все – появившееся из иномирья лучше обходить стороной...

– Изничтожить надо. – Седой рейтар сплюнул.

– Хер там, – осадил изничтожалыщика Рух. – Это моя добыча.

– Не трогай, пожалеешь, – предупредила Лаваль, не сводящая глаз с уродливого меча.

– А у меня судьба такая – творить всякие непотребства, а потом об этом жалеть. На том и стою! – Бучила многозначительно воздел палец. – Между прочим, я таким макарон в эти дебри иметые и угодил.

Он осторожно, словно воруя из церкви серебряный крест, взялся за странно теплую рукоять и прислушался к ощущениям. Ничего не произошло, и Бучила даже расстроился, ожидая жутких корчей, ожога, укуса или другой подобной клятни.

– Ну, видели? Не так страшен бес. – Рух взмахнул неожиданно легким клинком, приведя в ужас рейтар. Несмотря на непривычные угловатые формы, меч сидел в руке как влитой.

– Любой университет душу продаст за такой, – сказала Лаваль.

– Знаю я заумей этих, – отозвался Бучила, изучая набор клыков, висящих на темляке. – Возьмут на время поизучать, а потом ищи ветра в поле. Ему же цены нет. На, ротмистр, поддержи. – Он в приступе доброты протянул меч Вахрамееву.

– Отвяжись, упырь. – Ротмистр опасливо убрал руки за спину, и Рух прекрасно понимал почему. Чертовы клинки несут угрозу, разрушая душу и тело владельца, и мертвый падальщик поручкой тому. Бучила не боялся, наоборот, хотелось проверить себя. Каждый Чертов клинок уникален, постепенно и незаметно открывая свой дар. Легендарный Буресвет французского короля Людовика наносил смертельные раны демонам, Несущий смерть первого маршала Испании Гаиски Валерона повергал противников в ужас. Вот и этот надо проверить. А выбросить поганую железяку никогда не поздно. Наверное.

– Держись от меня и моих людей подальше, упырь, – предупредил Вахрамеев и повысил голос: – Выдвигаемся!

– А бошки? – Седой хмуρο кивнул на мертвецов.

– Бошки потом! – отрезал ротмистр.

Рейтары заворчали, но подчинились, а говорят, дисциплина – не самая сильная сторона Черных рот. Рух уважительно хмыкнул, зная, что рейтарам платят за каждую голову.

– Якова с Михайлой нет, – едва слышно сказал Савва.

– Значит, пойдем вдоль оврага за ними. – Ротмистр дал отмашку.

Пропавшие нашлись саженой через сто. Якова опознали лишь по одежде. Обезглавленный псарь лежал на спине в луже крови, лохмотья шеи жутко белели размочаленным позвонком. Михайла съехал по склону, оставив след в смятом папоротнике и уставив в небо крест-накрест разрубленное лицо. Дымчатый кобель, покрытый десятками колотых ран, коченел, подмяв мертвого падальщика под себя. Клыки железной хваткой сцепились на горле врага. Уходя, их положили вместе, людей и мертвого пса. И шум студеного ручья напоминал скорбный девичий плач.

Дальше шли по склону, вниз ротмистр отрядил только двоих и собаку. Ждали новой засады, но лес огрызнулся и тревожно затих. Овраг остался позади, попадались звериные тропы и буреломы, заросшие брусникой и сосновым молодняком. След петлял и выкручивался спиралью. Бучила первым почуял жуткую вонь. К гнилому дыханию близких болот исподволь примешался смрад разложения, запекшейся крови и горелых волос. Деревья стояли голые, листья свернулись и высохли, хвоя порыжела, мох серой пылью крошился под каблуком. На пути попался громадный, Руху по грудь,

муравейник, покинутый обитателями. Чахлый подлесок гнил на корню, устилая землю склизким ковром. Нечто, притаившееся в смрадной и теплой лесной глубине, разрасталось болезненной опухолью. Страх неведомого глодал людей, подтачивал изнутри. Притихла даже Лаваль. Собаки ставили лапы опасно, словно боясь испачкаться в невидимой липкой грязи.

– Чуешь, упырь? – прошептал Вахрамеев.

– Да тут разве полудурок не учует какой, – отозвался Бучила. – Нехорошее место и недавно совсем завелось, иначе я бы узнал.

– Плохо за порядком следишь, – подначил ротмистр.

– Пф, не ты первый мне такую клятню говоришь. Знаешь, где говорилышки те? Вот и не надо тебе. Плохо слежу. А кто хорошо? Власть новгородская? Той и вовсе плевать.

– Было бы плевать, нас бы тут не было.

– Ага, заливай. Вы тут за головами охотитесь, остальное вам мало волнительно. Два дня вокруг крутитесь, а успехов словно котенок нассал. Полевика несчастного зарубили? Так никакого геройства в том нет. Вас дюжина, а я один, две руки, две ноги, одна голова, жизней нет запасных. Ну обаяния поболее, чем у других. Село стоит? И на том спасибо скажи.

Вахрамеев спорить не стал. Жуткий запах усиливался, графиня прикрыла лицо тонким платком. Собаки беспокоились и жались к ногам. Савва, идущий первым, остановился и плавно присел. За посеревшими мертвыми елками угадывалась острая крыша. Низкую, заросшую бурьяном землянку было не разглядеть шагов с десяти. Жилище выдавала только повисшая в воздухе густая тошнотворная вонь.

– Вот где падаль свила гнездо. – Ротмистр вытащил пистолет, жестами приказал своим взять хибару в полукольцо и шикнул на Руха: – Куда? Рядом будь.

– Ты мне не указчик. – Бучила обошел кучу сырого валежника и едва не свалился в глубокую яму. Будь он беременным, тут бы, скорее всего, и родил. На дне ямины, увитой бахромой еловых корней, разлагалось мелкое лесное зверье. Жидкая смрадная каша из гнилого мяса, отслоившейся шкуры, роющихся опарышей и голых костей. От миазмов заслезились глаза даже у видавшего виды Бучилы. Он чуть отступил, просыпав в яму комья земли. Лежащая сверху то ли норка,

то ли куница, хер ее разбери, шевельнулась, и Рух поспешно заморгал, прогоняя видение. Казалось, разорванное напололам тельце шевелилось от кишасших внутри белесых червей. Бучила удивленно вскинул бровь. Зверек перебирал передними лапами, открывал крохотную пасть и вращал мутным глазом. Хлюпнуло, наружу выпросталось пятнистое, ободранное, изляпанное черной слизью крыло. Поверхность гнилой жижи пришла в движение, чавкая и пузырясь. Рух инстинктивно отдернулся. Происходящее нравилось все меньше и меньше.

– Мертвые и в то же время живые, – прошептала неслышно возникшая рядом Лаваль.

– Есть места, где мертвые поднимаются, но это другое, – откликнулся Рух, не сводя взгляда с бурлящего месива. – Мразина какая-то балует, и я буду не я, если сучаре этой ручонки шелудивые не оборву.

Позади землянки просматривался покосившийся навес, а под ним клетка из неошкуренных еловых жердей. У Руха екнуло сердце. В углу клетки, тесно прижавшись друг к другу, сидели Степан и Филиппка. Перепуганные, окровавленные, но живые! И вроде даже при ушах и носах. Отчим неумело прижимал пасынка к груди и гладил по спутанным волосам. Бучила подавил желание броситься на выручку. Валявшаяся рядом с клеткой черная груда, поначалу принятая за кучу гнилого тряпья, шевельнулась и звякнула цепью. Разложившийся мертвяк с ошметками плоти на почерневших костях и клочками длинных волос, облепивших череп, конвульсивно задергался. Мертвец сгнил насквозь и мог только ползти, цепляясь высохшими руками и чуть слышно скуля. Заложный попытался добраться до Степана, но цепь натянулась, отбросив тварюгу назад.

– Эта гадина по твоей части, упырь, – сказал охрипший от напряжения Вахрамеев. – А вот эти по нашей.

Из-за землянки вышли трое еле ковыляющих падальщиков, раненые и залитые кровью. Остатки засады в овраге, и ничего бы тут страшного, если бы следом на свет божий не выбралось страшилище, коих Рух еще не встречал: мальчишка-подросток, невысокий и щупленький, умерший не больше недели назад, а оттого шустрый и бодренький, с собачьей башкой, старательно пришитой рядом со своей головой. Обе головы были живые, человеческая вращала черными

глазами и разевала в немом крике рот, собачья щелкала пастью и пускала зеленую отвратительную слюну. Заложный припадал на бок, и Руху окончательно поплохело. Левая голень мертвеца была заменена на собачью лапу. Два колена, свое и собачье, сгибались и пружинили в разные стороны. Руху на память тут же пришли странные следы вокруг Рычковского хутора: человеческий – собачий – человеческий – собачий... Как там Филиппка сказал? «Дяденька с собачкой гуляли». Ага, догулялись, видать... Вместо ладоней у мертвяка хищно кривились ржавые иззубренные серпы.

Крик Вахрамеева утонул в залпе, кромку поляны затянул душливый дым. Пороховое марево унес ветерок, падальщики скорчились на земле. Один еще дергался, подгребая сухую хвою под себя. Человек-собака медленно приближался. Оно и понятно: обычные пули ему нипочем. Рух вспомнил свои обязанности и прыгнул, размахивая Чертовым клинком. А если счастье подвалило и он нечисть всякую с одного удара сечет? Навстречу мелькнули серпы, руки трянуло. Ага, сука, жди, меч оказался не из таких, кривое лезвие намертво застряло в груди у мертвяка. Рух дернулся, чуть не столкнувшись с заложным, серп рванул балахон на груди, собачья пасть щелкнула клыками, опалив лицо кислым смрадом. Сбоку возник Вахрамеев. Бахнуло. Тяжелая пуля отбросила мертвяка, снес нижнюю челюсть и половину тронутого гнилью лица. Бучила выпустил липкую рукоять Чертова клинка, выхватил верного Поповича, снес собачью башку и, войдя в раж, принялся лупить по чем попало, под звук рвущейся плоти и трещащих костей. Мертвяк пошатнулся и упал. Так тебе, сука! Рух наступил на теперь уж точно мертвое тело и, раскачав, с усилием вырвал Чертов клинок. Вот ведь бесполезная хренотень!

– Теперь в расчете, упырь? – осведомился самодовольно ухмыляющийся ротмистр.

– Ни клята, – огрызнулся Рух. – Падальщик бы тебя точно прикончил, а эта сранина мне – тьфу – на единый хамок.

– Заступа! Заступа! – Филиппка приник к прутьям клетки.

– Я сейчас, обожди, малой. – Бучила, вооруженный сразу двумя мечами, словно затраханый сказочный богатырь, повернулся, собираясь прикончить тварь на цепи. Заложный, оказавшийся бабой, жутко скалился, дергаясь так, что кольцо, вбитое в сруб, держалось на одних только соплях. Рух примерился для удара и, уловив смазанное

движение, отскочил, приготовившись к обороне. Тень, выскочившая из землянки, пронеслась мимо с тоненьким криком:

– Не надо! Не надо! Мамочка! – И прикрыла собой лязгающую челюстью тварь.

Рух поперхнулся, опознав пропавшую Варьку – голую, взъерошенную, измазанную свежей кровью и грязью. Образина жалась к девчонке, жалобно прискуливая и тягучими нитками пуская слюну.

– Варвара, ну твою мать! – Рух опустил клинки. – Нет, вы только гляньте!

– Не подходи, не подходи! – Варькины глаза налились угрожающей чернотой.

– Сколько живу, такого не видел. – Подошедший Вахрамеев сплюнул под ноги. Рейтары окружили землянку и ее обитателей.

– Это то, о чем я подумала? – Голос Лаваль мелко дрожал.

– Ага, то самое дерьмо, – согласился Бучила, картинка сама собой сложилась в башке. – Никак Варюшенька мамку усопшую подняла.

– Подняла! – с вызовом крикнула Варька, ничуть не стесняясь бесстыдной своей наготы.

– Ясно теперь. – Рух расплылся в нехорошей ухмылке. – Год назад была обычной соплюхой – вышивки, ленточки, куколки, мечты о принце на белом коне. А потом мать умерла.

– Он убил ее! – Варька обличающе указала пальцем на сидящего в клетке отца.

– Ведьмой она была, ведьмой! – взревел Степан. – Всю жизнь мне врала! Душу дьяволу продала! Варьку родила, а потом всех детей бесам несла! Роды подгадывала на лето, когда я все время с бортями, а как вернусь – рыдала, волосья рвала, убивалась по-всякому, дескать, умер ребеночек наш! А я, дурак, верил! На могилки ходил, сердце отцовское рвал, а в могилках тех куклы лежали!

– От наивная душа, или и правда мозгов от рождения нет? – удивился Бучила. – Думаешь, почему нечисть лесная тебя, обормота, пальцем не трогала, борти медом наполнились и пчел всякий мор обходил стороной? Жена детьми вашими выкупала удачу ради тебя. У всего своя цена, Степка – дубовая голова.

– Неправда! – Степан рванул клетку, хрустнули жерди. – Я за ней проследил, видел, как она дите бесу в лесу отдала!

– Ты совсем дурак? – вздохнул Рух. – Пчелы засрали башку? Неужели не увязал смерть жены и крах медового промысла? – Бучила перевел взгляд на Варьку, не обращая внимания на мертвечиху, попытавшуюся уцепить его когтищами за сапог. – А ты, ты видела, как отец убил и закопал мать. Ненависть и ужас открыли проклятый дар. Тлевшее в матери, в тебе разгорелось буйным огнем. Кого первого подняла?

– Кротика мертвого. – Варька потупила глаза. – Не знаю и как, в руки взяла, подышала, он и ожил. Чудо Господне.

– Ну естественно, чудо, только от Господа в нем с гулькин хренок. Следом собаку?

– Чернышечку моего.

– Но вот незадача, – Рух понимающе кивнул. – Любимый пес вернулся другим, удержать ты его не смогла, и тварь приперлась домой. Хорошо, отец успел лопатой прибить. Тут хоть однажды в жизни наш полудурошный Степашка не сплоховал. А ты, мелкая мразь, уже вошла во вкус, распробовала силу свою. Тут и подвернулся мальчонка. – Бучила посмотрел в сторону страшилы с собачьей башкой.

– Я помочь хотела, помочь! – Варьку трясло, она всхлипнула и зачастила: – Сдружились мы с Митенькой, он не хотел с дядьками страшными уходить, со мной хотел остаться, со мной.

– Отравила красавкой?

– Он... он со мной... – Варька редела, размазывая слезы и кровь по лицу.

– С тобой, с тобой, – успокоил Бучила. – Ты его откопала и подняла, добавив по вкусу куски любимого пса.

– Друг он мне, друг!

– Ну конечно, какой разговор? Когда дружат, завсегда пришивают серпы и собачью башку. – Рух кривенько улыбнулся. Варька верила в то, что говорила, это было страшнее всего. – И тогда ты взялась за главное дело: решила мать оживить, помнила место, где папанька труп прикопал. Но это уже не мать, а горе одно, того и гляди рассыплется в прах.

– Мама вернется! – убежденно выпалила Варвара.

– Да конечно, иначе и быть не может, – влез в разговор Вахрамеев. – Вы тут, гляжу, все такие умные собрались, так объясните

мне, олуху, падальщики тут откуда взялись?

– Они недавно пришли. – Варька стрельнула глазками на побитых дикарей. – Я испугалась сначала, а они хорошие, охранять взялись меня, помогать.

– Рыбак рыбака, – хмыкнул Бучила. – Падальщики как увидели, чем наша милая деточка занята, так и растаяли. Поди богиней почитали или вроде того.

Рух замолчал, осененный внезапной догадкой, и рывком распахнул дверь убогой землянки. Будь он послабже, все бы вокруг заблевал. Внутри воняло кишками и кровью, света почти не было, и Бучила обрадовался этой милостивой, благодостной полутьме. С низкого потолка густо свисали пучки трав и трупы животных, одни тронутые разложением, другие иссохшие до самых костей. Почти все пространство занимал кособоко сколоченный стол, занятый синюшным трупом, вспоротым от паха до середины груди. Внутренности, сердце, печень и легкие аккуратно разложены по глиняным мискам. Ввалившиеся глаза мертвеца слепо смотрели на Руха. Дарья. Он выдохнул, закрыл дверь за собой и глухо спросил:

– Хочешь мать в мачеху переселить и Филиппкиной кровью к жизни вернуть? Сама доперла, или кто подсказал?

– Сама!

– Башковитая сука. – Рух о таком только слышал. Чары крови и смерти – запретное и нечистое колдовство. Откуда это в ребенке? Мать была ведьмочкой из самых пустяшных, а эта дырка лысая вона вытворяет чего.

– Мы вместе будем, как прежде, нам не нужен никто! Папка, мамка и я! – Варька, безумно хохоча, распахнула клетку. – Семья мы, семья!

Твою мать! Рух, матерясь на чем свет стоит, отшвырнул девку, но мертвечиха уже втянула гнилое тело внутрь. Завизжал Филиппка. Степан заслонил мальчишку и саданул тварь кулаком. Заложная зашипела и вцепилась мужу в горло зубами. Бучила протиснулся в клетку и коротким ударом перерубил прорвавшие плоть позвонки. Бортник и лесная ведьма остались лежать в страшных объятиях, смерть соединила их отныне и навсегда.

Рух выгреб забившегося в угол Филиппку, крохотные ручонки намертво уцепились за балахон.

– Тихо, не реви. – Бучила вывел мальчишку из клетки и глянул на Варьку. – Что, не по-твоему вышло, тупая ты мразь?

Он хотел смазать девке по роже. Лаваль, словно почувствовав, накинулась коршуном, обняла Варьку за плечи и окрысилась на Бучилу:

– Не смей трогать ребенка! Она и так натерпелась. Ты моя деточка.

– Тварь она. – Рух немножечко успокоился.

– Не говори так! – взвилась графиня. – Это уникальный случай! Ты все видел!

– Сударыня, – всунулся Вахрамеев. – Тут, как вы заказывали, живехонький падальщик. Потрепан изрядно, но, может, сгодится?

Рейтары подволокли израненного дикаря, окровавленного, измочаленного, но вполне себе ничего.

– Да иди ты в жопу со своим сраным уродом! – взорвалась Бернадетта. – Не видишь, я занята?

Ротмистр сконфузился, отступил и едва заметно кивнул. Савва перерезал падали горло.

Возбужденная Лаваль развернула Бучилу к себе и, задыхаясь, закричала в лицо:

– Мне не встречался такой сильный дар! Понимаешь? Она одна на миллион, на два миллиона, на десять! Считалось, что в столь юном возрасте это невозможно! Ха! Я бы ни за что не поверила, не увидев сама! Феноменально! Уникум, уникам!

– Ага, талантливая паскуда, – согласился Бучила, совершенно не разделяя радости Бернадетты.

– Ты пойдешь со мной, девочка, все будет хорошо. – Графиня присела и принялась вытирать Варьке лицо.

Мелкая дрянь приникла к ведьме ласковой кошкой, посматривая на Руха зло и победно. А может, и не Варька смотрела, а древняя кошмарная тварь, вскормленная мертвецами и кровью.

– Ты совершаешь ошибку, – мягко сказал Бучила, пытаясь воззвать к здравому смыслу Лаваль.

– Новгородский ковен будет в восторге. – Глаза ведьмы были пьяными. – Девочка пройдет обучение, мы ограним этот алмаз!

– Вы будете управлять ею.

– Юному таланту нужен наставник, – парировала Лаваль. – Представь, что она сможет через десять лет, если уже сейчас, на одном голом инстинкте, способна на большее, чем некроманты, посвятившие темному искусству целую жизнь. Невероятная удача. Не зря, не зря я столько лет таскалась в это деревенское дно!

Рух послушно кивал. Перед глазами стояли армии живых мертвецов и кошмарные твари, сшитые из кусков звериных и человеческих тел. Пожары от горизонта до горизонта. Толпы послушных друзей с собачьими головами, по мановению руки владычицы разрывающие все на пути. И выхода не было. Пойти против Лаваль значило пойти против всех новгородских ведьм.

– Если вы не удержите ее в узде, сколько тысяч умрут? – спросил он.

– Да какая разница? – вспыхнула Лаваль. – Тебе не плевать? Представь, какие открываются перспективы! Идем со мной, и вместе подарим девочку ковену. Пойми, тебе больше никогда не придется защищать этих вонючих крестьян! Ты будешь свободен!

– Оно так. Чертовски заманчиво. – Бучила растерянно улыбнулся неизвестно чему и ударом тесака раскроил Варьке башку.

– Ты... ты... – Лаваль поперхнулась, не замечая плеснувших на лицо крови и жидких мозгов. – Ты...

– Я, – подминул ведьме упырь. – Подонок, чудовище, детоубийца, нечистая тварь. Рухом Бучилой зовусь. Давай, чернявая, не хворай.

Он подхватил Филиппку на руки и пошел прочь от заваленной мертвечиной поляны. На последствия было плевать. Сотней врагов больше, сотней меньше, хер ли с того?

– Ты идиот, вурдалак! – истошно завопила в спину Лаваль. – Ротмистр, взять его!

Рух остановился и медленно повернулся. Рейтары выжидательно смотрели на командира.

– Взять! – визжала Лаваль.

Вахрамеев нарочито безучастно спросил:

– На основании?

– Я так хочу! – полыхнула ведьма.

– Черной роте плевать на ваши хотелки, сударыня, – отчеканил ротмистр. – Черная рота подчиняется только своим командирам, к

числу которых вы не относитесь. Прошу меня извинить. Парни, рубите бошки и уходим, мы свое дело сделали.

– Да... да как ты смеешь! – Лаваль покраснела. – Я, я тебя...

– Нет нужды пугать меня, сударыня, – отозвался Вахрамеев. – Знаете, с одинокими дамами в лесу часто случаются всякие нехорошие вещи.

– Трус!

– Как вам угодно, сударыня. – Ротмистр отсалютовал Бучиле.

Рух подмигнул в ответ и неспешно продолжил свой путь. В затылке неприятно кольнуло, невидимая хватка попыталась сжать горло. Он вздохнул, легко отвел чары, снова оглянулся и вкрадчиво попросил:

– Не надо, лапуля, хватит на сегодня смертей.

– Ты ответишь перед ковром, упырь! – Бернадетту колотило от ярости.

– Я твой ковер в рыло драл, так им и передай. А если в причинном месте засвербит, знаешь, где меня отыскать. – Рух ощерил пасть, поудобней перехватил мальчишку и больше уже не останавливался.

Солнце садилось, причудливые тени легли на лесную тропу. Пахло приближающейся грозой. Филиппка прижался, сильно-пресильно стиснул шею и шепнул на ухо:

– А Заступой-то я больше быть не хочу.

– И правильно! – поддержал Рух. – Грязное это дело, и всей благодарности – осиновый кол. Но ты подумай, может, давай укушу.

– Не надо. – Филиппка шмыгнул носом. – Как же я без мамки теперь?

– Что-нибудь придумаем. Я тебя к Устинье определю.

– Ведьма которая? – всхлипнул Филиппка. – Батяка грил, на костре ее надобно сжечь.

– Ты при ней такое почаще говори, – предупредил Рух. – Она тебя из благодарности в поросенка оборотит, станешь подхрюнькивать. Хорошая она, хоть и строгая, научит людей и скотину лечить, всякую хворь отгонять. Сестра твоя сводная дарила смерть, ты будешь дарить жизнь. Станешь настоящим человеком, как Богом заведено, не всякой срани бесполезной чета. А спустя много лет, уложив в постель жену и детей, выйдешь на крыльцо в летнюю темноту и, прислушавшись к

тишине мирно спящего села, знай: Заступа рядом, Заступа не дремлет,
серебром и кровью замаливая грехи на страже мертвых во имя живых.

Алая лента

Слизываю присохшую кровь, гнилые кости грызу, умираю, а смерти нет. Крошу клыки камнем, а поутру снова зубаст. Лежа в могиле, внимаю насмешке черных небес. Молюсь, а кому – не ведаю. Господь и Нечистый одинаково глухи к моим исступленным мольбам. Порой будто слышу отклик, но в отклике том волчий подвизг и новый вопрос.

Проклятая каменюка нестерпимо резала зад, но Рух Бучила, известный гроза окрестной нечисти и всех смазливеньких баб, слезать не спешил. В великом терпении великое благо, за терпение воздастся и на небе, и на земле. А на облачка по нынешним лихим временам проще некуда загреметь. На дорогах и трактах лютовали разбойники и банды искаженных, резали купцов, грабили обозы, перехватывали почтовых гонцов, украшая деревья на перекрестках гирляндами обезображенных тел. Осмелевшие от безнаказанности шайки нападали на деревни и села, нахально стучались в ворота небольших городков, требуя откуп. К востоку от Новгорода горели леса, вонючий дым застилал небеса, и в столице нечем было дышать. Поговаривали, войска выжигают зараженные Скверной леса. Слухам верили, ведь черный дым вонял падалью, горелым мясом и волосом. Под Архангельском шторм выкинул на берег невиданную тварь размером с кита, вонючую, студенистую и на вид богомерзкую. Зеленое брюхо лопнуло, а внутри копошились зубастые черви длиною в сажень. Срочно вызвали ученых людей для замеров и изучения, но местным рыбакам на науку было плевать. Чудище обложили сушняком, полили маслом и от греха подальше сожгли. Ученые люди начали было орать, но быстренько успокоились, поглядев в честные глаза простых архангельских мужиков и на оставшиеся дрова. Все ж ученые люди, не какие-то там дураки.

На границах спокойствия не было. В конце июня в Бежецкую губернию вторглись московиты. Новгород начал стягивать войска, но на следующий день добрые соседи ушли, а из Москвы пришла велеречивая депеша с искренними извинениями и заверением в дружбе. Дескать, ошибочка вышла, потому как на данном участке за одну ночь таинственным образом исчезли пятьдесят три пограничных

столба. Виновные будут наказаны. Новгород, ясное дело, извинения принял, поспешив перебросить на опасное направление три пехотных полка и кавалерию герцога Кетлинского. В невиновность московитов поверили разве только юродивые, пускавшие слюни на паперти Знаменского монастыря. Разведка боем – поняли все. В воздухе как никогда запахло войной.

Рух лезвием Чертова клинка расшатал кусок древней кладки и бросил добытый камень в трясину. Мерзко хлюпнуло, пошла нестерпимая тухлая вонь, булыжник медленно погружался на дно. Клятски интересное занятие, ежели надоело следить, как солнце из зенита стекает за горизонт. Камень и болото – метафора всякого жизненного пути: побарахтаешься в жиже вонючей без всякого толка и тонешь, не оставив о себе никакого следа. Кругом, насколько хватало глаз, раскинулась буро-зеленая топь с редкими островками мертвых почерневших берез. Над головой нудело облако изголодавшихся комаров. Бучила, добрая душа, был не прочь крылатеньких покормить, все ж родственные кровопийные души, но охреневшие тварюшки им брезговали, отчего Рух затаил на носатых сук нешуточную обиду.

В Мглистые топи Бучилу неизбывная тяга к познанию завела. Ну и возможность пограбить, чего тут скрывать. Мглистые топи отродясь слыли местом проклятым, откуда не возвращался живым человек. По окраинам не косили траву, бабы не ходили по ягоды, а мужики не ловили рыбу в мелких торфяных озерцах. В сердце растянувшихся на версты болот заброшенным склепом высились развалины города. На руины Рух и купился, давно хотел посмотреть. Видами остался доволен. Над склизкой болотной жижей невесомо парили остатки игольчатых башен, арочные своды и растрескавшиеся громадные купола, заросшие ядовитым плющом, ряской и плесенью. Упоминаний про народ, построивший эти хоромы, не нашел даже ученый призрак Антоний. Развалины словно стояли тут от начала времен, вселяя ужас и суеверную дрожь. Тысячи лет грызла трясина камни, а сожрать не смогла. В остатках крепостных стен и дворцов жили древние чары и таились сокровища, привлекая лихих людей со всех концов Новгородской земли. Мглистые трясины надежно оберегали добычу: коварные, бездонные, полные жидкой грязи, чудовищ и старых костей. Рух давно порывался разведать окаянное место, и тут нежданно-негаданно повезло. Возле болота появились чужаки, и Бучила пошел

проверить, что за народ. Оказалось, причапали копали – охотники за диковинами и грабители древних могил. За старшего Тимофей Смага, собаку съевший на таковских делах. Разменял Тимофей шестой десяток, начинал еще с дедом и отцом, разорял чудские могильники, выметал подчистую заброшенные капища, раскапывал курганы на Ладого, ходил к Балтийскому морю, где вода вымывала из берегов чудесный солнечный камень янтарь и кости громадных чудовищ. Много раз хватал Тимофей удачу за хвост, добычу богатую брал, мог торговлю открыть, в купцы первой гильдии влезть, да не лежала душа. Влекли Тимофея непролазные чащи, кровавые схватки и блеск древнего серебра. Три года назад единственный сын Егор подхватил на могильном раскопе злую болезнь, слег с горячкой, метался в бреду, начал заживо гнить. Лекари помочь не смогли. Черное проклятие превращало Егора в ополоумевшую злобную тварь. Задушил Тимофей сына, не вынес мучений и после этого окончательно сорвался с цепи. Лез в самые паскудные дыры, со смертью, как с котенком, играл. С последнего дела вернулся один: грязный, в лохмотьях, покрытый кровавой коркой и рваными ранами, принес в горсти три жемчужины черные. Любой из них хватило бы терем в два этажа прикупить. А Тимофей отлежался, кровью похаркал, пропился без остатка, начал новую ватагу искать. Сманил троих молодых и не больно удачливых копалей – Федьку Шелоню, Анисима Булыша и Матвейку Притыку. На мелочи размениваться не стали, поперлись в глубь Мглистых трясин дорогу искать. Проблуждали по краю неделю, чуть не утопли, наткнулись на овраг, полный живых мертвецов, нашли разложившуюся тушу чудовища с тремя головами и множеством глаз в самых непотребных местах, видели в тумане костлявые фигуры ростом выше берез, совсем уж отчаялись, но тут, к обоюдной выгоде, встретили любознательного и свободного от всяких дел упыря. Сговорились быстро, ударили по рукам, Бучила обещал привести на развалины и, что важно, вернуться обратно, получая десятую долю добычи взамен. Всем хорошо. Сказано – сделано, Рух вурдалачьим чутьем отыскал вьющуюся среди трясины тропу, избежал дремлющих в гнилой глубине страховидл и теперь сучал, забавляясь утоплением каменных глыб в зловонной бурде. Копали, пошарив в округе, натаскали груды заржавленных железяк, зеленых костей и битой посуды. Часто этим добыча и ограничивалась. Но только не когда дело брал в свои руки

Тимофей Смага. Опытный копаль заложил два пробных шурфа ^[15] и на третий пробил свод коридора, наполовину затопленного болотной водой. Туда и уползли, оставив Бучилу на страже.

Зашуршало, из черной дыры в земле показалась включенная башка. Грязный, промокший насквозь человек вылез на свет божий и, надсадно сопя, уронил под ноги тяжелую ношу. Из сочащегося мутной влагой мешка посыпались монеты непривычно квадратной формы с отверстием посередке, витые браслеты и фигурки сплетенных в схватке зубастых полуящеров-полулюдей.

– Сидишь? – Федька Шелоня одарил упыря злобным взглядом. Здоровенный, откормленный мамкой детина с пудовыми кулаками, сажеными плечами и широченной спиной. Рух видел, как Федька, красуясь, выворотил на болоте огромнейший пень.

– Сижу, – подтвердил очевидное Рух.

– Мог бы помочь.

– А ты мог бы оказаться дающей без разбору бабенкой, да не срослось. Так и тут. Я вас привел, я вас уведу, а в говне ковыряться уговора не было, ты уж, Феденька, как-нибудь сам. Каждому свое – тебе горбатить, мне отдыхать.

– Привел он, – сплюнул Федька. – Мы бы и сами управились, не пойму, чего тебя Тимофей на наши головы посадил. Ничего в этих болотинах сраных страшного нет, бабкины сказки одни.

– Может, и так, – согласился Бучила, смежив глаза. В глупый спор вступать не было ни сил, ни желания.

– Дурак ты, Федька. – Из провала выбрался Тимофей. Такой же грязный и мокрый, со всклокоченной седой бородой, орлиным носом и глазами завязатого душегуба, прячущимися в кустистых бровях. – Мы сюды дочапали только потому, что упырь нас провел. Без него сгнули бы на самом краю. Мое слово верное.

– Так уж и на самом краю, – огрызнулся Федор.

– А ты думал, мы самые умные? – усмехнулся Тимофей, сбросив с плеча туго набитый мешок. Мокро звякнуло. – Страсть сколько копалей пытались в Мглистые трясины залезть. На моей памяти три ватаги сгнули. Про Василия Шлыка слышал?

– Как не слышать. – Федька хмуро кивнул. – Копаль был из первых.

– Точно не тебе, клятенку, чета.

– Пошто лаешься? – Федька вспыхнул, бросив ладонь на рукоять торчащего за поясом большого ножа.

– Экий ты прыткий, – и глазом не моргнул Тимофей. – Мне на твои обиды девчачьи плевать. Старших слушай, тогда, Бог даст, доживешь до седин. Васька Шлык матерым копалем был, мы с ним дух на дух друг дружку не переносили, но я его уважал. Случись, глотку бы без раздумий перехватил, но со всем возможным почтением. Он лешачье золото уводил, еще когда твой батька из дедовых бубенцов выход искал. Сам черт не брат ему был. Так и Ваську сожрала Мглистая топь, в гузно ее драть. А мы дошли. Думаешь, Господь нам помог?

– Упырь провел, – буркнул Федор.

– То-то и оно. Провел и долю свою заработал сполна. – Тимофей улыбнулся ласково. – И запомни, щенок, за нож взялся – в дело пускай. Еще раз такой фортель выкинешь, жилы подколенные вырву и брошу в лесу. Будешь нечисти рассказывать, как докатился до жизни такой. Усек?

– Усек. – Федька одарил Руха испепеляющим взглядом и скрылся в черной норе.

– Вот работнички, в рот бы им ягоды напихать. – Тимофей подмигнул Бучиле. – Хотя чего это я? Сам по молодянке таковским и был, ума нет, гонору и самомнения выше краев. Время и кровь пролитая вправят башку. Так, упырь?

– Тут уж как повезет, – усмехнулся Рух. – По моим наблюдениям чаще из молодого дурака получается старый дурак.

– И то верно! – Тимофей расхохотался и хлопнул по бедрам. – Савку Одноглазого взять, друга закадычного моего. По молодости баб перепортил тьму, мне ровесник, а все никак не уймется кобель. Наладился, хрен старый, к одной купеческой дочке лазить в окно, а руки не те, сорвался, и все ребра о забор поломал. Лежит теперь ни жив ни мертв, от Боженки приглашения ждет.

– Все зло от заборов, – философски заметил Бучила. – Ты поторопи своих орлов, Тимофей. Надо до заката отсюда ноги унести.

– Только начали, в рот те ягоды. – Тимофей скривился и, по-утиному переваливаясь, утопал в дыру. Донеслось мокрое хлюпанье и сдавленные матюги.

Рух остался наедине с комарами, болотом и тишиной. С севера ползли разбухшие лиловые тучи, подворачивая пышно клубящиеся края и едва заметно озаряясь изнутри короткими вспышками. Быть дождю. На обвалившейся стене просматривался барельеф: существа, похожие на лягух, охотились на зубастых рыбин с длинными шеями. Бучиле вспомнилась читанная книжка одного башковитого мужика из Москвы. Профессора или вроде того. Фамилию, клят, позабыл. Занятная такая книженция про то, что тьму тем годов назад на месте суши было теплое море от самых Кавказских гор и дотуда, где нынче белые медведи ледышками срут. В доказательство приводил рисунки огромных ракушек и отпечатков в камне жуткого вида рыб, собранных под Москвой, в Твери и далее по Волге-реке. Церковники тогда всполошились, разразился скандал, книжку запретили и сожгли, писака тот сам чудом не угодил на костер. Руху теория показалась занятой брехней, а теперь кто его знает? Может, и правда было море, а город стоял на острове? Вот и думай...

Время, до поры тянувшееся неспешной соплей, сорвалось в галоп. Летний день стремительно угасал, на воняющее болото упали длинные тени, мертвые березы тревожно шумели под порывами крепчавшего ветерка. Копали́ возвращались дважды, сбрасывали груз и безмолвно ныряли обратно в стылую глубину. Рух все чаще с тревогой посматривал на солнце, наливающееся густой краснотой. До темноты нужно отмахать четыре версты до сухого, и неизвестно, что ждет на обратном пути. Уж слишком просто топь пустила в себя. Так муха без всяких усилий попадает в паучьи силки. Бучила попытался отогнать поганые мысли, но новые, еще паскуднее, упорно лезли в башку. А если, пока не поздно, уйти одному? Копали́ не торопятся, жадность застила глаза. Горка натасканных сокровищ мокро переливалась в иссякающих бледных лучах. И нет никого. Хочешь – свое бери, хочешь – два раза свое или три. Набить карманы – и ходу. Мужики одни из болота не выйдут, а чтобы душа не болела, вход каменюками завалить. Мало ли без следа пропадает грабителей древних могил?

Рух тяжким вздохом помянул горемычную судьбину всякого доброго человека и, подобрав полы балахона, полез в сочащийся влагой провал. Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе, как много лет назад говаривал знакомый татарин Иса, хороший человек, работорговец, клятвопреступник и просто сволочь, каких поискать. От

него в свое время Рух вершков басурманской веры и нахватался. Вера простая: если при жизни себя во всем ограничивать – вина не пить, баб не итить, молиться на коврике и пост соблюдать, то, померев, получишь в награду сорок девиц. Приманка так себе, честно сказать. Смысла жить без вина и баб нет никакого, а сорок девственниц – удовольствие крайне сомнительное. Чего с ними делать, солить? В постели скучища, ничего не умеют, пока одну обучишь – наплачешься. А после и вовсе взвоешь от такой прорвы баб. Начнут козни друг дружке строить, за волосья таскать, одних сапог сорок пар где напасти? Разоренье одно. С богами вообще надо держать ухо востро, как с торговцами рыночными. Один перерождение обещает, второй райские кущи, третий сладкую жизнь, а пока не помрешь – не проверишь, хитро устроено.

Глаза привыкли к кромешной тьме, под ногами противенько чавкало, узкий сводчатый коридор уводил в глубину. Рух поскользнулся и едва не упал, рукой погрузившись в липкую грязь. Ледяная вода поднялась до колен, Бучила охнул и тут же провалился по пояс. Ну твою же мать! Балахон придется стирать. Каждый год, что ли, теперь? Воняло вскрытым склепом, плесневелыми костями и прахом. Где, сука, копали? От коридора разбегались затопленные отнорки, грозя сплести лабиринт, выхода из которого нет. Низкий потолок давил на макушку, завершая картину огромной могилы. Послышались глухие удары, за поворотом блеснул тусклый свет. Длинные тени метались в узком пространстве.

– Не идет!

– Тут поддень.

– Тяжелая, сука.

– Ух, тварь!

– Лом глубже воткни!

– Себе в жопу воткни!

– Тих-ха! – Рух узнал веский голос Тимофея. – В середку долби, рано или поздно даст слабину.

Размытые фигуры столпились в глухом тупике. Отблески масляной лампы отражались в густой чернильной воде. Тощий копаль с жиденкой бороденкой по имени Матвей, тихонько поухивая, долбил ломом стену. Ему подсвечивал Анисим, высоченный нескладный детина, не вмещавшийся в подземелье и оттого сложившийся едва не

напополам. Федька черпал воду ведром, больше суетясь и проливая себе в сапоги. Тимофей командовал, помогая мудрым советом и матерком. Появление Руха осталось незамеченным, уж больно мужики увлеклись.

– Не помешаю? – Бучила тактично покашлял в кулак.

Матвей пискнул, выронил лом и попытался сбежать через стену. Вышло хреново, он шмякнулся лбом и упал, взбивая руками воду и грязь. Анисим зажонглировал лампой, что твой бродячий артист, Федька вскинулся. Спокойствие сохранил только тертый калач Тимофей. Старый копаль посмотрел на Бучилу и спросил:

– Ты чего?

– Соскушился, – оскалился Рух. – Совсем охренели? Закат близко, а они долбят тут.

– Уже? – удивился Тимофей. – В рот мне ягоды! Вроде только начали! Ишь, дверь нашли, хотим открыть.

Коридор перекрывала каменная резная плита, похожая на дверь, как портовая шлюха на святую подвижницу.

– В другой раз, – сказал Рух. – Уходить надо, Тимофей.

– Вскроем сначала! – уперся Федор. – Чую, добра там валом. Золотишка фунта два взяли, а там, поди, серебро!

Федькина жажда серебра была понятнее некуда. В мире, где нечисти больше, чем живых, серебро стоит дороже золота и драгоценных камней.

– Точно, – прогудел Анисим. – За такими дверями самое ценное прячут.

– Ага, – кивнул Рух. – Или то, что не должно выбраться из подземелий наверх.

– Уйдем, Федь, – робко заканючил Матвей.

– Долби давай! – ощерился на него Федор.

– Я лом утопил, – заскулил Матвей, шаря по локоть в воде.

– Рохля! – Федька замахнулся.

– Ну буде, – опередил Тимофей. – Упырь верно говорит, пора уходить.

– А дверь?

– Клят с ней. Еще придем, живы будем.

– Хрен там, – всполошился Федька. – Упырь подглядел, сам все теперь заграбастает.

– Больно мне надо такого говна, – обиделся Рух. – Нет, мое дело предупредить, а вы оставайтесь. Желаю приятно провести время.

Он повернулся и пошлепал обратно. Никто не неволит, подышайте, пожалуйста. Жадность застит людишкам ум и глаза, мало им все, большего и большего подавай, пока не распухнут, как пауки. За спиной сдавленно переругивались, Рух отошел шагов на сорок, прежде чем позади заплескала вода. Ого, никак здравый смысл победил. Неожиданная херня.

Свет на выходе вместо белого подмигивал мутью. Рух выбрался на воздух и выmaterился, не сдерживая себя. Солнце сбросило красноту и поблекло, коснувшись ломаной линии далеких лесов, отмечающих границу топей и твердой земли. Зыбкую границу между жизнью и смертью. Следом, крихтя и отдуваясь, выбрались копали, вместо лихих сорвиголов похожие на оборванных грязнящих бродяг.

– А как же дверь? – картинно всплеснул руками Бучила. – Нет уж, ступайте долбить!

– Никуда не денется, – пробурчал Тимофей. – Собираемся, мужики.

Копали похватали котомки с добром и гуськом потянулись за Бучилой. Первые полверсты дались легко, древняя дорога, вымощенная гранитными плитами, резала болото напополам. Края сползали в трясины, камни потрескались и заросли лишаями и мхом, но мастерство канувших в Лету строителей поражало воображение даже сейчас. В столицах вроде Москвы или Новгорода, кичащихся богатством и красотой, улицы мостят булыжником или бревном. И то благодать такая только возле господских палат. Окраины миленько и по-домашнему утопают в грязи, сточных водах и человечьем дерьме. А тут дорога, каких не видывал свет. Сюда надо прорву профессоров всяких водить, пуцай умные бошки ломают, теории строят, а не всякий первый попавшийся сброд, хреначающий ломом реликвии прошлого.

Дорога исчезала, с каждым шагом превращаясь в узкую тропку, камни обрывались в трясины, края плит торчали из ряски надгробиями старого кладбища. Густая болотная вонь мешала дышать, оседая на потных лицах тоненькой мерзостной пленкой. Комары соткали над вереницей усталых людей пищащее облако, забивая горло, нос и глаза сотнями крохотных тел.

Последняя плита исчезла в зеленой воде, камни еще прощупывались ногой, смрадная жижа поднялась до колен. Лягушки разорались как полоумные, разноголосым кваканьем туманя мозги. Рух выдернул оставленную утром жердину и соскользнул по пояс в жадно хлюпнувшее болото. Тропа, едва в две ладони шириной, осталась на месте. А то водилась за трясинами поганая привычка – вроде пришел, дела свои темные сделал, а обратно – хватъ – пропала тропа, только гнилые мертвяки радостно булькают из-под стоячей воды.

Бучила все чаще с тревогой посматривал на заходящее солнце. Болото сдавленно стонало и охало, выпуская вонючие пузыри. Под пологом ряски и прелой осоки звучно чавкало, словно огромный рот жевал в глубине. Стремительно темнело, от теплой жижи поднимался невесомый зеленоватый туман.

– Рожи завяжите, нечего дышать этой клятней, – посоветовал Рух.

Мужики послушно обмотались грязными тряпками, превратившись в жутких огородных страшилищ. Шли молча, с трудом продираясь сквозь теплое месиво.

– Все, не могу, – прохрипел Анисим, сдавший раньше других, падая на четвереньки на крохотном песчаном островке, заросшем чахлыми соснами с облетевшей хвоей. У бугрящих землю корней лежал пожелтевший человеческий череп, щерясь безобразной усмешкой.

Бучила, не оборачиваясь, попер дальше через болото. Не можешь – значит, лежи, отдыхай, никто сюсюкать не будет. Тьма ползла из гнилых бочагов [\[16\]](#), растекаясь смрадными струями и клубясь среди мертвых берез.

Позади ругались, слышался мягкий удар. Анисима вздернули на ноги и поджопниками погнали в густеющую болотную темноту. Копаль не сопротивлялся, тихонечко поскуливая и причитая.

Рядом с тропой из бледных сумерек выросла статуя, и Рух мог поклясться, что с утра ее не было. Каменная женщина искусной работы еще сочилась болотной влагой, облепленная склизкими нитками водорослей. Бучила невольно поежился, увидев жуткие рыбы глаза и круглый, как у пиявицы, рот, полный мелкий острых зубов. В складках каменных одежд таились пасти и крупная чешуя. Вместо ног проглядывали птичьих лапы. От фигуры веяло страхом и злобой, в трещинах и сколах копошились личинки. У подножия зловонной

грудой лежала сгнившая кабанья башка, оторванная у шеи одним могучим рывком. Рядом пузырился ком потрохов.

– Болотная владычица, – охнул Матвей, неуклюже валясь на колени.

– Ага, давай оближи ее, – посоветовал Рух.

– Прогневали мы владычицу, без спроса пришли, – всхлипнул Матвей.

– Во, так и уйдем без всякого спроса. – Рух дернул обмершего мужика за ворот и ускорил шаг. Тропа вилась прерывистой стежкой. Когда Бучила обернулся, ему показалось, что статуя изменила позу и наклонилась вперед, крюча тонкие руки. Сказки про Болотную владычицу ему доводилось слышать и прежде. Живет на болотах то ли нечисть, то ли богиня, заманивая в трясину красивых лицом мужиков. Пф, фантазии слюнявых придурков. Таким и чудище болотное вполне подойдет...

– Умилостивить надо владычицу, – прошептал Федор.

– Делать нечего? – страдальчески закатил глаза Рух.

– Жалко ее, – пояснил Федька. – Одна на болотине мается, не обогреет никто. Одной-то худо, поди. А с нас не убудет.

Он вытащил из кармана ленту алого шелка, крепко повязал статуе на руку, чуть задержался и тяжело пошлепал за остальными.

Солнце село, трясина укуталась вонючими сумерками. По прикидкам оставалось пройти версты полторы. Легко сказать. В болоте тоскливо выло и чавкало, порой мерещились осторожные, крадущиеся шаги. Сука, а ведь днем прошли бы без всяких проблем, отмахиваясь рябиновыми веточками от комаров! А теперь бабушка надвое наплела. Уставшие мужики из последних сил волокли тяжелую ношу, оскальзываясь, падая и матерясь. Федьку повело, он провалился, барахтаясь и разгоняя привлеченных шумом хищный червей.

– Замри, полудурок, – зарычал Тимофей. Они с Анисимом попытались вытащить Федьку под руки.

– Вы помедленней можете? – шикнул Рух и осекся.

Матвей, шатаясь как пьяный, прыгал по кочкам. Болото забурлило, из тины медленно поднялась склизкая змееподобная тварь. Раздутая, бугристая, покрытая сотнями шевелящихся щупалец, увенчанная сплюсненной хитиновой головой с огромными крючковатыми жвалами.

– Владычица. – Матвей молитвенно вытянул руки.

Тварь замерла, словно прислушиваясь, схватила копаля и с противным всплеском утащила на дно, мелькнув рыхлым белесым подбрюшьем с гроздьями розоватых комков, оставив после себя расходящиеся круги и тухлую горячую вонь.

– А ну сюда! – заорал Бучила, понимая, что опоздал. Мужики крутились на месте, выставив сабли и топоры, а за их спинами трясина пошла буруном. Федор истошно завыл, медленно погружаясь в вязкую жижу. Рух опередил тварь на долю мгновения, бросившись наперерез. Мелькнуло стремительное черное тело, Бучила почувствовал сильный удар и едва не упал. Резанула слепящая, жгучая боль, он скосил глаза и увидел чудище, впившееся ему жвалами в левое бедро, загнутые клыки пронзили плоть и завязли в костях. Тварь извивалась, пытаясь освободиться, под прогнившей, кишачей паразитами шкурой надулись перекатывающиеся бугры. Бучила перехватил Чертов клинок двумя руками и с силой загнал кривое острие в основание дергающейся башки. Тварища свилась кольцом, шипастый хвост замолотил по протухшей воде.

– Постой, голуба, мы с тобой поворкуем ишшо. – Рух налег всем телом на рукоять, наслаждаясь сырым хрустом разрезаемого хребта. Чудище дернулось и обмякло, Рух охнул и повалился спиной в милосердно мягкую грязь. Голова стремительно наливалась тяжелой хмельной пеленой. Небо кружило серый дымчатый хоровод, увлекая в стремительный вихрь острые пики мертвых вершин. Голоса пришли откуда-то издали.

– Отбегался упырь.

– Помочь надобно.

– Себе помоги. Уходим, до берега рукою подать.

Сверху нависла размытая тень, лицо опалило горячее кислое дыхание.

– Прости, упырь, в нашем деле всякий сам за себя, в рот те ягоды.

Тень исчезла, захлюпали удаляющиеся шаги. Кто-то кричал, рассыпая проклятия, голос был знакомый, но Рух обмяк, провалившись в воняющее псиной и падалью чернильное небытие...

Тьма скрывалась во тьме, пропахшей кровью и тухлой водой, и из тьмы пришел далекий призрачный зов:

– Заступа. Заступа.

«Суки, отдыху не дают», – пришла в голову мысль. Опять кого-то спасать, в рот те ягоды... Ягоды? Какие на хер ягоды? Рух очнулся и вместо родного и уютного подземелья обнаружил себя лежащим в болоте. Ах вот что за ягоды... С ночного неба хищно щерился месяц, заливая трясины безжизненным светом. В клочьях тумана плыли редкие гнилые деревья и выворотни, похожие на раскинувших лапы чудовищ. Тело сводило болью и судорогой, яд убитой твари блуждал по жилам, силясь одолеть упыриную суть. Огромные жвала так и остались в бедре, а само чудовище потихоньку тонуло в зеленой воде.

– Заступа.

Бучила застонал и, повернувшись на бок, увидел в трех шагах от себя Федьку Шелоню, погружившегося в болотину по самую грудь.

– А ты тут чего? – глупо удивился Рух.

– Утопаю поманеньку. – Федька шмыгнул носом. – Кричу, кричу тебя, думал помер совсем.

– Я, сука, бессмертный, – бодро соврал Рух и с усилием разжал капкан громадных клыков. Боль вспышкой рванула виски, и он снова едва не хлопнулся в обморок. Поток хлынула гнойно-белесая упыриная кровь.

– Помоги, Заступа, – робко попросил Федька.

– Трофим с Анисимом где? – Рух пропустил мольбу мимо ушей.

– Бросили они нас, скоты! – Федька чуть не заплакал. Черная жижа подступила под горло.

– Ах уже нас, – присвистнул Бучила.

– Засту... хр... фр... – Федор хлебнул сгнившей бурды.

– Ты не дергайся, спокойно сиди, нечего перед смертью буйнить, Бога гневить. – Рух подполз, волоча раненую ногу, ухватил за шкуру и, поднатужившись, вытянул парня на тропу.

– Сапог, сапог! – Федька, не успев оклематься, вырвался и едва не нырнул обратно. Правая нога хлопала размотавшейся портянкой. – Сапужок!

– Хреножок. – Рух, взбешенный дурацкой выходкой, хлестнул парня по морде. – На хрена тебе сапужок, если я сейчас ноги тебе оторву?

– Он новый!

– А я тебя спас, не благодари.

– Сапог!

– Не благодари, говорю.

– С-спасибо, Заступа. – Федор пришел в себя и дрожал, прилязгивая зубами.

– Не на чем. – Рух с трудом встал, бедро пульсировало, кружилась голова. – Идти можешь?

– Вроде могу, – неуверенно отозвался Федька и встал рядом, покрытый грязью и тиной, не замечая вцепившихся в лицо и шею бледных извивающихся червей.

– За мной, душу мать, нога в ногу, – предупредил Бучила и захромал по тропе. На Тимофея обид не таил. Прав старый копаль – всяк сам за себя. Хомо хомини лупус эст,^[17] а уж про упырей и вовсе нечего говорить. Не, никаких обид, но при встрече кое-кто лишится старой бородатой башки.

Они волоклись по ночному болоту, поддерживая друг друга, падая от усталости и натужно сопя. Проснувшаяся от дневной спячки трясина выла и стонала на разные голоса, киша склизкой отравленной жизнью. Далеко за спиной, на плесневелых развалинах древнего города, плясали и переливались мутные огоньки. Души сгинувшего народа манили вернуться и отдохнуть среди тлена и сгнивших костей. Трухлявые пни, погибшие деревья и россыпи дряблых грибов светились зеленым. Руху становилось все хуже, яд переваривал его изнутри. Перед глазами темнело, в затылке бухал набат.

Он первым заметил призрачную фигуру и остановился как вкопанный.

– Ты чего? – недовольно буркнул Федор. – Ох, епт...

Высокая, худенькая, очень красивая женщина с тонкими чертами лица стояла по пояс в трясине, в десятке саженой от них, увитая ключьями гнилого тумана. Черные волосы, перехваченные алой Федькиной лентой, роскошной гривой спускались на плечи и падали на крупную обнаженную грудь. Женщина ласково улыбнулась и пальцем поманила к себе.

– Не вздумай, – шикнул Бучила парню и повысил голос: – Ты бы прикрылась, тварина болотная, а то я с дитем.

Странная женщина повторила приглашающий жест.

– Может, надо помочь? – прошептал Федор. – Ведь зовет.

– Ты совсем, что ли, дурак? – умилился Рух. – Ах да, чего это я? Умные дома на печке сидят.

Женщина подвинулась ближе. Тяжелая грудь заманчиво колыхнулась. Болотная вода осталась спокойной.

– Эй, шалашовка трясинная, ты целиком покажись, – попросил Рух.

Голая красotka смущенно отвела взгляд и отрицательно покачала головой.

– Не хочешь? Ну и вали в жопу. – Бучила сплюнул и потащил засмотревшегося Федора прочь.

– Какая красивая! – Федька оглянулся через плечо. Женщина тянула руки, плаксиво корча лицо.

– Нет ничего опасней красивой бабы, – поделился житейской мудростью Рух. – Ну, кроме красивой бабы, встреченной ночью на проклятом болоте.

Женщина некоторое время преследовала их, а потом внезапно отстала. Бучила сначала обрадовался, не сразу догадавшись, что дело нечисто. По сторонам чуть слышно похлупывало, несся стрекочущий шепоток, запахло тухлым мясом и мокрыми шкурами. Чертова баба уступила добычу охотникам покрупней. Между ободранных голых берез мелькали приземистые быстрые тени.

– Видел? – напрягся Федор.

– Жряки-трупоеды сели на хвост, – спокойно объяснил Рух, хотя внутри его колотило. – Поганые твари.

– Нападут? – испугался Федор.

– Дождутся, пока я ослабну, тогда жди беды, – подтвердил Бучила, спотыкаясь о влажные кочки.

Федька надрывно, с присвистом задышал. В обычное время жряки Руха бы нисколько не испугали. Трусливые костлявые выродки с отвисшими пузами и рыбьими зенками, питающиеся падалью и болотным гнильем. Ничего страшного, пока не навалились толпой.

Ломаные фигуры появились впереди и перекрыли тропу. Жряков было больше десятка. Они сидели на корточках, пялясь огромными пустыми глазами. Склизкие, покрытые язвами и наростами тела блестели в призрачном лунном свете. Сукины дети. Бучила неловко соскользнул в трясину, дно было вязким и мягким, жердь помогала найти дорогу, но долго продолжаться так не могло. В фосфорных всполохах гниющих лесин болото переливалось сине-зеленым. Бучила одолел шагов сто и чертыхнулся вполголоса, увидев покрытое ряской

круглое озерцо. Воняло трупами. Грязная жижа булькала, выпуская на поверхность пузыри и множество тонких, извивающихся жгутов. Позади тревожно вопили жряки. В озере плавали раздувшиеся, напитанные влагой тела. Рух опознал пару трупоедов с характерно выпирающим позвоночником и широченными лапами, предназначенными скакать по болотам; похожую на вывернутую наизнанку жабу трясинную шумору и невесть как угодившего сюда лося с громадой ветвистых рогов. Самое интересное, тут же нашлись Тимофей и Анисим. Копали неподвижно сидели в воде, уронив головы между колен, оплетенные склизкой паутиной тонких корней. Вот, значит, и свиделись...

– Не дергайся. – Рух придержал Федора.

– Живые? – задохнулся парень.

– Хер его знает, и проверять не советую, давай краешком уха... –

Рух договорить не успел.

Тимофей задрожал, перевалился на четвереньки и пополз к ним, разевая рот и утробно мыча:

– П-помоги... Пмоги...

Анисим задержался театральным болванчиком и попытался окунуть голову в воду. Корни натянулись, удержав копя от самоубийства. И это были не корни. Десятки тоненьких щупалец впились в размягченную плоть, перегоняя соки и кровь таящемуся в яме хозяину. Тимофея потянуло назад, он боролся, одно щупальце оборвалось с противным хлопком, брызгая алыми каплями.

– Помогите!

– Я бы и рад, да в рот тебе ягоды, Тимофей. – Рух отступал, толкая Федьку прочь от закипевшего озера. На поверхности выступил чешуйчатый гребень, сотни жгутиков слепо зашарили, собираясь в мерзкие, извивающиеся клубки.

– Ходу, Федя, ходу!

Они рванули по болоту что было сил, проваливаясь, запинаясь и падая. Трясина взорвалась облаком щупалец и тут же утихла. Сытая тварь не решилась преследовать беглецов. Жердь с размаху ушла в топь целиком, и Бучила едва не провалился в бездонную пасть. Слева и справа жадно хлюпала смрадная жижа. Дальше пути не было. До спасительной полосы деревьев оставалось меньше полуверсты. Черные кроны насмешливо шептались под налетающим ветерком. Рух

заметался, разрезая грудью жидкую грязь. Сзади орали жряки, впереди приглашающе булькало вязкое месиво. Рух запаниковал и сунулся напролом, хватанув ртом головастика и тухлой воды. Остервенело дернулся и вылез на свет, отплеываясь и глухо рыча. Раньше много думал о смерти, что-то геройское представлял: как будет защищать до последнего вздоха село, например, или падет в жаркой схватке с голыми бабами и крепким вином. А тут, надо же, придется захлебнуться в говне. Стидища какая...

Обнаженная красавица с алой лентой в волосах бесшумно выплыла из темноты. Прекрасное лицо было встревожено, движения резки и порывисты. Она оглянулась и замахала руками, подзывая к себе. Ага, точно, ищи дураков!

Рух собрался послать ее на хер, но не успел. Мимо горбатой цаплей прочавкал Федька и полез к чертовой бабе. Глаза горели, губенки сжались в решительную черту.

– Куда, м-мать? – крикнул Рух и удивленно замолк. Федька херачил по воде аки посуху, погружаясь в зловонную бурду едва до колен. Болотная женщина плавно отплывала назад. Бучила, матерясь на чем свет стоит, опрометью бросился за Федькой по следу из взбаламученной ряски и орущих лягух. Под ногой обнаружилось твердое. Рух чуть не завопил от восторга. Что, суки, взяли? Красавица двигалась медленно, терпеливо ждала, а когда они теряли стежку, возвращалась и указывала узкую прерывистую тропу. Окаемка темного леса взметнулась над головой, и Бучила с Федькой упали на берегу. Парень шумно проблевался, стоя на карачках и мотая башкой. Рух обнял милую твердую землю и клятвенно пообещал себе не приближаться к любым болотам ближе чем на версту. Когда он обернулся, только круги шли по воде. Неожиданная спасительница ушла.

– Хер ли отдыхаешь? – просипел Бучила, пробуя встать. – Жряки подспеют, кишки по закоулочкам полетят.

Его повело, и Рух снова упал, палящая боль стегнула кнутом. Совсем близко завыли и застонали трупоеды, почуявшие добычу. Мглистые трясины так и не разжали смертельную хватку.

– Заступа, Заступа! – Федька плакал, тормоша обмякшего упыря. – Заступа!

Рух слабо ворочался. Жряки приближались, гоня впереди себя волну затхлого смрада. Федька утерся, выхватил нож и, тихонько поскуливая от страха, резанул вены на левой руке, направив горячие струи в лицо упырю. Бучила поперхнулся, кровь хлынула в глотку, онпил, жадно давясь и отфыркиваясь, чувствуя, как отравленное тело наливается силой и возвращается к жизни. Как было уговорено, взял Рух от всякой добычи, крови Федькиной, десятую часть. Месяц хищно скалился в разрывах пепельных туч. Болото стонало. Рух встал, опираясь на меч. Ночь клубилась вокруг, прижимаясь ласковой сукой и жадно облизывая лицо. Каркали вороны. Рух улыбался, отдаваясь мраку и жажде. Совсем рядом под когтистой лапой треснула ветка. Тьма сгустилась, пожирая тени и призрачный свет, и в этой ледяной темноте пряталась смерть. И когда жряки пришли, тварей поджидал поганый сюрприз.

Рух открыл глаза, едва первые лучи рассветного солнца навывлет пробили листву. Плакучие ивы склонили пышные кроны, искря мелким бисером хрустальной росы. Дробно выстукивал дятел. С болота напоз промозглый туман, расслаиваясь от земли прелым тряпьем. Из слизистой мглы проступали острые пики мертвых берез, тонкие, черные, нагоняющие беспричинную жуть. Бучила сел, тихонечко застонав, весь покрытый каким-то засохшим дерьмом. Рядом лежала оторванная голова жряка, пята выпученные глаза. Вокруг валялись трупоеды, изодранные в кровавые лоскутья. М-да, знатно вчера почудил. Давненько никого голыми руками не рвал. Поддался кровавой ярости, позволив вампирскому проклятию взять верх над собой. Во рту стоял привкус кошачьей блевни. Рух поморщился от воспоминаний. Ночь, болото, Федька... Федька?

Федор лежал на берегу под кустом, бледный, осунувшийся, но явно живой. Грудь парня едва уловимо вздымалась. Над ним, прячась в тумане, склонилась обнаженная, дивно красивая женщина с алой лентой в гриве мокрых иссиня-черных волос. Она гладила Федьку по щеке, что-то неслышно шепча. Бучила инстинктивно зашарил, ища меч, но натыкался только на скользкие корни и полосующую ладони траву.

Женщина медленно повернула голову, и Рух замер под жалящим взглядом бирюзовых сверкающих глаз с узким кошачьим зрачком. Самых прекрасных глаз из тех, что ему доводилось видеть за всю свою

долгую жизнь. Пухлые бледные губы тронула вкрадчивая улыбка. За такую улыбку любой мужчина готов умереть. Изящные плечи, круглые тяжелые груди и плоский живот блестели каплями прозрачной воды. Красавица медленно приложила палец к губам, призывая Руха молчать. Она снова погладила Федора по щеке, прильнула всем телом, поцеловала парня, отстранилась и исчезла в мутно сереющей пелене. Свился кольцом и утянулся в болото змеиный хвост с крупной мерцающей чешуей.

Федька очнулся и захрипел.

– Доброго утречка, – поприветствовал Рух.

– Заступа? – Федор оперся на локоть. – Жряки где?

– Туточки. – Бучила сделал широкий жест. – Глянь, как живописно лежат. То заслуга моя.

– Живы мы! – Федька обмяк.

– Живы, – подтвердил Рух. – За кровь спасибо.

– Я ведь шею сначала сунуть хотел, – рассмеялся Федька.

– Не такой дурак, каким кажешься.

– Ага, не дурак. – Федор встал на колени, по-собачьи затряс головой и спросил: – Владычица приходила, или сон чудесный виделся мне?

– Сидела возле тебя, – буркнул Рух.

– Красивая?

– Знаешь и сам.

– Еще вернется? – затаил дыхание Федька.

– А кто ее разберет? – пожал плечами Бучила. – Чем-то приглянулся ты ей. Бабы они такие, такие...

Подобрать нужные слова он не смог, но мужчины в такие моменты понимают друг друга без слов.

– Я буду ждать. – Федор на коленях подполз к краю болота. – Век ждать буду. Мне отныне другие совсем не нужны.

– В болотине плавать удумал? Угу, ну давай. Даже не знаю, как ты ее того-самого... А и ладно, стерпится-слюбится, глядишь, народите гадят.

– Кого?

– Дитят, говорю, – поправился Рух. – Ну сиди, коли хочешь, а я, пожалуй, пойду...

Федька не ответил, молитвенно раскачиваясь у кромки покрытой ряской воды. Бучила выждал немного, поднял из травы Чертов клинок, сунул в мягкие ножны и пошел по едва заметной тропе. Чего, силой, что ли, придурка тащить? Много чести...

– Заступа!

Рух обернулся. Федька бежал, путаясь в заплетающихся ногах.

– Уйду с тобой, – выдохнул парень. – Ведь если не придет, что тогда, а? Страшно тут одному.

– Ну и молодец, – похвалил Рух. – Парень ты видный, в городе тыщу баб заведешь.

– Таких в городе нет.

– А ты не искал.

– Заступа?

– Ну.

– А если Владычица вернется, а меня нет?

Бучила сплюнул в сердцах и больше не отвечал. Пели птицы, зрела земляника, шумел пригретый солнышком лес. Мглистые топи сожрали их, переварили и сплюнули немного другими. Федька Шелоня ушел домой, но через месяц вернулся, утратив сон и покой. Неприкаянным бродил по кромке болот. Ждал. Не дождавшись, снова ушел, топил звериную тоску в вине и работе. Снова вернулся. Трясина влекла его той тайной силой, с которой не может справиться человек. Большая любовь или колдовской приворот, кто теперь разберет? Следующей весной Федор срубил избушку и поселился на берегу. Отощал, оброс, одичал. Рух первое время его навещал, приносил харчи, лишних вопросов не задавал. Все было ясно без слов. В бесовских Федькиных глазах притаилось тихое умиротворенное счастье. Руха закрутили дела, и снова в гости он наведался только под осень. В пустой избушке сквозняк мел по полу опавшие листья. Федька пропал, а на кособоком столе из березовых плах лежала одинокая алая лента.

Подарок на Рождество

Нет ничего, одна пустота. В пустоте той ответы на все вопросы. Что было, чего не было, что будет вовек. Ложь, правда, намеки вместе замешаны – поди разберись. Кто пытался – сгинул, рассыпался в прах, тенью рассеялся в свет. И в свете том нет ничего, одна пустота, рождающая свет из тех, кто рассыпался в прах...

Иван Незлоба очнулся в зыбкой, подсвеченной оранжевым маревом темноте, не понимая, где он и за каким клятвом сюда угодил. В памяти теплилось: засиделся у бобыля Прошки Глыка, про урожай говорили, налоги новые поругали, Ванька пожалился на жену, мол, стерва, лается почем зря и со свету грозитя изжить. Прошка поддакивал и насмехался. Ему, чертяке, все нипочем – ни жены, ни детей, вольная птаха. Неведомо как на столе оказалась бутылка. Ванька для вида отнекивался, все ж таки пост, но сдался быстро. До поросычьего визга не нажрались, но домой Ванька почапал хорошеньким, распахнув зипун и лихо заломив шапчонку на левое ухо. Че он, не мужик? Мужик, каких поискать! Пусть только рот посмеет проклятая баба открыть, мигом Ванька язык ей укоротит! А то как? Хозяин пришел. Хочет гуляет, хочет пьет! Ближе к дому пыл поубавился, Ванька замедлил шаг, живо представляя, как будет ночевать в коровьем хлеву. С Анной Никитишной шутки плохи. Он не заметил, как позади возникла черная тень, сильный удар в затылок швырнул Ваньку рожей вперед...

Башка болела, перед глазами вспыхивали и переливались цветные круги, одна сторона тела онемела от лютой стужи, вторую обдувало теплом. Странные мерные удары туманили разум. Он лежал на спине, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, прикрытый сверху старой дерюгой. Рваная ткань пахла плесенью, гнильем и еще чем-то тревожным и сладким. Глухие удары оборвались, совсем рядом надсадно захлюпало. Ванька чуть повернулся и одним глазом выглянул в неряшливую дыру. Над головой корчились и шелестели березы, тощими лапами царапая черные небеса. Среди пепельных облаков насмешливо мигали тусклые звезды. Ванька лежал на утопанной поляне в лесу, рядом щелкал, гудел и плевался жаром костер. Снова захлюпало. Ванька немилосердно скосил глаз и забыл, как дышать.

Правее, над распростертым телом, склонилась лохматая тень, орудуя зазубренным ржавым ножом. Снег вокруг был багровым, лезвие с треском резало плоть. Лохматая тень отстранилась, словно любясь работой, и Ваньку пробил жаркий озноб. Лежавший человек был покрыт десятками колотых и резаных ран, странными символами, знаками и кровью, дымящейся на морозе. Самое страшное – несчастный был еще жив, Ванька видел, как сучат тощие волосатые ноги.

Лохматый достал из кожаного мешка небольшой пузатый горшок, поднес к израненному и одним ударом сбил запечатанное горлышко. Из посуды медленно выполз завиток черного тумана, похожий на тонкую матово лоснящуюся змею. Змея замерла, нюхая выстывший воздух с запахами крови и дыма. Лохматый осторожно встряхнул горшок, и черная тварь угрем вползла в открытую рану. Мелькнул и исчез размытый, усеянный полупрозрачными гребнями хвост, несчастный вытянулся в струну и затих. Грязные ноги вдруг дернулись, роя окровавленный снег, тело свело судорогой, с треском рвущейся плоти и ломающихся костей. Человек резко сел, свет костра упал на обезображенное лицо. Черные бездонные глаза уставились в темноту. Скривился в ухмылке грубо заштопанный нитками рот. На теле, под кожей, вздувались и исчезали наросты величиною с кулак, кожа летела обрывками.

Лохматый положил руку человеку на лоб и мягко уложил его в снег.

Ванька в этот момент все бы отдал, чтобы не ходить к проклятому Прошке, не пить вина и не наговаривать на жену. Спал бы сейчас дома на печке, под боком у Анны Никитишны... Он заворочался под дерюгой, пытаясь освободиться, уперся локтем во что-то холодное и понял, что лежит не один, уловив надсадные хрипачьи вздохи. Лохматый повернул голову. Лица не было, только черное, чернее окружающей ночи, дымящееся пятно. Лохматый медленно приложил палец туда, где должен быть рот, призывая молчать, и подобрал окровавленный нож. Ванька дернулся, истошно завыл, но поперхнулся, крик застрял в глотке, причинив жгучую боль. Запекшиеся губы были словно заклеены... Сшиты...

Зима пришла ранняя, к середине ноября пушистой снежной шалью укутав села, пашни и замершие в безмолвии густые леса.

Поземка заметала дороги, трещали от стужи старые тополя, на болотах звонко лопался лед. Избы украсились инеем, колодезные срубы нарядились стеклярусной бахромой, солнце нехотя поднималось в призрачной розовой дымке, прилипало к горизонту и торопилось поскорей свалиться за край. Ночами за околицей танцевали и жалобно выли приبلудные мары, над дальними урочищами вставали столбы призрачного огня, а возле тына все чаще находили волчьи следы. Люди, за лето одуревшие от крестьянской работы, потихонечку приходили в себя. Мужики торили санные пути, ездили в гости, вели разговоры за жизнь, сватались, пили горькую, дрались, мирились и снова дрались. Бабы мыли кости подругам и непутевым мужьям, пряли шерсть, пели старинные песни о любви, разлуке и тяжелой женской судьбе. По улицам шатались шумные компании, с криками, гамом и прибаутками. Детвора с утра до ночи пропадала на речных косогорах, и домой оболтусов загоняли ремнем, красных, мокрых, облепленных снегом до самых ушей. Старики грелись у печек и молились Богородице, чтобы не вернулись темные времена, когда в голодные зимы лишние рты увозили в глухие леса. И все, от мала до велика, ждали светлого праздника.

Рух Бучила вприпляску шагал по ночному селу, пребывая в самом наипрекраснейшем расположении духа. Сочельник, самый, наверное, длинный день в году, наконец-то закончился, ангелы в небесах протрубили благую весть, и христианский мир шумно и весело встречал Рождество. На улицы высыпали толпы колядников и христославов в звериных шкурах и масках. Поднимая снежные вихри, с гиканьем неслись украшенные лентами сани. Били бубны, ревели рожки, пищали свистульки, звенели переливами бубенцы. Ряженные стучались в двери, орали песни и непристойности, перекрикивая лающих псов. Хозяева встречали веселых гостей хлебом, пивом и пирогами. Приветись колядников – будет в семье достаток, лад и покой, скотина не устанет плодиться, а урожай превзойдет все мечты. Нелюдовские толстосумы поскребли в кошельках и пообещали народу невиданную забаву под мудреным названием «хвейерверк» – разноцветные огненные шары в небо пускать. Гулянья охватили село, и Рух чувствовал себя как рыба в воде. Наступило единственное время в году, когда можно болтаться среди людей, не опасаясь тыканья грязными пальцами и шепота за спиной. Нацепил маску, накинул

медвежью шкуру и как по волшебству стал частью толпы. Нынче все на одно лицо – веселые, разгульные, пьяные. Хм, пьяные. Вот пьяным Рух пока еще не был, упиться в честь праздничка мешало одно – Яков Силантьевич Бык. Богатейший в Нелюдово купец подкинул пустяшную работенку: его, Якова Силантича, стало быть, охранять. От кого – хер разберешь. С начала декабря стали приходиться поганые вести: в Новгороде ограбили известного ростовщика Кононова, богатства вымели подчистую, а самого порезали на куски. Через неделю убили помещика Воротынова, в усадьбу на берегу Ильмень-озера пробрались ожившие мертвяки, сбежались слуги, завязалась потасовка, убитые, раненые, кровища, дерьмо, а в это время по льду пришла банда и перерезала стражу. Когда помещика нашли, он был еще жив, обрубок без рук, ног и языка засунули в опустошенный сундук. И вроде ничего необычного, подумаешь, пару богатеев прирезали, но Яков Бык перепугался нешуточно. Будто кроме него во всей Новгородчине не осталось набитых деньгами мешков. Один, сука, выжига и скупердяй Яшка Бык, не считая еще нескольких тысяч дворянских и торговых людей. Яков Силантич, ознакомившись с новостями, повредился умом, нанял пару мордovorотов, по двору волкодавov пустил, двери и окна запер, домашним выходить на улицу строго-настрого запретил. Этого Быку показалось мало, вот Руха Бучилу в охрану себе и подрядил. Рух особо и не отнекивался, все равно делать нечего, а работенка пустяшная, сиди в тепле, плюй в потолок, получай гривну серебром в день, а деньги в хозяйстве не лишние. Бучила честь по чести заработал десять монет, ходил суровый, заглядывал по углам, вчера даже купца от гибели неминуемой спас. Таракан опасный из подпола вылез, с явным желанием Якову Силантичу горло отгрызть, тут-то Рух наглуую насекомую и раздавил. Герой – штаны с дырой. В Сочельник чуть не подох от тоски, еле дождался первой звезды, прихватил с кухни полштофа водки и отправился праздник гулять. Якова послал на клят. Сколько можно дурью страдать?

Под ногами весело похрустывал бархатистый снежок, крепкий морозец покусывал уши. Рух глотнул из бутылки, закашлялся и поплотнее натянул рогатую маску. Рыло сам сделал, своими кривыми руками. Получилось неряшливо, но, сука, страшно. А в маске на рождественских гуляньях ты вроде как все, почти человек...

– По деревеньке пройдем, что-нибудь да сделаем! – грянул озорной клич, и навстречу высыпала шумная компания. Руха закружили в хороводе, сунули в руку кусок замороженной надкусанной колбасы, насыпали в штаны снега и были таковы. На крыше соседней избы валялись перевернутые сани. Бучила понимающе хмыкнул. Молодежь затеяла святочные кудеса, озоруя без меры и удержу. Парни шатались по улицам, крали оставленные телеги и бочки, ломали заборы, заваливали двери, разбрасывали дрова. Вот сани на крышу и занесло. Завтра хозяин еще спасибо скажет, если в печную трубу не напихали сена и не залили водой.

Резанул истошный перепуганный визг, выскочили несколько девок, застав Руха за поиском снега в самых непотребных местах. Одна с размаху врезалась в упыря, заорала, дернулась в сторону, но Рух перехватил ее за рукав полушубка и беззлобно спросил:

– Куда спешите, красавицы?

Девки перестали визжать, сгрудились вокруг и затараторили на разные голоса:

– Там! Там!

– Ужас!

– Хватает!

– Ой-ой-ой!

– Так, а ну, сороки, давайте потише! – прикрикнул Бучила.

Девки примолкли, одна, курносая и быстроглазая, заправила под платок выбившуюся черную прядь и тихонько сказала:

– Напугались мы, дяденька.

– Кого?

– А не знаем. В бане кто-то сидит.

– Гадали никак? – догадался Бучила.

– Гадали. – Курносая глянула с вызовом. Девки зашептались и захихикали.

Рождественской ворожбой Руха было не удивить. С незапамятных времен гадание в ночь на Рождество считалось самым верным и сильным. На суженого, на судьбу, на удачу и на богатство. На валенках, воске, хлебе, иголках, свечах и свернувшемся молоке. А эти, значит, в баню пошли. Ну-ну. По поверью, если в святочную ночь девка сунет в банную дверь голый зад, то узнает, каким будет жених. Если погладит задницу голая рука, жених будет беден как церковная мышь, а если

рука погладит мохнатая, то будет жених богачом. По сути, глупая глупость, но ведь смертным чем глупей, тем привлекательней и веселей.

– А если я отцу Ионе скажу? – пригрозил Рух. – Получите по жопам освященной розгой.

– Ну и скажи, – огрызнулась курносая.

– А я и не против. – Девка с ямочками на пухлых щеках мечтательно закатила глаза. – Отец Иона с виду хлюпонек, а смелый мужик, от такого не грех и кару принять. Он, между прочим, Лукерью от нечистого спас.

– Иона смелый? – хохотнул Рух. – И вы, видать, смелые? Чего убежали тогда?

– Думали, забавно выйдет, Нюрка первой сунулась, а ее и правда кто-то за заднее место схватил. – Курносая вытолкнула худенькую девчущку лет четырнадцати. – Мы и давай бежать во всю прыть. Надо бы Заступу позвать.

– Позовешь его, – фыркнула пухлощекая. – Он до девок дюже падок, в нору затащит и ау, будет пользоваться, пока не помрешь.

– Может, почудилось? – спросил Рух, пропустив похабные байки мимо ушей.

– Нет-нет, дядечка, меня и правда кто-то из бани схватил, – побожилась худенькая, пряча глаза. – Да сильно так, поди синяк будет теперь.

– Что за баня? – заинтересовался Бучила.

– Старухи Ефросиньи, если отсюда идти, первая ближе к реке.

– Ясно. Ну бегите, хвейерверки скоро будут пускать. – Бучила освободил дорогу. – А если еще ночью соберетесь в баню, мыться там, например, то Заступу все ж позовите, надежнее с ним.

Девки, возбужденно гомоня, поспешили прочь.

– Нюра! – окликнул Рух.

– Ой.

– Рука-то хоть какая была?

– Мохнатая страсть! – озорно крикнула девка и скрылась в налетевшей с ветром пурге.

Рух хмыкнул, пригубил водки и от нечего делать решил пойти посмотреть. Обычно как бывает: засядет в бане парень, девок дождется и давай напропалую за жопы хватать. Шалость законом не

наказуемая, а все одно надо с негодником беседу нравоучительную провести.

Баня отыскалась сразу за поворотом узенькой тропки, сбегавшей от огородов к реке. Кособокая, осевшая, замеченная снегом по скат. Бабки Ефросиньи баня? Ну да, в такой и надо гадать. Жутко чернела открытая дверь. Тоже, что ли, жопу сунуть, ведь интересно, какой будет жених... Предбанник пах деревом и березовым веником, вода в ведрах схватилась тонким ледком. Рух осторожно отворил вторую дверь и шагнул в темную парную навстречу горькому воздуху и сырому теплу. Баню топили накануне, как и положено в Рождество, во мраке проявилась каменка, низкие скамейки и деревянный ушат.

– Есть кто? – спросил Рух.

Глаза не привыкли к кромешному мраку, и Бучила пропустил смазанное движение. Слева что-то мелькнуло, затопало по полу и попыталось протиснуться мимо в открытую дверь. Рух от неожиданности сделал шаг назад, запнулся и, падая, успел сцапать длинное, гибкое и шершавое. Странная херня напружинилась, раздался сдавленный писк, и Бучила получил крайне болезненный удар в середину груди. Выматерился, дернул на себя, как за веревку, и сграбастал в охапку тощее, маслянистое на ощупь волосатое тело. Жопощуп завыл с подвизгом, неистово лягаясь и норовя боднуть Руха затылком в лицо.

– Уймись, падла, а то убью, – визверился Бучила, приложил супостата со всей дури об косяк, выволок обмякшее тело на улицу и присвистнул. Банный негодник оказался ростиком Руху по пояс, щупленький, с паучьими ручками, ножками с раздвоенными копытцами, выпирающим хребетиком старой собаки и наглой рожницей поросенка, сморщенной, лупоглазой, с подвижным, мокрым от соплей пятакон. На башке, покрытой реденькой шерстью, матово поблескивали в лунном свете небольшие рога. Фиговина, принятая Рухом за веревку, оказалась тонким хвостом со свалывшейся кисточкой на конце, растущим из тощей мохнатенькой жопы.

– Черт? – удивился Бучила.

Чертей за жизнь он навиделся изрядно – мелких, вертлявых, лезущих куда не надо пройдох. Их ошибочно считали слугами Сатаны и уничтожали, преследовали без разбора и жалости, но чего-чего, а

настоящего зла в чертях не было. Так, мелкая нечисть на побегушках у колдунов. Многочисленный народец, рассеянный по

миру и неприкаянный, шаловливый, проказливый, но не боле того. Ни вреда особого, ни пользы. Как от попов.

– П-пусти. – Нечистый дернулся, голосок был сипленький и прерывистый. – Больно делаешь.

– В этом я мастер, – похвастался Рух. – Заступа я тутошний, Рух Бучила.

Черт издал обреченный вопль и повис, болтая копытцами. Поднял круглые глаза и жалобно проскулил:

– Я... я ничего... ничего худого не замышлял...

– Потому и не размазан в засранный блин. Девок пошто напугал?

– Помочь им хотел, – покаялся черт.

– Помочь, – передразнил Рух. – Звать тебя как?

– Василием. – Черт шмыгнул пятаком.

– Ты это серьезно сейчас? – поперхнулся Бучила. – Ты, что ли, кот?

– Хорошее имя, сам выбирал. – Черт Василий умилительно заморгал.

– А настоящее?

– Не скажу. – Черт гордо отвернул рыло в сторону. – Хоть на куски режь, не скажу.

– Боишься, власть над тобой получу? – понимающе хмыкнул Рух.

– А то не так? – Черт понемногу освоился. – Вы все одинаковые. Имя визнаешь и будешь бедным чертушкой помыкать. А я и так разнесчастный и жить мне осталось самую чуть.

– Ты меня не жалоби. – Рух разжал хватку, уронив черта в снег. – И на имя твое мне плевать. Василий, значит Василий.

– Не будешь убивать-то? – затаил дыхание черт.

– Что я, изверг какой? – пожал плечами Бучила. – Нет, ну не без этого, конечно, но меру знаю. Девок за задницы хватать – дело богоугодное. Да и кто в Рождество убивает? Кстати, с праздничком, Василий, тебя.

– Спасибочки, – машинально отозвался черт и прижал острые уши к башке.

– Но хвост тебе выдернуть надо, – оскалился Рух. – Порядка не знаешь? Если в моем селе шалить вздумал, надо разрешение спросить.

– Прости, Заступа, не своей я волюшкой тут, – поежился черт. – В услужении я у старухи Ефросиньи, клят ей до упора в самое дышло.

– У Ефросиньи? – усмехнулся Бучила. Бабка Ефросинья слыла в селе ведьмой, и видели люди, будто летела она ночами в голом виде на помеле. Проверять слухи Рух не спешил, смотреть на голую старуху с висящими сиськами и складками волосатой кожи особого желания не было. Ефросинья происходила из старых колдуний, потомственных, перевалило бабке за двести с чем-то там лет. Младенцев не воровала, кровь у овец не пила, порчу не наводила, с Рухом вела себя уважительно. Жила уединенно, с черным котом и деревянной куклой-приживалой, заговаривала мужиков от вина и измены, дождик в засуху кликала, умела прогнать из избы расплодившихся без меры клопов. С нечистью не заигрывала, а тут на тебе, сразу в помощниках черт. А заставить черта прислуживать – наука нелегкая.

– Лютует, карга, – сплюнул Василий. – Девятый год на побегушках я у нее, всю душу повымотала, никакого спасения нет.

– Как попался?

– Хитростью, сука, взяла. – Черт совсем приуныл. – Меня иначе не взять.

– Это какой?

– Самой коварной что ни на есть. – Василий продемонстрировал правую ладонь, черную и морщинистую, без указательного пальца. – Цвет папоротниковый выложила, я и не устоял, украсть захотел, мы, черти, больно падки на цвет, никакого удержу нет. Смотрю, рядом ящик стоит, а в ящике дырка. А если дырка есть, как палец не сунуть? А в ящике приживала драный сидел, палец, скотинина деревянная, и откусил. Ведьма палец забрала, да через него привязала меня, теперича я ее раб.

– У тебя с башкой все нормально? – Бучила с трудом сдерживал смех.

– Хорошая голова! – Черт в доказательство треснул башкой в стену. Сверху посыпались опилки и сенная труха. – Видал какая?

– Дурак ты, братец.

– Может, и дурак, – черт едва заметно кивнул. – С тех пор не слезает с меня, горбачу на Ефросиньюшку за здорово живешь по четыре месяца в год, травы на лесных кладбищах собираю, куда смертному хода нет, пепел от сожженных колдунов приношу, письма

передаю, по хозяйству опять же херачу – огород, скотина, помои сраные выношу. А сегодня вожжа ей под хвост стеганула, вычитала, будто если звезду рождественскую с неба украсть, в порошок растолочь, с ерунденью всякой колдовской намешать и выпить, то можно молодость обратно вернуть. Велела мне мухой звезду притащить. – Василий всхлипнул. – А звезды знашь где? До них моим пердячим паром лет тыщу лететь. Я ей говорю: «Бабуленька, родненькая, лахудрушка распрекрасненькая моя, давай, как обычно, золотишка найду или жажну по-быстренькому тебя, только не надо звезды». А она уперлась, вынь да положь. А если хозяйкин приказ не исполню...

– Останешься вечным рабом, – закончил за него Рух.

– Ага. – Василий тяжело, с надрывом вздохнул. – Вот я и решил: все одно пропадать, так хоть девок на прощанье пощупаю.

– Умная мысль, – одобрил Бучила. По-человечески нечистого было жалко, а по правде ведь сам виноват. Пальцы и прочие нужные в хозяйстве части тела надо беречь. Раз влип, выпутаться будет ой как непросто. Выход есть только один: хозяйка должна освободить по собственной воле. Ни угрозы, ни убийство здесь не помогут. Собственная воля, и точка. А кто будет рубить курицу, несущую золотые яйца? То-то и оно. Рух вытащил бутылку, глотнул и передал черту. – На, прими для души.

Василий схватил водку и присосался младенчиком к мамкиной титьке, булькая, отфыркиваясь и дергая кадыком.

– Ну хватит. – Бучила отобрал бутылку.

– Пить хочу, горло спеклось. – Вася проводил пойло жадным взглядом и облизнул тонкие черные губы. – Жалко, что ли, тебе?

– Если пить хочешь, снега поешь. У плетня черпай, там желтей. – Рух ушел в предбанник, снял с колышка драный тулуп и, вернувшись, укутал погибающего от жажды Василия с головой.

– Спасибо за заботу, – буркнул черт. – Только я не озяб.

– На рога нахлобучь, – посоветовал Рух. – В люди тебя вывести собираюсь.

– В люди?

– Ну. – Бучила неопределенно махнул рукой, допил водку и зашвырнул бутылку в сугроб. – Сочувствие у меня внезапное

открылось к тебе, дураку. Айда в кабак, пьяным и старухе в вечное услужение проще идти.

Дверь нелюдовского кабака «Ерофеев двор» с грохотом распахнулась, и появившийся на пороге дюжий бородач швырнул с крыльца мужичонку в разорванном зипуне. Мужичок пролетел мимо Руха с Василием, шмякнулся в коричневый от конского навоза снег, перевернулся на спину и гнусаво замычал.

– Пшел вон, выпороток свинячий! Нет денег – не суйся. – Бородач погрозил кулаком, смерил Руха с Василием оценивающим взглядом и предупредил: – А у вас, морды ряженые, деньга есть? Или тоже норовите на дармовщину хлебнуть?

– И тебя с праздником, Ерофей, – вкрадчиво отозвался Рух.

– Заступа? – ахнул кабатчик.

– Он самый, только тсс, я тут в таинственной тайне.

– Какая честь, какая честь, – мелко закланялся Ерофей. – Народу у меня тьма, но для вас с... – Он растерянно посмотрел на Василия.

– Сыночек мой, Васенька, – пояснил Бучила. – Столько лет в разлуке, крайне душещипательная история.

– Ага, сыночек. – Ерофей передернулся. – Заходите, лучшее место найду.

– Не надо, Ерофей, ты штоф беленькой вынеси мне. – Рух протянул монету.

– Обижаешь, Заступа. – Кабатчик убрал руку за спину. – Я тебе по гроб жизни должник. Заходите, обогрейтесь чутка, я сейчас, из личных запасов.

Кабак встретил чадным жаром, шумным разноголосьем, молодецкими криками и нестройными песнями. Под низким потолком плавали клубы табачного дыма, с ног валили запахи пота, жареного лука и подгоревшего сала. Нелюдовские мужики и заезжие гости хлестали пиво и водку, хрустели капустой, орали здравицы [\[18\]](#) и швыряли куриные кости под стол. Возле печки расположились трое дворян, смотрящих на пьяную чернь с неприкрытым презрением. У дальней стены с грохотом сдвигала чаши компания усатых драгун в красных мундирах. В зале яблоку было негде упасть, сновали взмокшие половые, жеманно хохотали ярко накрашенные гулящие девки. Справа от входа с грохотом перевернулись лавки, разлетелась посуда, мужики затеяли драку.

– Содом и Гоморра! – всплеснул руками кабатчик. – Урону будет, урону-у-у. Но и прибыль. Не поверишь, Заступа, выискался благодетель, поит всю шатию-братию за свой счет, золотом платит. Вон тот господин. – Ерофей указал на человека и стал продираться сквозь бушующий океан.

Указанный Ерофеем добродей в черном камзоле лихо отплясывал на столе, покрикивая и размахивая кружкой, с которой летела белая пена. Лицо худое, узкое, с горбатым, сломанным и неправильно сросшимся носом. «Никак старый знакомый», – удивился Бучила. Ну точно он, паскуденыш. Лет пять назад объявился в Бежецкой губернии совсем молоденький и никому не известный парнишка с обходительными манерами и хорошо подвешенным языком. Назвался князем Вильгоцким, при себе имел дворянскую грамоту. Мигом вскружил голову трем вдовым купчихам, в том числе одной из Нелюдова, тянул с разнесчастных подарки и деньги. А потом из Новгорода пришла розыскная бумага на беглого подмастерья Гришку Пронина с перечнем особых примет, чудесным образом совпавших с обликом благородного князя Вильгоцкого. Арестовать не успели, его сиятельство самозванный князь успел убежать. Шлялся где-то и вот вернулся, повзрослевший, заматеревший, да только Руха не обмануть...

Гришка спрыгнул со стола, исчез в месиве тел и вынырнул возле суетившегося за стойкой Ерофея. Они быстро переговорили, и Гришка, забрав пузатую бутылку, пошел через зал, обнимаясь по пути со всеми встречными-поперечными. Его ободряюще лупили по плечам и спине, лезли расцеловать. Следом незаметно пристроился невысокий человек в меховой одежде и маске из перьев и кожи, раскрашенной черными и белыми полосами. Судя по фигуре и плавным движениям, женщина. Рух немного напрягся. Странная парочка явно направлялась к нему. Ну и точно, Гришка подошел развязной походкой, белозубо улыбнулся и поприветствовал:

- Здравсте, с праздником вас.
- Отваливай, – буркнул Рух.
- Как ваше ничего?
- Ты не из понятливых, что ли?
- А ты Заступа местный, я знаю.
- Ерофей разболтал, – поморщился Рух.

– Хозяина не вини, – попросил Гришка. – Я ему приплатил, чтобы шепнул, если кто из местных шишек придет.

– Ага, я как раз из шишек, знаешь, которые в жопе растут.

– Наслышан я о тебе.

– А я о тебе, – фыркнул Бучила. – Можешь передо мной не юлить, я не одинокая бабенка, вашему брату не верю.

– Стало быть, знаешь меня? – прищурился Гришка.

– Я так и сказал.

– И не донесешь?

– Оно мне надо?

– А другие-то не узнали. – Гришка кивнул за спину.

– Другие дураки. А я Заступа.

Гришка посмотрел пристально, улыбнулся и сказал:

– Выпить нам надо. Я сегодня, видишь, гуляю.

– Вижу, – кивнул Бучила. – Расскажи, где можно пропадать несколько лет, а потом нагряться и золотишком, как навозом, сорить.

– Можно и рассказать, – согласился Гришка и наконец представил спутницу: – Это Зарни.

Женщина в маске едва заметно кивнула и сказала мелодичным и красивым голосом с незнакомым акцентом:

– Здравствуй, Тот-кто-умер-но-все-равно-жив.

– И тебе привет, Та-кто-пафосно-говорит, – вежливо отозвался Рух.

– Твой спутник под стать тебе. – Зарни перевела взгляд на скромно отмалчивающегося Василия.

– Это дочка моя, Василиса. – Бучила пихнул черта в бок. – Не будь букой, поздоровайся с дядей и тетей.

– Наше вам, – дыхнула перегаром из недр драного тулупа блудная дочь.

– Посидим? – пригласил Гришка.

– Не, спасибо, шумно тут, – поморщился Рух.

– У Ерофея есть номера наверху, – не сдался Григорий.

– Тем более нет. В этих номерах такое творится, а я с дитем, заразу срамную боюсь подцепить.

– Зря ты, Заступа, – обиделся Гришка. – Я ж по-человечьи хотел...

– Вот на этом и погорел, – парировал Рух. – Я такая сволочь, если со мной по-человечьи пытаются, начинаю всякую гадость подозревать.

Не, спасибочки, сыт. Бутылка моя?

– Ерофей велел передать. – Гришка нехотя отдал бутыль.

– Ну счастливо. Василиса, за мной. – Рух повернулся к дверям.

– Там темно и холодно, – тихо сказала Зарни. – А в темноте и холоде прячется всякое...

– Я сам – всякое, – осклабился Рух. – И никого хуже меня тут прятаться не может.

– Кто знает, – в голосе Зарни послышалась печаль. – Великий паук Черынь сплел паутину судьбы, и многие сегодня в нее попадают.

– Пристали как банный лист к заднице, – фыркнул, оказавшись на улице, Рух. – Ну что за народ?

– Баба у него странная, – поделился наблюдением Вася. – Пахнет чем-то...

– Бабой?

– Кровью.

– С бабами такое бывает, – похвастался знаниями женского устройства Рух.

– А еще силой. – Черт пошамкал губами, подбирая слова. – Тоска ее жрет и ненависть пополам.

– Все мы не херувимчики. – Руху, в принципе, было плевать. Сам он ничего не почувствовал. Людей много, чем от кого воняет – хер разберешь. Он сгрыз с бутылки сургуч, сделал добрый глоток и сунул посудину черту. – Пей давай, за все самое лучшее и хорошо пахнущих баб!

Василий послушно забулькал, откашлялся и сказал:

– А имя слышал? Красивое.

– Жалеешь, что себе такое не взял? Представь, черт Зарни! Неплохо звучит.

– Нерусское имя-то.

– А тебе какая печаль?

– Особенно никакой, – признался Василий. – Теперь мы куда?

– Навстречу приключениям! – Рух бодро зашагал со двора. – Держись меня и не пропадешь. Я те обещаю, если живы останемся, будет чем попов на исповеди пугать.

Празднично одетые люди шумными ручейками стекались к сельскому сходу, тащили охапки соломы, мешки сухого навоза и полные карманы зерна. Совсем скоро, как зимняя ночь окончательно

напитается тьмой и звезды померкнут, чуя морозный рассвет, на площади вспыхнет огромный костер, приманивая блудные мороки. Греть покойников – древний обычай, отголосок языческого чествования обновленного солнца, когда истончается граница между миром мертвых и миром живых и души предков на короткое время возвращаются к родным очагам. Ради них и зажигают дымное пламя, бросают на угли ладан, зерна и хлеб, и люди затихают, взявшись за руки вокруг пылающего огня. Греют покойников, чтобы те остались сыты и довольны и не вздумали тревожить живых. А незамужние девки с парнями, бросив рождественские забавы, в полном молчании идут на перекрестки дорог, где хоронят самоубийц, к местам былых сеч, где трава растет на костях, к древним дубам, где в старину приносили жертвы темным богам, и там разводят костры, греют пропитанную кровью землю, чтобы покойникам было удобней лежать. Чтобы покойники не поднялись. И россыпи поминальных огней мигают этой ночью по всей православной Руси...

– На костер поглядим? – загорелся Василий.

– Да ну, скукота, – отмахнулся Бучила, продираясь сквозь веселящуюся толпу. – Че, огня не видал? Вот скажи, Василий, мы с тобой кто?

– Ну нечисть, – отозвался черт, немного подумав.

– Молодец, Вася! Рога, что ли, тебя таким башковитым делают? А нечисть чем должна заниматься в рождественскую ночь? Правильно, вредить и озоровать! Значит, и мы должны, ничего не попишешь.

– Давай церкву запалим? – взвизгнув от радости, предложил Василий.

– А ты хорош. – Бучила посмотрел на него уважительно. – Значит, романтик в душе? Но давай-ка пыл поубавь. Где это видано, чтобы Заступа церкви сжигал? Заманчиво, да народишко дикий, могут и не понять. Но зришь в корень, я тут давно одну идейку с церковью вынашиваю.

Рух рыбкой вынырнул из многолюдства и увлек черта в заметенный снегом проулок. Через две улицы замер и воровато огляделся. Никого не было. Издали доносились голоса, смех и громкое пение, за забором захлебывался лаем и царапал жерди не на шутку разъярившийся пес.

– Видишь, в ограде дыра? – шепнул Бучила. – Ну-ка сунь туда руку.

Вася дернулся исполнять, но в последний момент передумал, боязливо спрятал лапки за спину и пробурчал:

– Ага, ищи дурака, там собака.

– Учишься на ошибках? Ну молодец! – Рух таинственно подмигнул. – А теперь тихонько за мной и ни звука, иначе обоим конец.

– Ты чего затеял? – с придыханием спросил черт.

– Самое ужасное и кошмарное злодеяние что ни на есть, – таинственно отозвался Бучила. – После такого нам Царствия Небесного как своих ушей не видать.

– Я свои вижу. – Василий загнул острое мохнатое ухо и потешно скосил правый глаз. – Вот оно, ушко-то.

– Ща оборву ушки-то, и больше не увидишь, – пригрозил Рух. – Пословица такая есть, так что не умничай тут. На такое богопротивное лихое действо идем, что даже тебя, нечистого, может отворотить. Хочешь – уходи, я не в обиде, дело смертельно опасное.

Он прокрался вдоль тына и скрипнул калиткой, запертой с другой стороны на маленький вертушок. Черная изба-пятистенник нависла над головой. По спине бежала леденящая дрожь, руки немножко тряслись. Позади натужно сопел и отдувался Василий. Ну хоть не сбежал, и за это спасибо.

Рух пригнулся и быстро прошел под окном, колени ослабли, снег под каблуками хрустел предательски громко, разносясь в колючем морозном воздухе на версты вокруг.

– Кто здесь живет? – едва слышно спросил Василий. Дом был похож на затаившееся в снегу и темноте страшное чудище.

– Тебе лучше не знать, – отозвался Бучила. – Сгнило тут все, и нет ничего, одна паутина и тлен. Если что увидишь – беги, не оглядывайся, может, успеешь спастись.

– З-заступа?

– А?

– Может, ну его, пошли лучше на кострище глядеть, – жалобно проблеял Василий.

– Отступать поздно. – Бучила приоткрыл дверь в кособокий сарай, пристроенный к дому. Изнутри дыхнуло плесенью и теплом, густая

чернота выплеснулась через порог. Рух перевел дыхание и шагнул в темноту. Бедный Васька тихонечко, с присвистом заскулил. Во мраке ворочалось и шуршало, слышался клекот.

– З-заступа...

– Тсс, зверя не разозли.

– Какого?

– Самого лютого. – Рух вытолкнул черта вперед. Васька дернулся, хрюкнул и замер, подавив рвущийся крик. У бревенчатой стены стояла черная с белыми пятнышками коза, удивленно посматривая на незваных гостей и забыв жевать клочок сена, торчащий из приоткрытого рта.

– Хватай зверюгу, чего стоишь? – скомандовал Рух.

– Это коза? – уточнил Василий.

– Нет, тигра страшная. Хватай, говорю. – Бучила всучил ему загодя приготовленную веревку с петлей. – Знакомься, ее Машкой зовут.

– Хорошая, лапочка ты моя. – Васька несмело приблизился.

Коза, не согласная покидать родной дом в компании малознакомых мужчин, коротко мекнула и отступила к стене.

– Противится, – растерялся Василий.

– Думает, ты ее невинности вздумал лишить, – хохотнул Рух. – Ты ее лаской бери.

– Хорошая моя, милая. – Васька коршуном упал на козу, та рванулась и ударилась в перегородку, роняя мотыги и грабли. В углу потревоженные куры подняли хай, наседки заметались по сараю, разбрасывая перья и пух. Под ногами воинственно путался охреневший спросонья петух, вопя во все горло и мотая башкой. Ну, сука, ушли по-тихому, как же.

Васька взнуздal неистово блеющую козу и потащил к выходу, в пятне лунного света мелькнули две рогатые тени. Рух ойкнул, пнул клевачего петуха и выскочил из сарая. Раздался скрип и шаркающие шаги, хлопнула дверь, на крыльчке появилась хозяйка избы, бабка Агафья. Осенью старуха вытребовала Заступу, мол, ее единственная кормилица, коза Машка, бесами одержима. Взбрендилось бабке, будто коза смотрит на нее как-то не так. Рух отказываться не стал, выкроил время, осмотрел с важным видом сарай и козу, сжег щепотку куриного помета и отчитался в полной победе над силами тьмы. Бабка осталась

довольна, ну а у Бучилы созрел план «Козлиное Рождество», который усилиями черта Василия теперь повис буквально на волоске.

– Эй, кто тут? – спросила бабка Агафья.

Рух подтолкнул сладкую парочку к калитке, Василий опомнился и потащил козу, веревка натянулась, грозя оторвать бедной Машке башку. Проклятая коза, услышав голос хозяйки, уперлась копытами, оставляя в снегу длинные борозды, и жалобно мекнула.

– Манька? – Бабка повернула на звук морщинистое лицо, подслеповато сощурилась и ахнула, всплеснув сухонькими руками. – Вы чего деете, ироды? Куды козу, разбойники, волокете?

– Жених у ней есть, ты, бабка, настоящей любви не преграда! – крикнул Рух, схватил в охапку козу и бросился наутек. Машка брыкалась и блеяла, за калиткой их обогнал улепетывающий во все лопатки Василий. Позади вопила и причитала старуха Агафья, мелькали заборы. Бучила свернул на соседнюю улицу, вихрем пронесся мимо колодца и без сил повалился в сугроб. Машка выпала на бок, забарахталась, поднялась на тонкие ножки и попыталась сбежать, не понимая своего козлиного счастья. И сбежала бы, стерва, если бы подоспевший Васька не успел схватить веревку, волокущуюся в зыбкую темноту. Погоня отстала, если вообще таковая была.

– Коза, коза-то нам на хрена? – тяжело дыша, спросил Васька.

– Шутку шутить, – откликнулся Рух. – О той шутке легенды сложат, помани мое слово. Сейчас козу в церковь запустим, пуццай святых веселит, а народ на заутреню соберется – посходит с ума. Ору будет выше краев. Представь: коза, животная сатанинская, в святом храме свечки с кандила жует. В церковь никто ногой не войдет, Иона нюни распустил, представь какой удар по его поповской натуре. Потеха будет – животики надорвешь... – Бучила осекся, увидев, что черт не очень-то рад. – Не по нраву затея моя?

– Да ничего, с выдумкой. – Васька дернул хвостом. – Просто вспомнил, что шутки скоро закончатся, ждет меня Ефросинья со сраной звездой.

– Не куксись! – Рух хлопнул его по плечу. – Чему быть, того не миновать.

– Это да, – согласился нечистый и погладил козу меж рогов. – Губы у них такие мягкие, словно бархат.

– Ты меня пугаешь, Василий. – Бучила глянул на напарника подозрительно.

– Не, ну правда, сам посмотри.

– Спасибо, я не по козлиной части. – Рух встал, отряхнул снег и неожиданно умилился. – А вы с ней похожи, прямо один в один.

– Красивые?

– Не то слово! – Бучила махнул рукой. – Ну, посидели и хватит, лихое дело само себя не свершит.

Он пошел первым, держа ориентиром искрящийся в лунном свете крест на колокольне нелюдовской церкви. Позади шлепал Василий, ведя в поводу присмирившую, успокоившуюся козу. Улицы были пусты, со стороны сельского схода доносились крики и залиvistый смех. Темное небо подсвечивали оранжевые отблески горящих костров. Шаги за спиной вдруг затихли, и Рух обернулся, недовольный задержкой. Васька крутил башкой, прятал ушами и шумно тянул морозный воздух сморщенным пятком.

– Плохое, очень плохое, – сказал черт.

– Да просто коза в церкви, невинное баловство, – всплеснул руками Бучила. – Ты недавно хотел храм божий спалить, а теперь в святые заделался?

– Я не про это, – смутился Василий. – Что-то плохое рядом. Мы, черти, такое издали чуем. Злобой тянет, кровью и тьмой. Так в лесах, на поганых урочищах пахнет. А потом приходят они...

– Кто?

– Всякие. – Василий зябко поежился. – С зубами чаще всего.

– Водки больше не дам, не проси, – предупредил Рух. – Уж больно на фантазию она тебе действует.

– Я ведь не вру, – пискнул Васька, и было в его голосе что-то, заставившее Руха поверить.

– Провести сможешь? – напрягся Бучила. От мысли, что в селе затевается нечто паскудное, стало не по себе.

– Смогу. – Черт шумно поводит носом и уверенно потащил козу за собой. Покружил безлюдными улочками под псиную перебранку, приняхался, тряхнул рогами, прошел вдоль забора и тихонько сказал: – Вроде тут.

Рух, скептически хмыкнув, высунул голову из-за угла. Шагах в двадцати, в заметном снегом проулке, застыли три черные тени.

Размытые, сгорбленные, зловещие. Абсолютно недвижные и безмолвные. По виду люди как люди. Можно было разглядеть наброшенные на плечи шкуры. Ряженные? Бучила недовольно глянул на Ваську. А если напутал, чертяка? Вот выйдет оказия.

– Они опасные, – предупредил черт.

– Они? Пф, это я тут, сука, самый опасный. – Рух вразвалочку направился к ряженным, помахивая бутылкой. Водка и праздничное настроение притупили чувство самосохранения. Да никакой угрозы и не было. Скорее всего, пьяные по малой нужде собрались. Только время с ними терять, а могли бы важное дело делать, козу Машку в церковь сопровождать...

– Эй, обормоты, вы чего тут снег топчете мой? – громко осведомился Бучила.

Ответа не последовало, трое стояли, едва заметно покачиваясь в такт налетавшему ветерку.

– Слышь, нет? – Рух бесцеремонно дернул ближнего. Фигура шевельнулась, послышался сиплый болезненный вдох. Под пальцами поползла грязная липкая шкура, обнажая бледно-молочную плоть. «И ни хрена это не пьяненький», – успел подумать Бучила. Перед ним скорчилась непонятная тварь, человек и в то же время не человек, весь изломанный, смятый, с обнаженными жилами и зазубренным костяным наростом вместо правой руки. Левая, разбухшая и ноздреватая, часто-часто сжимала пальцы, проливая на снег тягучую слизь. Голова с налипшими редкими волосами медленно, словно через силу, повернулась, и на Руха уставились две бездонные ямины, полные злобы и густеющей темноты. Рот, сшитый неровными крупными стежками, корчился, пытаясь разорвать трещащие нитки, щеки лопнули, обнажив жуткого вида клыки. Двое других тоже задергались, раскрываясь порченной плотью, голыми костями и сорванной кожей. Ну точно, мертвяков для полного счастья и не хватало...

– Ясенько, простите великодушно, ежели помешал. – Бучила без замаха ударил бутылкой. Хрястнуло, тварь пошатнулась, Рух швырнул бутылкой во вторую образину и отскочил, судорожно нашаривая под слоями одежды пистоль. Хмель мигом выветрился из головы. Клят! Оружие запуталось в многочисленных складках, гладкая рукоять предательски скользила в руке. Да сука! Спасла его медлительность странных ублюдков, они словно выходили из спячки, с трудом

переставляя кривые узловатые ноги. Бучила вырвал пистоль и пальнул навскидку, не целясь. Кремень сухо щелкнул, не дав ни малейшей искры. Да ты издеваешься, сволочь! Как раз осечки только и не хватало. Рух перехватил бесполезное оружие за ствол и с силой впечатал рукоять в мерзкую харю. Попал в подбородок, разворотив сшитый рот и зубастую челюсть, и, ободренный успехом, вмазал от всей упырячьей души еще пару раз.

– Херачь их, Заступушка, херачь! – Васька бестолково прыгал вокруг, вопя и суматошно размахивая руками.

Чудище всхлипнуло и повалилось на снег. Так-то, сука! Второй неожиданно оказался совсем рядом, и Рух отпрыгнул, избегая удара кривых, матово поблескивающих когтей. Запасной пистоль сам прыгнул в ладонь, и на этот раз замок не подвел. Бахнуло, звук выстрела растворился в метели, пуля, выпущенная почти в упор, угодила мертвяку в лоб, взорвав затылок облаком мозгов и костей. Всего хорошего, спасибо, что зашли!

Рух резко развернулся и увидел сцепившиеся фигуры. Васька повис у чудища на спине, вонзив зубы в загривок. Тварь шипела и крутилась юлой, пытаясь достать черта когтями.

Василий разжал зубы, выплюнул шерсть и сдавленно заорал:

– Заступа!

Васька зашарил чудищу по лицу, пальцы отыскивали и с противным чавканьем выдавили глаза. Тварь протяжно завывала и дернулась, чертушка не удержался и улетел в темноту. Ослепшее страшилище топталось на месте, размахивая ручищами и надсадно скуля, став теперь не опасней телка. Рух подскочил, схватил безобразную башку и со всей силы потянул на себя. Хрустнуло, натянулись и лопнули жилы, брызнула черная кровь.

– Так-то лучше. – Бучила уронил под ноги оторванную башку. Поле боя осталось за победителем, можно слагать геройские былины, жениться на принцессе и делить имущество павших.

Безголовое тело забилося в конвульсиях, и Рух на всякий случай отпрыгнул. Из обрывка шеи выползло нечто похожее на червя и, медленно извиваясь, нырнуло в сугроб. На этом поганые сюрпризы закончились. Бучила, пошарив вокруг, отыскал бутылку. Надо же, целенькая, а говорят, не бывает чудес. Заскрипел снег, держась за бок и страдальчески скорчив рожу, подковылял Василий.

– Красавец, так держать! – похвалил Рух.

– Да чего там, – отмахнулся черт. – Ты вон со мной как, я уж отвык от добра, так как не помочь?

Выпили по доброму глотку, и Бучила спрятал бутылку в глубокий карман. Тварь, которой Рух первой расколотил дурную башку, дергалась и пыталась подняться, похожая на перевернутого на спину большого жука. Ослабевшие лапы подламывались, под головой растеклось страшного вида пятно.

Бучила опустил рядом на корточки и внимательно присмотрелся. Тварь хрипела и выгибалась дугой, из дыры на месте расквашенного носа вылез покрытый слизью червяк, пальца в два толщиной, безглазый, с круглой пастью, усеянной сотнями мелких зубов, состоящий пополам из плоти и дыма. Червяк выпал на снег, свился в кольцо и попробовал уползти. Не тут-то было, Васька сиганул, как кошка на крысу, сцапал черное тело, сунул в рот и жадно зачавкал.

– Вкусно? – брезгливо поморщился Рух.

– Хочеш куфочек? – Васька перестал аппетитно жевать, вывесив из пасти лоснящийся хвост.

– Не-не, наслаждайся, я себя не в выгребной яме нашел. – Бучила заинтересованно свесил голову на плечо. Чудище обмякло и теперь хрипло дышало, надувая кровавые пузыри. Сшитые губы двигались, натягивая черные нитки. Рух, сам не зная зачем, полоснул краешком ногтя, шов лопнул, в лицо ударил падальный смрад. Сквозь сиплые вздохи он вдруг услышал слова:

– Больно, больно... Темно... Больно...

– Ты кто такой? – спросил Рух.

– Ванька, Ванька Незлоба... из Чугурихи... жене скажите, жене... – Страшилище закашлялось кровью и гноем и испустило дух. Застывшие глаза, прежде черные и бездонные, стали обычными человеческими.

– И как это понимать? – Бучила посмотрел на Василия.

Черт со свистом втянул остаток червя, причмокнул и пожал худыми плечами.

– Чепуха какая-то. Оно вроде чудище, а вроде и человек. Так не бывает.

– Бывает, – неопределенно хмыкнул Бучила и тут увидел домового, прячущегося за плетнем. Коротышка пристально наблюдал сквозь прутья, видимо, считая себя невидимкой. Зырит, падла, а мог бы помочь.

– Эй, хренопутало мохнатое, – ласково окликнул Бучила. – А ну подойди.

– Не пойду, – буркнул домовый, поняв, что раскрыт. – Боюсь я тебя.

– Эко диво, как будто я сам себя не боюсь. Иди, говорю, не обижу. Домовой опасливо подошел и остановился шагах в пяти, теребя куцую бороду и постреливая глазенками по сторонам.

– Здесь живешь? – спросил Рух.

– Ну здесь.

– Видел, откуда сранина эта взялась?

– Видел.

– И?

– Чего и?

– Не зли меня, шерсти блевок.

– На возке приехали, – нехотя буркнул домовый.

– Шутки вздумал шутить? – рыкнул Бучила.

– Говорю: на возке, – уперся домовик. – Возок крытый, левое полозье вихляет, две лошади запряжены, одна пегенькая, вторая каурая. Подъехал тихонечко, без бубенцов. Человеке с облучка прыгнул, шалав этих высадил и укатил.

– Укатил, значит, – задумчиво протянул Рух, начиная понимать, что вляпался в очередное дерьмо. – И где теперь этот сраный возок?

– Я почему знаю? Мне не докладывали, – фыркнул домовый. – Разве у мышков спросить, серенькие все видят, все знают...

– Так спроси.

– А мне какой с того интерес?

– Ноги твои останутся на прежних местах. – Бучила пристально посмотрел домовому в глаза.

Мохнатый ойкнул, попятился и убежал, сверкая лаптями. Вернется или нет, хер его разберешь.

– Странное дело, – пробормотал Рух. – Ты как думаешь, Вась?

– Коза убежала, – чуть не рыдая, отозвался черт. – Оставил, и нет теперь ее тут. Сбежала, миленькая, покинула!

– Ясно, семейная трагедия. – Бучила отыскал затоптанные пистолеты и занялся перезарядкой. Руки мелко тряслись. Пролюбил в потемках две пули, просыпал порох, чуть не погнул шомпол, но в конце концов справился. Мысли в башке кружились черные-перечерные. Какая-то мразь привезла нечисть в село. Вот ничегошеньки святого нет у людей! В светлый праздник! До такого додуматься надо. И где высадили? Рух скосил глаза. Сажень в тридцати слева, за домами, небо горело огнем, наяривали балалайки и бубны, качели подлетали выше заснеженных изб. Сельский сход, многолюдный и шумный. На то и расчет, что твари потянутся на свет и голоса. На запах мяса и крови, и будет тогда Рождество... Бучила перевел взгляд на Ваську. Черт метался по переулку, жалобно подзывая козу. Если бы не он, случилось бы страшное...

Из дыры в плетне высунулась мохнатая морда, и домовый протараторил:

– Нашли мышки возок, как же, нашли, миленькие. Терем богатый за церковью, а на воротах солнышко резное с лучами, возле них возок и стоит.

– Солнышко на воротах, говоришь? – Рух медленно встал. Его качнуло. Если может случиться что-нибудь особенно мерзкое, то оно обязательно и произойдет. Такая, видно, судьба.

Сучий возок раскорячился поперек дороги, там, где домовый и сказал. Аккурат у ворот резного двухэтажного терема купца Яшки Быка. Того самого, которого Рух должен был вроде как охранять. Доохранялся, в душу ети.

Бучила попер к терему напрямую, терять было совсем уже нечего, все равно опоздал. Лошадок его появление оставило безучастными. Ясное дело, приучены ко всякой нечисти и живым мертвецам. Мелькнула черная тень, от забора навстречу шагнул невысокий человек в звериной маске с рогами.

– Выпить есть? – прикинувшись пьяным, развязно крикнул Бучила.

– Нету, проваливай, неча тут шастать, – откликнулся мужской голос.

– А может, найдешь? – Рух подошел вплотную и со всей силы саданул человека кулаком в грудь. Мужика отшвырнуло, бездыханное тело распласталось в снегу.

– По сторонам приглядывай, мало ли что, – бросил Рух Ваське и вошел в незапертые ворота с солнечным ликом. Купеческих сторожевых псов нигде не было, приоткрытая дверь терема зияла предостерегающей чернотой. На пороге лежал один из парней, нанятых Яковом. Петька, что ли? Забыл. Да и какая разница? С такой дырой в виске еще никто живым не бывал. Второй охранник сидел в сенях, привалившись к стене. Голова, с перерезанным от уха до уха горлом, запрокинулась на спину. В остекленевших глазах застыли удивление и искренняя обида. Из ближней горницы лился мигающий оранжевый свет, слышались возня, постукивание и тихие голоса. Воняло горелым.

Рух встряхнулся, поднял пистолы и заблажил во весь голос:

Ныне Ангел нам спустился
И пропел: «Христос родился»,
Мы пришли Христа восславить,
Всяких шлюх с тем днем поздравить!

Пинком выбил дубовую дверь, и время словно остановилось. Комната была наполнена вонючим, едким дымом, клубящимся над крохотной железной жаровней. Яков Бык мычал с кляпом во рту, привязанный к тяжелому деревянному стулу, потный, красный, с выпученными осатанелыми глазами и сетью жил, вздувшихся на лоснящемся лбу. В двух шагах от него, на широкой кровати, распласталась его супруга, Наталья, в сарафане, задранном до груди. Красивое, чуть полноватое лицо портил наливающийся сине-багровый синяк. В полумраке белели обнаженные бедра. Навалившийся сверху мужик в звериной маске и одежде из шкур насиловал купчиху, входя сильными безжалостными толчками, от которых кровать шла ходуном. Еще один, в маске и шкурах, стоял у изголовья, сжимая в охапке дочку Якова – Настю, держа у горла девки хищно изогнутый нож. Оба разбойника повернулись на крики и шум, став свидетелями триумфального прибытия Руха. Может, в комнате был кто-то еще, Бучила рассмотреть не успел, время запустилось по новой. Он выстрелил одновременно с двух рук, подсветив горницу алыми

вспышками и подмешав к вонючей горечи терпкий запах порохового дымка.

Насильника смело с жертвы и отшвырнуло с кровати на стену. Второй кусок раскаленного свинца угодил державшему Настю куда-то в плечо, выпавший нож серебристой рыбкой запрыгал по полу. Рух никогда не был хорошим стрелком, а тут не иначе как повезло...

– Заступа, берегись! Зас...

Бучила краем глаза увидел перекошенную мордочку Васьки. Черт оттолкнул его в сторону, а сам странно дернулся, охнул и стал оседать. Из темного угла метнулась неуловимая тень. Разбойник, оставшийся до поры незамеченным, напал сбоку, и не подоспей Васька, Рух бы горя полной ложкой хлебнул. Узкое трехвершковое лезвие на длинной рукояти со свистом рассекло дымные завитки. Бучила парировал молниеносный выпад пистолем, сталь противно скрежетнула о сталь. Он ударил в ответ без особой надежды попасть. Противник, легкий, пружинистый, быстрый, отскочил и секанул снизу вверх, распустив Руху любимую медвежью шкуру от паха до середины груди. Еще чуть, и кишки с причиндалами пришлось бы с пола в ведро собирать. Бучила вновь отбил клинок пистолем и, изловчившись, саданул противника в голову, а когда тот предсказуемо увернулся, угостил сапогом. Достал самым краешком, со злорадством услышав треск сломанных ребер. Супостат согнулся в три погибели и отступил, выставив дрожащий клинок. Рух, жутко ослабившись, шагнул следом.

– Хватит, довольно! – Между ними возник разбойник, зажимавший раненое плечо. Сквозь пальцы текли кровавые ручейки. Голос показался знакомым. – Прекратите!

Раненый поспешно сорвал маску, и Рух удивленно присвистнул.

– Ого, наш пострел везде поспел!

Перед ним, покачиваясь на нетвердых ногах, стоял дамский обольститель Гришка Пронин, бледный, с запавшими глазами и закушенной от боли нижней губой. Бучила глянул на ловкача с длинным клинком и сказал:

– А это, я полагаю...

– Зарни. – Женщина стащила звериную маску, и Рух увидел жуткое месиво вместо лица. Старые шрамы уродливыми буграми покрывали щеки и лоб, рассекали надвое нос, рот оттянулся на

сторону, вместо левого глаза зияла дыра. Правый горел чистой ледяной синевой. Когда-то она была прекрасна.

– Ого, а говорят, это я страшный, как задница Дьявола, – поперхнулся Бучила. – Смотрю, вы тут как-то по-особому празднуете, с выдумкой и размахом.

– Я могу объяснить, – выдохнул Гришка.

– Ну попробуй. Какая причина не снести твоей бешеной суке башку? Нет, я, конечно, слышал, что в Новгороде богатеи совсем умом тронулись, игрища развратные устраивают, жен трахают при мужьях, пиратами наряжаются и, хм... на abordаж друг дружку берут, но тут ведь явно не то. – Рух, не выпуская из виду сладкую парочку, окликнул за спину: – Василий, ты как?

– Ж-живой, – без особой уверенности отозвался черт.

– Хорошо. – Бучила милостиво кивнул. – Давай, Гришенька, объясняй.

– Я пришла за ним. – Зарни ткнула пальцем в обмякшего Якова. – Зло должно умереть.

– Да нет же, – отмахнулся Бучила. – Яшка сволочь и крохобор, каких поискать, но никакой не злодей.

– Зло носит маски, – голос Зарни был печален. – Я родилась у подножия древних гор Из, вы зовете их Камнем или Уралом. Первая красавица Пармы, все окрестные князья набивались в мужья. Мой отец был колдуном-памом, ублажал духов и просил защиты у могучего Ена, создателя жизни. Когда мне исполнилось четырнадцать зим, к нам пришли с заката трое мужчин, высоких, бородатых, красивых. У них была необычная одежда, странные вещи и палки, плюющиеся огнем. Они были веселы и добры, дарили бусы и щедро наливали вина. Мы приняли их, делили с ними пищу и кров. Мужчины хотели золота, шесть месяцев они провели в горах, но Камень не любит чужаков, и они вернулись ни с чем, голодные, исхудавшие, злые. Отец сказал им: «Священные горы Из не приняли вас». Мужчины озверели и накинулись на отца, требуя золота. Отец отказался, ведь все золото в святилище принадлежало великому Ену. Тогда они стали насиловать меня у него на глазах, раз, второй, третий, пока я не перестала считать и дышать. Этого было мало, и тогда добрые люди с заката исполосовали мне грудь и лицо. – Зарни коснулась безобразных шрамов. – Резали, насиловали и били, пока отец не стал говорить. Они

забрали золото, убили отца, а меня бросили умирать. Но я выжила, темный бог Омель помог мне. Я стала изгоем, мной пугали детей. Своих детей я иметь не могла, все внутри порвано и уже не срослось. С тех пор прошли два по десять и еще четыре зимы. Все это время я искала добрых бородатых людей. И нашла.

Зарни замолчала, гордая, суровая, прекрасная даже в уродстве. Пальцы на рукояти оружия побелели.

– Постой. – Рух посмотрел на связанного купца. – Хочешь сказать, Яшка из тех добрых людей?

– Спроси у него.

Бучила выдернул кляп, Яков зашелся кашлем, роняя слюни на бороду.

– Красавица правду сказала? – ласково поинтересовался Рух. – Только не смей врать мне сейчас.

– Мы... мы не хотели, так получилось, – выдохнул Бык. – Разумом помутились, Прохор предложил, а мы и рады... Каюсь, каюсь всю жизнь, и прощения нет!

– А я гадал, чего ты боишься. – Рух качнул головой. – Теперь понятно, откуда у тебя капитал. Кровавое золотишко. Значит, те двое, ростовщик и помещик, дружки твои, Яш? Подошли, тут ты и затрясся за жизненку свою. Одна грязная тайна у вас.

– Не дружки они мне, – крикнул Бык. – С той поры пути разошлись, каждый своей дорогой пошел.

– Как ты мог, отец, как ты мог! – Настя забилась на полу. – Как ты мог!

– Бес попутал, – взвыл Яков. – Виноват я, как есть виноват. Ты меня знаешь, Заступа, нищих привечаю, церкви строю, приютам с сиротками денег даю. Раскаялся я!

– Это вернет ей отца и лицо?

– Нет. – Яков отвел глаза. – Не вернет.

Бучила перевел взгляд на Гришку.

– С этими ясно, а вот ты каким боком сюда?

Гришка передернулся и ответил:

– После того случая, ну, ты знаешь, я сбежал, на каторгу не хотел, скучно больно уж там. Болтался говном в проруби и сам не заметил, как с меховым обозом до Перми Великой дошел. Места дикие, необжитые, а народ хороший, бесхитростный, таких и обманывать

жаль. Зверя бил, золото мыл, в горах зеленый камень разыскивал. Понял: раньше неправильно жил.

– А теперь правильно? Убиваешь, насилуешь, грабишь, во благодать.

– Они заслужили. – Гришка исподлобья глянул на Якова. – Я встретил Зарни, она спасла мне жизнь, а потом рассказала, как было. Она хорошая, ты на лицо не смотри. И я решил ей помочь.

– Я по лицу никогда не сужу, не с моим рылом. И да, они заслужили, – согласился Рух. – А баба, насиленная, заслужила? А парни, которые мертвяками лежат? И другие, ведь были другие?

– Были, – с вызовом выкрикнула Зарни, корча уродливое лицо. – Помнишь, как в вашем Писании сказано? Око за око, зуб за зуб. Моя месть требует крови.

– Ох, ну и умеете испортить вы Рождество. Теперь ясно, зачем был тот цирк в Ерофеевом кабаке – хотели, чтобы как можно больше народу запомнило, будто пили вы всю ночь напролет. А когда исчезли, никто бы не заметил и не вспомнил потом. Хитро придумано, – одобрил Рух и принялся заряжать пистолеты.

Зарни дернулась, поднимая клинок.

– Стой где стоишь, – мягко посоветовал Рух. – Успокаиваюсь я так, а то после ваших баек прямо не по себе. Хрен знает, от кого беды ожидать. Тем более вдруг какой злодей ворвется в наш круг насквозь невинных и хороших людей.

– Не надо, Зарни, хватит, – дрогнувшим голосом попросил Гришка.

– У меня последний вопрос, – сказал Бучила. – Те твари в селе – ваша работа?

– Моя. – Зарни сверкнула единственным глазом. – Нужно было отвлечь людей и тебя, Тот-кто-умер-но-все-еще-жив. Не надо было наниматься в охрану к моему врагу, ты сам виноват.

– Ну уж, как вышло.

– Раз ты здесь, что-то пошло не так, – прошептала Зарни.

– Это из-за козы, – улыбнулся Бучила.

– Какой козы?

– Да забудь. Что за твари?

– Это виркули. – На безобразном лице Зарни играла жуткая кривая улыбка. – Великий Ен научил людей прятать злых духов в

глиняные горшки. Я прихватила с собой нескольких и не прогадала.

– Ты подселила злых духов в живых людей?

– Злой дух, жаждущий крови, и живая плоть, – кивнула Зарни. – Запретное колдовство, после которого мою душу ждет вечная мука в болоте Сир-ю. Это мой выбор и больше ничей. Моя боль.

– Я раньше не видел таких, – признался Бучила.

– Ты ничего не видел, – сказала Зарни. – Здесь, в закатных землях, магия слаба. Позволь закончить с купцом и уходи со мной, ты узришь древние горы Из, растущие от корня земли, бескрайние топи Сямэй-нур, в которых гниют и барахтаются тысячи живых мертвецов, и развалины древнего города Курэг-кар, полные сокровищ и призраков.

– И надо всего лишь позволить тебе убить купца и надругаться над женщиной? – Рух посмотрел на Настю, рыдающую в углу. – А девчонке ты обезобразишь лицо?

– Око за око, – напомнила Зарни.

– Только не сегодня, – глухо возразил Рух. – Не в этот день. Хватит крови, твоя месть удовлетворена, двое твоих врагов мертвы, третий перед тобой. Он заслужил свою смерть, спору нет. Но не будь как они, Зарни, будь выше, подари ему жизнь.

Зарни долго смотрела на притихшего Якова, а потом сказала:

– Ты прав, Тот-кто-умер-но-все-еще-жив, я – не они. Я другая, я Зарни из рода Эрсуль. Цена уплачена, теперь я уйду.

– Милостивица, милостивица, – завыл Яков. – В ногах у тебя валяться буду, в ногах, прости дурака! Денег сколько хочешь проси!

– Запихай деньги себе в задницу, Яш, – посоветовал Рух. – Прощай, Григорий, прощай, Зарни, лихом не поминайте. Проваливайте, и чтобы я вас больше не видел.

Гришка выскочил первым, Зарни кивнула Бучиле и повернулась к дверям. Рух поднял пистолет и выстрелил уходящей женщине в спину. Зарни всплеснула руками и упала ничком, выронив страшный клинок. Наверное, если бы Рух умел плакать, он бы заплакал, не стесняясь показать слезы и мимолетную слабость. Но слез не было, была только черная ноющая дыра вместо души.

– Зарни! – Гришка волком метнулся обратно. – Зарни!

Он упал на колени и подхватил мертвое тело. В отличие от Бучилы, слез у него было в достатке. Зарни тряпичной куклой обвисла у него на руках, маленькая, беззащитная и... дивно красивая. Жуткие

шрамы разгладились, стали незаметными, а может, это просто играли тени скачущего огня.

– Зачем, Заступа, зачем? – завыл Гришка.

– Она бы не остановилась, – глухо выговорил Бучила. – Ты знаешь это и сам. Она бы вернулась, и все повторилось бы вновь. Кто-то должен был разорвать этот круг. Ведь ты не дурак, не рассчитывал, что она после крови и трупов вдруг станет примерной женой и вы душа в душу заживете в маленьком домике на берегу озерца. Не ври мне, Григорий, и не ври себе. Я дал ей то, о чем она мечтала с тех пор, как лезвие ножа впервые прикоснулось к лицу. Мой подарок на Рождество. Вечный покой.

Рух неуклюже повернулся и увидел Васькины копыта, торчащие из угла.

– Идем отсюда, Василий.

– Н-не могу, – слабо отозвался черт.

– Ну что еще за капризы? – Рух подошел ближе и оторопел. Васька сидел в луже черно-зеленой крови, из распоротой бочины клубками ползли темно-фиолетовые кишки.

Бучила сразу все понял – верный Васька принял удар, предназначенный для него. Клинок Зарни разрубил черта почти пополам, из страшной раны торчали осколки начисто срубленных ребер.

– Такие дела. – Васька попытался улыбнуться.

– Молчи, береги силы. – Рух поднял умирающего черта на руки. Он знал, что должен сделать, мысль пришла ясная и единственно верная.

– Заступа, – окликнул Яков. – Прости меня, Заступа, грешен я.

– Пустое. Я тебя не сужу. Кто угодно, но только не я. – Рух на мгновение задержался и вышел за дверь, оставив после себя смерть, трупы и кровь.

По пути Васька дважды терял сознание, приходил в себя и что-то шептал, цепляясь за Руха слабеющими руками. Они шли темными улочками, и избы провожали их взглядами черных окон. Бучила не замечал кусающего мороза и колючего ветра в лицо. Бучила спешил. Выбил калитку, взбежал на занесенное снегом крыльцо и замолотил ногой в дверь. Полетела щепка, изба затряслась. Внутри зашаркало, и испуганный голос спросил:

– Кто там?

– Заступа. Открывай, старая, а то через стену войду.

Лязгнул засов, дверь открылась, появилась бабка Ефросинья, низенькая, сморщенная, сухая, как щепка.

– Благодетель! – делано обрадовалась колдунья. – Вот кого не ждала, ой, гость дорогой!

– Черт твой? – Рух с ходу вытянул Ваську.

– Мой. – У старухи глаза полезли на лоб. – Мой чертушка, а чего это с ним?

– Кончается он, – сказал Бучила и сунул черта старухе, добавив развихлявшиеся кольца кишок. Зеленая кровь хлынула бабке на сарафан и лицо. – Смерть лютую принял, а за смерть чертячью спросят, сама знаешь кто. Ты, старая, похорони его как положено. А если придут за ним, скажи, ты тут ни при чем, может, не тронут тебя.

– Ой чертушка бедненький, ой нечистенький мой, на кого покидаешь меня? Я ж тебя люби-ила! – заголосила колдунья и умоляюще попросила: – Может, ты сам, Заступа? Похорони ты его за ради Христа, я уж старенькая, руки не держат, а я тебе отслужу.

– Не могу, твой он, ты и должна.

– Отпускаю я его, отпускаю. – Старуха сунула черта обратно, неожиданно резво метнулась в избу, зашуршала и вынесла черный сморщенный палец. – Забирай, Заступушка, забирай, а сочтемся потом.

Рух развернулся и, пошатываясь, ушел в зимнюю ночь. Васька, холодный и обмякший, уронил рогатую голову и едва слышно дышал. Края ужасной раны дымились на морозе, кровь пахла железом и гарью. Совсем рядом смеялся и кричал праздничный люд. Никто и никогда не узнал, что праздник едва не превратился в кромешный бушующий ад. Никому не было дела до упыря с умирающим чертом на дрожащих руках. Луна укуталась рваными лохмотьями облаков, звезды погасли, воздух звенел.

– Заступушка, – слабо позвал Васька, едва они свернули в проулок, где росли несколько молоденьких елок. – Заступушка, поцелуй меня на прощание.

– Тьфу, окаяшка, завязывай комедю ломать. – Бучила швырнул сложившего губы трубочкой черта в сугроб и сам без сил повалился на снег, достал из кармана бутылку, сделал добрый глоток, сорвал еловую лапку и с наслаждением зажевал.

– Так, значит, да, а я ведь жисть за тебя последнюю положил. – Васька выбарахтался из сугроба и устроился рядом.

– Кому другому сказочку свою Расскажи, – хохотнул Рух и отдал бутылку. – А то я не знаю, что вашего брата так просто не взять. Поскулишь, и как на собаке все заживет. Подумаешь, выпустили кишки. Я однажды видел, как черта надвое разорвали, и ничего, все заросло.

– Но ведь больно. – Васька выпил и удивленно посмотрел вниз. Из раны текли водка и кровь.

– Только добро переводишь в говно. – Рух подавил вялое сопротивление и забрал бутылку назад.

– А здорово она меня раскорячила, – проблеял Васька и принялся запихивать в распоротый живот потроха. – А это чего? Лишнее, что ли... – Он отбросил через забор склизкий кусок.

– Сука, только извозякался весь. – Рух брезгливо стряхнул с рукава черные сгустки.

– Я отстираю.

– Да уж будь добр. – Рух бросил палец черту на колени. – Это вроде твое.

Васька понюхал палец, задумчиво повертел, примерил на место и со вздохом протянул обратно.

– Забери.

– На хрена?

– Вдруг компания понадобится, кликнешь меня, покутим, вспомним былые деньки. Мы ж теперь как братья с тобой.

– Спасибо. – Рух сунул палец в карман, оценив, на какую жертву пошел Василий ради него.

– Ого! – Васька привстал и скривился от боли. – Ты погляди!

По тропке подбежала блудная коза Машка, тоненько мекнула и ткнулась мордой Ваське в лицо.

– Хорошенькая моя, родненькая, нашлась. – Василий обнял козу. – Нет, ну как она нас сыскала?

– Рождество, время чудес и всякого волшебства, – рассмеялся Бучила. – А сегодня, чудес этих драных, выше всяких краев.

В центре села фыркнуло, яркая искра взлетела и лопнула огромными шарами цветного огня, окрасив все вокруг зеленым и алым, под громкий смех и веселые крики толпы. Черт, упырь и коза

смотрели на небо. На лица падал пушистый искрящийся снег, пахло елкой, сверкал и гремел хвейерверк, взрывались шутихи, детвора хлопала в ладоши и вопила от радости, и жизнь, мать ее так, была ужас до чего хороша.

Зимняя сказка

*В радости скрыты слезы, в смехе таится злость,
Годы уходят черные, прошлое – в горле кость.
Жизнь – череда обманов, всякий играет роль,
Выстрел навскидку в голову – шанс приуменьшить боль.*

Год выдался дивно поганый: на северных границах беспокоили шведы, чинили разбой кораблям и пытались захватить прибрежные крепости, но как-то без фантазии и огонька. Враг был привычный и вроде как даже родной, но следом пришла беда пострашней: летом разразилась страшная засуха, и дождя не видели от Петрова поста до дня святого пророка Ильи. Пересыхали болота, жухли посевы, дым от горящих торфяников застилал небеса, колодцы вычерпали до грязной илистой жижи. Мста обмелела, у Мертвячей излучины обнажился остов затонувшей лет десять назад торговой ладьи. Мальчишки, которые посмелей, натаскали с погибшего судна три пуда гвоздей и подков и пугали рассказами о гниющих в трюме костях. Хляби небесные разверзлись лишь в августе, и, Божьим промыслом, треть урожая была спасена. Радовались рано – вместе с дождями на новгородские земли напал загадочный мор. Хворые сторали от лихорадки и в приступах кашля выплевывали клочьями легкие. Лекари были бессильны, зараза прокатилась по губерниям, скосила без счету людей и унялась только с первым морозом. Нового года ждали как манны небесной.

За обледеневшим оконцем выла и причитала разъяренная декабрьская вьюга, занося Нелюдово колючим снегом чуть не до верху соломенных крыш. Ветер диким зверем ревел в печных трубах и гнул потрескивающие на морозе старые тополя. Небо затянули серые тучи, задушившие солнце, звезды и призрачную луну.

Наталья Граева смотрела на спящих детей. Старший, Алешка, дрых, разметав руки и потеснив младшего, Ванечку, на самый край. Наталья перекрестила детей горячей лучиной, отгоняя безбразников, мелких шкодливых духов, питающихся ночными кошмарами. Если ребенок плохо спит, кричит во сне, беспокоится, знать, рядом вьются безбразники, и гнать их надо поганой метлой.

Наталья задула лучину, завиток тонкого синего дыма поплыл в темноте. Она осторожно прокралась к кровати, скользнула под одеяло и свернулась калачиком. Рядом потопталась и устроилась кошка, наполняя избу уютным урчанием. Сон не шел, Наталья со страхом ждала возвращения мужа. Андрей ушел с мужиками в кабак, а значит, явится поздно и пьяный. И будет бить. Мужик он хороший, грех жаловаться, работает за десятерых, спину ломает, с бабами не гуляет, в детях не чаёт души. Но как напьется, находит на Андрея злая тоска. Поглядит хмуро, будто знает чего, а не говорит, губами пошамкает и кивнет, иди, мол, на двор. На дворе Андрей привязывал жену к коровьему стойлу, задирает рубаху на голову и хлестал вожжами до крови. Наталья охала и сипела, изжевывая закусенный зубами подол. Андрей уставал, развязывал жену и уходил спать. Утром вставал тихенький, млелый, прятал виновато глаза, старался всячески услужить. Золото, а не муж. В пятницу все повторялось.

Наталья сжалась, услышав, как в сенях брякнула дверь. Сердце затрепыхалось, грозя выскочить из груди. Скрипнула вторая дверь, в избу ворвалось облако морозного пара. Наталья слышала тяжелое, надсадное дыхание, пахло кислым вином и блевотиной. Она ждала, когда потеребят за плечо и молча позовут за собой в темноту. Туда, где будут только боль, слезы и страх. Наталья затаилась, уловив приближающиеся шаги. Господи, дай только сил...

Кровать скрипнула под весом мужского тела, Наталья перестала дышать. Андрей лег, не снимая одежды, и затих. Чуть слышно замычал и потянул на себя одеяло. Наталья не двигалась. Творилось что-то странное. Бить ее, видно, не собирались. И от этого становилось только страшней. Черная тревога угнездилась в душе. Она почувствовала, как муж дрожит. Время текло словно подгоревшая каша, вьюга унялась, ветер утих. Андрей дрожал, Наталья всем телом ощущала исходящий от мужа озноб. Мысли в голову лезли одна ужасней другой. В прошлом году Фомка-пьяница на Рождество в сугробе уснул, жив остался, бедовая голова, но пришлось руки и левую ногу отнять. Скачет цаплей теперь, не может культяпками рюмочку взять, губами хватает на потеху другим... А если и Андрей поморозился? Наталья не выдержала, сердце не каменное, и прошептала:

– Замерз?

– Замерз, – едва слышно отозвался Андрей. – Пока дошел, как пес окошел. Ща обогреюся, спи.

Голос у него был тихий и незнакомый, словно чужой, зубы дробно приклацывали.

Наталья хотела обнять мужа, да что-то остановило. Она снова притихла, слушая ровное дыхание спящих детей и всхлипы Андрея. Тревога росла, свивая в душе гадючье гнездо. Все было не так. Непривычно... Неправильно...

Андрей ворочался и кутался в одеяло, потом кровать вновь заскрипела. Загрохотала заслонка, лязгнула кочерга. Наталья медленно повернулась. Андрей скорчился возле печи и раздувал тлеющие уголья, подсовывая берестяные обрывки.

– Ты чего? – удивилась Наталья.

– Холодно, – прошептал Андрей. – Огонь разведу.

– Я с вечера топила, – неуверенно сказала Наталья. Ей даже без одеяла было тепло. Пока ужин готовила, прогрелась изба.

– Мало топила. – Андрей подкинул горсть тонких щепочек, сходил к двери и принес охапку поленьев. Пламя крепло, рассеивая притаившуюся возле печки мрачную темноту. Андрей набил полную топку дров и сел рядом, закутавшись в тулуп и вытянув руки к теплу. Огонь гудел, оранжевые отблески плясали на окаменевшем лице. Он смотрел на огонь и был где-то далеко-далеко. Наталья боялась пошевелиться. В горнице быстро теплело, ночная рубаха липла к спине, между грудей скопилась противная лужа. Пламя в печке стало ровным и жарким, дрова прогорели, добавив к оранжевому свету синие всполохи.

– Холодно, холодно, – услышала она сдавленный шепот. Андрей дернул плечами, сбросил тулуп и встал, покачиваясь на нетвердых ногах. Наталья и ахнуть не успела, как он вступил на лавку и, поскуливая от наслаждения, полез в раскаленное печное нутро...

– Такого пороса князьям на стол подают, – фыркнул Бучила равнодушно, изучая лежащий на подстеленной дерюге обугленный труп. Страшный жар превратил тело в спекшийся бурый кусок. Аппетитная корочка треснула, обнажая нежно-розоватую мякоть и запекшиеся подтеки белого жира. Одурающе вкусно пахло жареным мясом. У Руха, не жравшего с утра, слюни чуть на пол не потекли.

Баба в растрепанной одежде, застывшая возле стола, ахнула и повалилась на колени.

– Можно ли так-то, Заступа? – укорил Фрол Якунин, сельский пристав и большой по нелюдовским меркам человек, ответственный за порядок и сбор налогов в селе и окрестностях. Представитель власти, судья и полиция в одном толстом, неряшливо выбритом, битом оспой лице.

– Так если похож? – развел руками Бучила. – Я чего вижу, то и говорю, нету во мне лицемерия и всяческой лжи. Ты вот на жабу в шубе похож. А я на принца в изгнании.

– Человек помер, – попытался усюветить Фрол.

– Будто все не помрем, – буркнул Рух и, смягчившись, сказал воющей бабе: – Ну не реви, не реви, мужа потеряла, зато глянь сколько еды!

Баба утробно всхлипнула и обмякла на покрытом сажей полу. Утешение вдов никогда не было сильной Руховой стороной. Она затряслась в беззвучных рыданиях, и Бучила, случайно заглянув ей за ворот, увидел успевшие поджечь сине-багровые полосы.

– Наказание мне. – Фрол страдальчески закатил глаза к потолку. – Я тебя за советом позвал, а ты кочевряжишься.

– А какой тут совет? – пожал плечами Бучила. – Помершему вколотить в сердце кол и закопать за погостом без креста, как самоубийце положено. Бабе мужа оплакать и начинать сызнова жить.

– Самоубийца? – недоверчиво поморщился пристав.

– А кто, святой равноапостольный мученик? В печку сам залез? Сам. Кто помогал? Никто, кроме собственной дурной головы. Без меня разобраться не мог?

– Мог, – приуныл Фрол. – Да ведь не верю, что мужик из кабака поддатый пришел и самого себя заживо сжег. Не полоумный какой, не юродивый, в сектах зловредных не состоял, богобоязненный опять же, отец Иона завсегда подтвердит.

– Чужая душа – потемки. – многозначительно воздел палец Рух. – Человек сегодня один, завтра другой, и хер знает, чего от него ожидать. Свобода воли и прочая дребедень, один вдруг в дерьме начинает видеть тайные письмена, второй бабой прикидывается, третий себя запекает в печи. Всяк со своей придурью. Тебе не плевать?

– Странно это, – вздохнул Фрол. – Не верю, и все.

– Ну так за чем дело встало? – Бучила ободряюще хлопнул его по плечу. – Ты пристав, тебе и работа. Бегай, ищи, снег по селу вороши. Авось и разгадаешь тайну великую. Но без меня. Я вообще хотел месячишко вздремнуть, а тут ты. Мужик явился пьяным домой и на глазах у жены сгорел. Чего непонятного? Пьяным, смекаешь? А пьяные – все дураки, по себе знаю.

– Может, и так, – вздохнул Фрол.

– Может, и так, – передразнил Рух и окликнул скулящую вдову: – Эй, любезная, сильно пьяный он был?

– Выпимший. – Баба подняла зареванные глаза. – Своими ногами пришел, Андреюшка мой меру-то знал.

– Говорил чего?

– Сказал, замерз и согреться не мог, – всхлипнула баба. – Взял и печь затопил, а я дура-а не зна-ала...

– Оставим голубушку одну. – Бучила взял пристава под локоть и вывел из избы на крыльцо, плотно затворив за собой дверь. Яркий свет болезненно резанул по глазам. На заиндевевшем от мороза голубом небосводе застыло пылающее холодом ослепительно-желтое солнце. Нелюдово тонуло в искрящемся легком снегу, ледяными косогорами сбегая к замерзшей реке. Из-за забора слышались вопли и крики играющей детворы.

– Ты, Фрол, к безутешной вдове присмотришь, – посоветовал Рух и поглубже натянул капюшон. – Спина у нее исполосована, видать, поджаренный злобничал. Ну и не выдержала баба. Явился пьяный, лыка не вяжет, она его в печь. Я б так и сделал.

– Ты ее видел? – кивнул за спину пристав. – Худовата, а в покойном весу пудиков пять.

– Может, помог кто, – не сдался Бучила. – Соседка там, например. Бабья взаимовыручка, и все такое.

– А не легче было ему рожу подушкой прижать? – возразил Фрол.

– Умный, да? – фыркнул Рух. – Въедливый? Вопросыки хитрые задаешь? Легкие пути тебе не по нраву? Ну-ну. Тогда сам и разбирайся, наше вам с кисточкой.

Он осторожно спустился по обледеневшим ступенькам, под каблуком весело хрупнул снежок. Сгорел мужик и сгорел, всякое в жизни случается. Если Фролу заняться нечем, пускай развлекается, не стоит человеку мешать. Чем смог, тем помог. Да и дело-то плевое,

подумаешь, пропойца с дури в печку залез. Мало ли их концы отдают каждый год? А зимой, да в праздничную пору, тем более. Зимой мужики от безделья сходят с ума и оттого меры не знают в вине. Оттого и чудят с размахом и выдумкой. На прошлое Крещение четверо пьяных в купель окунаться пошли да одного там и забыли. Под утро пропажи хватились, прибежали, а он в проруби на ступеньке сидит. Тихенький, молчаливый, весь насквозь ледяной. Господь безбожников покарал. Один – в могилу, трое больше капли в рот не берут. Рух кривенько усмехнулся и бодро зашагал по занесенному снегом селу, твердо уверенный, что случай с Андрюшей и печкой – всего лишь пустяковое недоразумение. Естественно, он ошибся. Очень сильно ошибся. Просто ужаснейшим образом как.

Пожарище дышало нестерпимым жаром и выплевывало облака едкого серого дыма в ночные темные небеса. Угли зловеще багровели на налетавшем ветру и выпускали длинные жадные языки быстро опадавшего пламени. Обрушившиеся стропила торчали голыми ребрами, подпирая уцелевшую стену. Посреди пепелища скорбным надгробием торчала закопченная печь. Снег, черный, подтаявший и ноздреватый, вытоптаный почти до земли, превратился в жидкую грязь и противно лип к сапогам. Вокруг валялись растащенные горелые бревна, ведра и железные, хищно загнутые багры. Пожарная команда из соседей сделала все, что могла. По сути своей ничего. Деревянную избу, если полыхнула, уже не спасти. Тут бы успеть другие дома отстоять, не то полыхнет все село, как не раз случалось на нелюдовском долгом веку.

Рух задумчиво пнул тлевшую головешку, высмотрел в толпе зевак Фрола Якунина, подошел к приставу сзади и тактично покашлял, борясь с желанием дать оглоеду по плешивой башке. Дожили, мать твою, уже на пожары зовут. Дальше что, из-под старух лохани ссаные выносить или с детишками нянькаться?

– Заступа, – обрадовался повернувшийся Фрол. – А я тебя жду не дождусь.

– Ну дождался, – поморщился Рух. – Целовать будешь?

– Изба сгорела, – возбужденно взмахнул руками Фрол.

– Да ладно? – удивился Бучила. – А то я не вижу. Ты еще скажи, зима на дворе, снег холодный или другую очевидность какую за новости выдавай.

– Да я не про то. – Якунин раздраженно сплюнул на снег и повысил голос. – Петька! Петька! А ну подь сюда!

На крик из темноты вывалился грязный, измазанный сажей парень в наброшенном на плечи полушубке. Волосы с правой стороны головы обгорели, кожа на щеке вздулась пузырями ожогов. На руках он держал маленькую, закутанную в шаль девочку, такую же чумазую и перепуганную, похожую на мокрого птенчика, выпавшего из гнезда. От обоих разлило гарью и псиной.

– Это Петька. – Фрол привлек к себе парня. – Герой нынешний наш.

– Скажете тоже, Фрол Ильич. – Петька сконфузился. Глаза девочки в темноте блестели, как у волчонка.

– Герой-герой, – повторил Якунин. – Сестру и двух братанов из пламени вытащил.

– А мать не спас. – Герой шмыгнул носом.

– На все воля Божья, – вздохнул Фрол. – Ты, Петька, давай-ка Заступе все как на духу расскажи.

– Здрассте. – Петька на всякий случай отступил от Бучилы. – Рассказывать нечего. Вечером вернулся отец, они с дядькой Николаем сети плели. Пришел на себя не похожий, полушубок в снегу, сам квелый, молчаливый, будто пахали на нем. Даже не разделся и есть не стал, кашу поковырял и ложку бросил. Мамка больная, спина не разгибается, приставать не стала, мало ли что. Малых спать уложила и сама улеглась. Я воды на утро принес и тоже прилег. А отец сидит, на стену смотрит, и снег растаявший с полушубка течет. Целая лужа. Ну я подивился на него и заснул. Проснулся – батюшки, изба полна дымом, у дверей пламя горит, дрова кострищем уложены. Пожар, стало быть. Я вскинулся, вижу: отец сидит, где сидел. Глаза на меня поднял и говорит: «Ниче, Петька, сейчас согреемся». И смеется, а у самого кресало в руке. А огонь по стене уже прет, и дышать нечем, и в дверь не попасть. Мать проснулась, не понимает ничего, малые на печке орут. И отец смеется, я тот смех всю жизнь помнить буду. До сих пор хохот этот в ушах. Я окно выбил и давай малых наружу бросать, мать хотел вытащить, да ноги у нее отнялись. Схватила меня и сказала: «Спасайся, Петенька, братиков и сестреночку береги». А я ей: «Вы, матушка, шутить перестаньте». В охапку схватил и попер. Тут крыша упала, меня опалило, а мать там и осталась. Как выбрался – не помню,

очнулся под окнами, малых, как щенят, из сугроба повыудил, а тут и люди сбежались. Вот и весь сказ.

– Ты молодец, – кивнул Бучила. Парнишкин рассказ навел на самые мерзкие мысли.

– Да чего там, – Петька отвел глаза.

– Татьяна! – позвал Фрол и велел появившейся бабе – Забирай героя.

– Пойдем, миленький, пойдем к нам. – Баба ласково увлекла Петьку за собой. Тот не сопротивлялся. Девочка у него на руках неотрывно смотрела на пожарище, где сгорели батька и мать.

– Такие дела, – глубокомысленно изрек Фрол. – Всяк со своей придурью, говоришь?

– А ты прямо и послушал меня, своей головы, что ли, нет? – огрызнулся Бучила. – Тогда непонятно было, а теперь еще непонятнее. Тот дурак согреться захотел и в печку залез, а этот дурак на мелочи размениваться не стал и сразу избу подпалил вместе с женой и детьми. Один раз – случайность, второй – подозрительность.

– А третий – закономерность, – хитро прищурился Фрол.

– Третий? – напрягся в нехорошем предчувствии Рух.

– Вот этот третий и есть, – кивнул в сторону дымящего пожарища Фрол. – Позавчера за полночь, тут через улицу, парень с гулянки приперся домой, Ефимка Игнатов, гроза всех нелюдовских молодух, красавец и балагур. Станный явился, в полуобмороке и с улыбочкой идиотской. Матери сказал, что встретил ту единственную и больше ему не нужен никто. Вот только очень Ефимка замерз. Суббота была, банный день, ну и в баню греться ушел. Час минул, два, мать беспокоиться начала. Ванька, конечно, париться мастер, но мало ли что. Ну и как в воду глядела. Дверь распахнула, а из бани жар вперемешку с мясным духом, как из Преисподней, хлещет, мать-старуху с ног повалил. Внутри темнотища и пар такой густой, что хоть в карманы черпай. Ефимку на полке нашли, красного всего, шкура облезла, сварился парень живьем. Два часа еще прожил. Что скажешь теперь?

– Что какая-то херня творится в селе, – вынужденно признался Бучила.

– И по твоей части, видать.

– Видать, по моей. – Рух зябко поежился. Предчувствия были самые нехорошие. Скоротал зиму в спокойствии, етить ее мать. Нет, ну за какие грехи? Трое мужиков сослались на холод и попытались согреться, у кого на что хватило идиотской фантазии и ума. Сука, это как надо отморозить башку? Третий придурок вообще чуть детей родных не сгубил, и ничего не шелохнулось в душе. Как там Петька сказал? Смеялся отец. Заживо горел, дети и жена горели, а ему было смешно. Чистое сумасшествие. Нет, зима, конечно, дело такое, метели и вьюги, дующие с проклятых урочищ и древних могильников, нашептывают всякое, искушают, но чтобы так?

– Ну и какие догадки? – нарушил затянувшееся молчание Фрол.

– А никаких, – развел руками Бучила. – Свечку не держал, утверждать не берусь. Трое связаны, а чем, не пойму. Молодые здоровые мужики, все вернулись домой в темноте, все дико замерзли и все запеклись, кто как сумел. Ну бред же.

– Бред, – поддакнул Фрол. – Я вот думаю, бес, может, шалит, залезает в людев и гадости шепчет, самоубиваться велит.

– Может, и бес, – кивнул Рух. – А может, не бес, смысл на пустом месте гадать?

– Но надо что-то делать!

– Например? Предлагаешь за каждым мужиком в селе приглядеть? Извини, я на триста кусков не порвусь. У тебя сколько под началом людей?

– Двое, – понурился Фрол.

– Ты третий, со мной, считай, четверо, – блеснул математикой Рух. – И чего? Ты, Якунин, пойми, даже если какая тварь в селе завелась, пока сама не наследит, нам ее как иголку в стоге сена искать. Домовых могу поспрошать, но раз сами до сих пор не нашептали, значит, не видели ничего. Мало их, и в этом ваша, человечья, вина. Забывать стали порядки-то старые. Раньше каждый вечер домовику ставили плошку жирного молока, а теперь дай бог раз в неделю ополосков плеснут. Ни почета, ни уважения, вот они и повывелись от тоски. Скоро вымрут, завоюте.

– Меня совестить не надо, – посуровел Фрол. – Я свое дело делаю, а ты свое, и домовые тут ни при чем. Ты мне суку эту вынь да положи, как обязан, без вот этих вот разговорчиков.

– Как я тебе ее выложу? – взорвался Бучила. – Предлагаешь мужиком прикинуться и по селу ночами, как приманка, бродить? Я те русским языком повторяю, чтобы выложить, надо знать, с кем дело имеем!

Рух краем глаза заметил движение, и тут звонкий уверенный голос сказал:

– Господа, извините, что вмешиваюсь в вашу изысканную беседу. – К ним медленно приблизился высокий мужчина, закутанный в подбитый мехом утепленный плащ и коснулся краешка треуголки. – Разрешите представиться, граф Александр Донауров. Возможно, я смогу вам помочь.

В печке потрескивало и фыркало пламя, наполняя комнату на втором этаже нелюдовского постоялого двора умиротворяющим мягким теплом. Горящая на столе лампа чуть разгоняла плотную темноту, заставляя морозный узор на окне таинственно и нежно мерцать. Кроме Руха и Фрола Якунина, в комнате были трое. Невесть откуда свалившийся граф Донауров и с ним двое подручных: тощий человечек с крысиным лицом, кутающийся в безразмерную шубу, и высокий статный мужик с выправкой военного и жутким шрамом на левой щеке, затянутый в черный мундир без знаков различия.

– Надеюсь, формальности соблюдены? – Граф, развалившийся в кресле, доброжелательно улыбнулся. Молодой, не старше двадцати пяти, красивый, холеный, породистый. Волосы русые, глаза светлые, движения быстрые, точные, без суеты. Высокие скулы и волевой подбородок выбриты начисто.

– Документы в порядке. – Фрол ознакомился с дворянской грамотой и вернул гербовую бумагу владельцу.

– Вот и славненько. – Донауров лучился гостеприимством. – Безмерно рад, что приняли мое скромное приглашение. Прошу знакомиться, мой ближайший помощник по ученой части – Карл Альбертович Ведянин. – Крысомордый мужичонка чуть поклонился. – А это Николай Старостин, прапорщик пятого кавалерийского, ныне в отставке, мой начальник охраны.

Старостин угрюмо кивнул, Рух шкурой чувствовал исходящую от него плохо скрытую неприязнь.

– За знакомство! – Граф Донауров поднял кружку с вином.

– За знакомство, – отсалютовал своей Бучила и сделал добрый глоток. Подумал и осушил пойло до дна. Такого шикарного красного он давно не пивал. Фрол лишь вежливо пригубил, оставил чашку и спросил:

– Так чем вы можете помочь, ваше сиятельство?

– Всем, и еще чуть больше того, – ответил граф. – У вас проблема, у меня решение.

– А кто сказал, что у нас проблема? – фыркнул Бучила.

– Птичка на хвосте принесла, дорогой мой Заступа, – отозвался Донауров. – Несколько загадочных смертей, уверен, вы с господином приставом уже отыскивали некую связь.

– Ну предположим.

– Погибшие были не в себе, опустошены и хотели согреться, ведь так?

– Ну так. – Рух искоса переглянулся с Фролом.

– И согрелись до смерти, – сказал Донауров. – Карл Альбертович, будь любезен, объясни нашим новым друзьям.

– С удовольствием. – Крысомордый расплылся в торжествующей улыбочке, обнажив редкие желтые зубы. – Мы имеем дело с духом зимы, научное название Нивеус эффиджи, в Германии известна как Диа Айсингфрау, в Скандинавии как Ледяная дева, а у нас как...

– Снегурочка, – недоверчиво закончил за него Рух.

– Приятно иметь дело с образованным... ммм... человеком, – восхитился Ведянин. – Где учились, позвольте узнать?

– Тут недалеко, на сеновале с рыжухой одной, – отозвался Бучила. – То есть ты считаешь, что у меня в селе Снегурочка драная завелась?

– Факты – упрямая вещь, – кивнул Ведянин.

– Снегурочка? – округлил глаза Фрол.

– Снежный дух, – пояснил Рух. – Кровожадный, злобный и пакостный. Появляется из девок, которые зимой померли в лесу. Живет в чаще, с весны по осень спит на костях, а как подморозит, начинает по лесу блукать и стонать. Холодно падле. Если живого встретит, вытягивает тепло без остатка. Человек после этого как пришибленный ходит и вскорости помирает. Все сходится. Я мог бы и сам догадаться, времени не хватило.

– И добавить нечего, – восхитился Ведянин. – Потрясающие познания. Хотя вы же Заступа, это ваш хлеб.

– Пойдите. – Рух уставился на графа. – Ну ладно, Снегурочка, уговорили. Да только ваша братия тут при чем? Дворянин, ученый крайне специфических знаний и страшила с глазами убийцы.

– Я охотник, – выдержав короткую паузу, ответил Донауров. – Страстный и азартный охотник на нечисть. Все, кто со мной, – моя охотничья партия.

– На нечисть? – поперхнулся Бучила.

– О-о-о, не беспокойтесь, я не за вами, – поднял руки Донауров. – Иначе мы бы сейчас не пили вина, будьте уверены.

– Точно, не пили бы. – У отставного кавалерийского прапорщика дернулась изуродованная щека. Голос Старостина напоминал царапанье когтей по стеклу.

– Собака, что ли, взлайнула? – Рух картинно прислушался.

– Чего? – напрягся Старостин.

– Не надо, Николай, мы тут все дружим, – приказал Донауров. – Поймите, дорогой Рух, в моих трофеях есть мавки, русалки, полуденницы, анчутки и даже кикимора. А Снегурочки нет. Снегурочка будет венцом моей скромной коллекции.

– Тогда да, Снегурочка просто необходима, – согласился Бучила. – Ну, а мы вам зачем? Сами не справитесь?

– Справимся, – подтвердил граф. – От вас нужен только нейтралитет. Вы, Заступы, весьма щепетильны, когда посторонние проворачивают дела на вашей земле. Поэтому прошу официального разрешения на отлов и уничтожение Ледяной девы. Такого же разрешения прошу от уважаемого Фрола Ильича, как полномочного представителя власти республики. Естественно, ваши услуги будут щедро оплачены.

Донауров бросил на стол два весело звякнувших кошелья.

– С этого надо было и начинать! – Рух по-хозяйски сгреб в охапку оба кошелья и встал, с грохотом отодвинув стул. – Договоримся так: в ваши дела не лезу, но со стороны присмотрю, тут я в своем праве. Всего доброго и удачи. Фролушка, ты идешь?

На улице Бучила мельком заглянул в кошельи и всучил один приставу.

– Держи, честно заработал, ни хера не делаю. Тут, почитай, жалованье твое за полгода. Можешь даже взяток с купчишек не брать. В Новгороде про то узнают, будут тебя людям за деньги показывать, как животину невиданную.

– Какие взятки? – оскорбился Фрол, пряча в недрах шубы кошель.

– Обыкновенные. А то я не знаю.

– Поймают Снегурку? – Фрол поспешил сменить щекотливую тему.

– От дойного козла молочка ведерко поймают они. – Рух захрустел снегом прочь от постоянного двора. – Охотнички, перегибом их через осину дери. Шуты гороховые. Мавок он с анчутками заохотил и корчит тут из себя.

– Опыт-то есть, – возразил Фрол.

– Опыт есть, ума нет, – согласился Бучила. – Как бы тебе объяснить, мой не берущий взятки дружок. Прибить пару анчуток и сразу пойти на Ледяную деву охотиться – это как душировать новорожденных котят, а потом змея трехголового повстречать. Со Снегуркой сцепятся, клочки по закоулочкам полетят. И я мешать не буду, пуццай развлекаются, у богатых свои причуды.

– Ты чего задумал, Заступа? – с придыханием спросил Фрол.

– До сути докопаться и суть эту кому-то наизнаночку вывернуть, – отрезал Бучила, теряясь в темных и заснеженных улочках спящего села.

Пепелище напоминало жирную черную кляксу на белоснежной странице. Полночная темнота расплзлась по селу плесневелыми тряпками, хищно-желтая луна липла среди бесчисленных мириад тускнеющих звезд. На окраинах брехали собаки. Рух смотрел на остывшие угли. С чертовой Снегурочкой надо было что-то решать. Можно, конечно, дождаться весны, и само все утихнет, но за это время сколько народу выпьет до дна? Аппетиты будут расти, и к Пасхе село останется без мужиков. Оно вроде и к лучшему, это же страсть сколько будет безнадзорных девок и баб. Целый гарем, на зависть иному султану. Шутки шутками, а нужно подлую бабу ловить. У всего есть начало. С чего начинается Снегурочка? Пути два. Первый – снежного духа может вернуть к жизни сильный колдун. Запретное чародейство и кровь. Цель одна – скормить Снегурке побольше живых и использовать для гадостей разных. Такого колдуна в селе нет, Рух бы

знал. Ведьмы и знахарки не в счет, эти ни в жисть не посмеют, да и сила не та. Остается второй путь – в старых книгах написано, в стародавние безбожные времена Снегурок вызывали бесплодные и безутешные, выпрашивая у леса и зимы в подарок ребеночка, чтобы хоть до тепла насладиться родительским счастьем. Несусветная глупость, но от людей любой херни можно ждать. Круг подозреваемых резко сузился. Если Снегурочку вызвали, то шалит она неподалеку от нового дома, пока дух не освоился в теле, мозги у него не работают, оттого и делает глупости. Круг поисков быстро обрел очертания: свежее пепелище – вот оно, баня, где парень запарился на соседней улице. Дом с печкой, в которую залез мужик, вообразив себя пирожком, и вовсе рядом, вон крыша видна. Оставалось найти поблизости одинокую бабу или парочку без детей. Почему без детей? Снегурка любовь и тепло не делит ни с кем. И если в семье были дети, то быстро кончаются...

– Здравсте, хозяева, не помешал? – Бучила без стука ворвался в дверь низенькой, перекосившейся на сторону избы стариков Митиных. На улице еще густела снежная темнота, но здесь уже не спали. Седовласый, с лысым теменем дед едва не сверзился с лавки, крохотная сгорбленная старушка выронила глиняную кружку, и осколки рассыпались по полу. Полосатая кошка выгнула спину, зашипела и смылась за печь. – Где она? – рявкнул довольный произведенным впечатлением Рух.

– К-кто? – заикнулась первой пришедшая в себя древняя бабка.

– Снегурочка где?

– Т-там. – Старуха корявым пальцем ткнула в соседнюю дверь. Рух аж опешил. Этот дом был у него третьим по счету, и нигде тактика бравого наскока еще не сработала. В первой избе голая баба подняла истошный визг, прикрываясь одеялом и пряча молодого любовника. Во втором его прокляла молящаяся перед иконами тощая злобная тетка. Снегурочкой там и не пахло. И тут такая удача. Ну или бабка со страху лишилась ума.

Бучила выхватил пистолы, пнул дверь и вылетел на скотный двор, с ходу углядев в полутьме кривенько слепленную из снега фигуру. С помощью такой Снегурок и вызывают. Бучила заглянул в каждый угол, осмотрел хлев, пошарил под жердями, запачканными старым птичьим пометом, и разочарованно выматерился, обнаружив пустую

соломенную лежанку и узкий подкоп, ведущий на огород. Ледяной девки не было и в помине. В избе послышалось бряканье и сдавленный шепот, и Рух поспешно вернулся. И вовремя. Ушлая бабка выталкивала деда на улицу, тот путался в драном полушубке и тихонько поохивал.

– Беги, Кузенька, беги, спасайся, по наши души анчихрист пришел. Заступа это! Беги, я его задержу!

– Вы куда собрались, старичье? – любезно поинтересовался Бучила, аккуратно прихватил обоих за шкурки и усадил отдохнуть.

– Не виноватые мы! – заголосила старуха и попыталась брякнуться на колени. Дед сидел тихонечко, видать, окончательно смирившись с судьбой.

– Это уж, бабулечка, я буду решать. – Рух ногой пододвинул лавку и сел. – Вы понимаете, дураки старые, что за такие фортели на костре полыхнете?

– А и полыхнем, – с вызовом прошамкала бабка. – Пожили – хватит, чего нам терять? Ты нас, Заступа-батюшка, не стращай.

– За это дело, – Рух кивнул за спину, – анафеме предадут и костер обернется вечным адовым пеклом. Теперь страшно?

– А я говорил, Матренушка, говорил, – залепетал дед Кузьма. – Грех великий задумали...

– Цыц, старый, – прикрикнула бабка, и дед втянул лысую голову в плечи. – Теперича поздно. Давай, Заступа, вяжи злодеев. – Она вытянула сухенькие ручки с черными вздутыми венами.

– Совсем умишком-то трехнулась? – изумился Бучила. – Ага, щас я буду тебя в кандалы забирать. Ерунду не носи. И ты, дед, не трясись. Рассказывайте, почему у вас на дворе баба бесовская снежная и на кой хер вам все это сдалось.

– Пожить как люди хотели на старости лет, – выпалила бабка Матрена. – Было у нас три сына, да кончились все. Старший, Васенька, от лихоманки сгорел, среднего, Яшеньку, на лесовале раздавило сосной, младшего, надежу нашего, Семушку, в солдаты забрали, а через год весточка пришла, убит на Ижорской войне, где могилка – не ведаем. Остались одинешеньки век коротать.

– И решили Снегурку слепить, – догадался Бучила.

– Добрый человек надоумил, – кивнула Матрена. – По осени оставался у нас ночевать, все расспрашивал, сердешный такой,

понимающий. Сказал, чего вдвоем куковать, есть способ верный, не спужаетесь – будет дите.

– И вы не спужались.

– Не спужались, – с вызовом ответила бабка. – Решили по-людски напоследок пожить. Тяжко одним, у меня сил нет, и дедка болеет, ноги едва волокет. Иной раз в избе ни дров, ни воды, сидим в обнимку и смертушки ждем. А она все, проклятухая, не идет. Согрешили мы, Заступушка, и о том не жалеем.

– Люди гибнут в селе, – глухо сказал Бучила. Стариков было жаль. Сколько их таких по свету, одиноких и брошенных? Не должно так, против закона и людского, и божьего.

– Это не Аннушка, – ужаснулась бабка Матрена.

– Чего? – поперхнулся Рух. – Аннушка?

– Аннушка, – подтвердила старуха. – Мы раньше дочку хотели, чтобы в честь матушки дедковой Анной назвать, а рождались сыны. Так и не получилось. А теперь у нас Аннушка есть, красота ненаглядная.

– Пошли-ка со мной. – Рух указал на скотный двор, пропуская стариков вперед. Аннушка, епт. Нет, ну это надо, тварь лесную, душу проклятую, чудище ненасытное, Аннушкой обозвать. И куда только катится мир?

На этот раз снежную бабу он осмотрел самым тщательным образом. Сделано все было на совесть и по уму. Снеговик в сажень высотой, в охранном круге из пепла и могильной земли, с грубо намалеванным жутким лицом и куском лыка вместо волос.

– Добрый человек научил? – спросил Рух у пугливо жмущихся стариков.

– Он, – кивнула бабка.

– А жертву кто приносил?

– Какую жертву?

– Обыкновенную, человеческую, ведь из ничего не рождается ничего.

– Никакую жертвину мы не делали, – побожилась Матрена. – Чай не нехристи. Добрый человек сказал, как слепить и слово какое замолвить, и оставил скляночку малую, сверху на снегуру вылить велел.

– Сскляночку, говоришь. – Рух присмотрелся к черному подтеку на башке снежной бабы. Наскреб ногтем потемневшего снега, принюхался и попробовал на язык. Определенно кровь, сладкая, отдающая железом, человеческая кровь. Плюс что-то еще, странный тревожащий привкус.

– Сскляночка где? – Он выплюнул растаявшее кроваво-снежное месиво.

– Нету сскляночки, – злорадно сообщила Матрена. – Добрый человек велел разбить и в реке утопить. Кузьма так и сделал. Да, старый?

Дед Кузьма делал вид, будто оглох, с интересом разглядывая висящую в углу, покрытую хлопьями инея паутину.

– Де-ед! – повысила голос старуха.

– Ай? – очнулся Кузьма. – Ты, матушка, не злобись, запомятовал я ссклянку разбить.

– Ирод, – ахнула бабка. – Я ж обещала!

– Если обещаешь, надо все делать самой, запомните, бабушка! – Рух затащил старика в избу и ласково попросил: – Давай сскляночку, дед.

– Это я шас, это я мигом. – Дед засуетился, упал на карачки и нырнул куда-то под печь. Выпрямился, потрескивая суставами, и протянул на сухонькой дрожащей ладони пузыречек дымчатого стекла, закупоренный пробкой.

– Жалко выбрасывать, – повинулся Кузьма и спрятался за Бучилу.

Ворвавшаяся следом Матрена дышала огнем.

– Так, села и ротик закрыла, – приказал Рух, спасая свое драгоценное время и несчастного деда Кузьму. Матрена неожиданно подчинилась, бессильно опустившись на лавку.

Рух посмотрел сквозь сскляночку на лучину. На стекле были выдавлены незнакомые символы, колдовская тайнопись, скорее всего. Греческие буквы без системы и остроугольные руны, остальные знаки опознать не сумел. Судя по всему, какое-то сдерживающее заклятие. Голову посетила запоздалая мысль о пользе образования, а не водки и баб. Пробка – кусочек осины, обожженный до черноты, поддалась с легким хлопком. Бучила осторожно принюхался. Пахло болью и расколотыми костями. Да нет, не может этого быть. Внутри ссклянки содержалась кровь и живая человеческая душа. То, что с легкостью

заменяло необходимую жертву для ритуала призыва Снегурочки. Страшное, проклятое колдовство. Человека пытками доводят до иступления, а отлетевшую душу ловят в специальный сосуд. Какого хера тут вообще происходит?

– Аннушка не виновная, – простонала бабка Матрена. – Хорошая она у нас, добрая. Заступушка, не трогай ее...

– Тихо, – отрывисто приказал Рух. В избе ощутимо похолодало, из щелей двери, ведущей на двор, сочились струйки морозного пара, разошедшиеся доски покрыла искрящая вязь. Неужели явилась? Бучила толкнул дверь и шагнул в ледяную темноту. Снегурочка застыла возле стены, неясная тень на фоне темного сруба – невысокая девка, лет около двадцати, в вышитой белой рубахе. Полупрозрачная ткань туго обтягивала бедра и маленькую острую грудь с набухшими от холода, крупными сосками. Длинные белые волосы струились вдоль плеч. Блестящие голубые глаза смотрели внимательно. Рух на мгновение забыл, зачем шел. Девка была красива дикой, ослепляющей красотой.словно морозный январский закат: обжигающий, зловещий и яростно ледяной. Из-за таких женщин королевства рассыпаются в прах и без раздумий предадут самое дорогое.

– Анна? – спросил Рух, вдруг поняв, что стоит открыв рот.

– Анна. – Снегурка словно попробовала слово на вкус, голос звучал тихо и мелодично, напоминая перезвон крохотных ледяных бубенцов. – Так меня кличут матушка с батюшкой. – Она очаровательно наморщила лоб. – Когда-то давно у меня было другое имя, а какое, не помню. – Снегурочка звонко рассмеялась, словно хрустальные бусы рассыпала.

– А я Рух, – представился Бучила.

– Упырь? – Анна потянула воздух остреньким носиком.

– Вурдалак. Упырь как-то не очень благородно звучит. – Рух вдруг почувствовал, как затуманилась голова, а ноги сами делают шаг. Страхнул чары и сурово сказал. – Ты это брось. На меня твои штучки не действуют.

– Скопец? – Снегурочка удивленно выгнула тонкую бровь.

– Я б тебе показал скопца, да кочерыжку боюсь отморозить.

– Тогда зачем ищешь меня, вурдалак?

– Я бы и рад не искать, – признался Бучила. – Делать мне больше нечего, чем за тобой, красавица, по сугробам гонять. Но служба есть

служба. Не знаешь, чего в селе мужики молодые, как мухи помойные, мрут?

– Откуда мне знать? – Снегурочка невинно захлопала глазками. – Людской век мимолетен. Может быть, в этом его главная ценность. Живи быстро, живи ярко, ничего не откладывай на потом. Я завидую людям. А ты, вурдалак?

– Ты мне зубы не заговаривай, катышек снеговой, – повысил голос Бучила. – Будто не знаю, что это ты жизнь и силы из мужичишек вытягиваешь.

– Если знаешь, зачем спрашиваешь? – Анна обворожительно улыбнулась, показав белоснежные, излишне островатые зубы. – Я не охочусь, как зверь, не прыгаю на спину и никого не поедаю живьем. Мужчины сами делают выбор.

– Этим и утешаешься? – Рух утробно сглотнул. Ночью идешь по селу, а навстречу выходит такая вот краля. Прекрасная, манящая и доступная. Никакого в том выбора нет. Завороженно тянешь руки и получаешь долгий, обжигающий льдом поцелуй, после которого все прочее на этом свете перестает волновать. И ты желаешь лишь одного – согреться, чего бы это ни стоило.

– Утешения я не ищу, – печально сказала Снегурочка. – Просто живу, беру, что хочу, не оглядываюсь назад. Ведь позади боль, смерти и темнота. Мы похожи, не так ли, упырь?

– Ага, только у меня титьки поменьше, – отозвался Бучила и пальнул, не целясь, из-под руки. Анна превратилась в снежное облако и молниеносно отпрянула, серебряная пуля вонзилась в отрухляевшее бревно. Твою мать! Рух вырвал из-под балахона второй пистоль и тут же полетел кубарем, получив сильнейший удар чуть пониже груди. Приземлился мягко, спиной проломив стену хлева, сметая сломанные грабли и корзины без дна. Пистоль потерял, в рот набились опилки и сенная труха. Он заворочался в куче старого хлама и успел швырнуть мешок, набитый каким-то гнильем, попав налетевшей Аннушке под ноги. Снегурочка замешкалась, и Бучила поднялся навстречу, выпутывая из-под одежды припасенный клевец с узким серебряным лезвием на короткой ухватистой рукоятке. Давай же, сука, давай... В следующее мгновение они сцепились, упали и забарахтались на полу. Глаза Ледяной девы синим пламенем горели в морозно искрящейся полутьме. Глаза завораживали, манили и подчиняли. Рух почувствовал,

как тонет в них без остатка, и, подняв руку, кулаком врезал Снегурке под дых. Она отдернулась, бесстыдные губы плаксиво скривились. Не нравится, тварь? Бучила попытался сграбастать белые волосы, попал рукой в пустоту, и тут же резкий холод опалил левый бок. Под ребра словно вонзили зазубренное ледяное копьё, лютая стужа сковала нутро, медленно пробираясь в сторону сердца. Анна белым мороком нависла над ним. Рух рванулся, заорал и, уже теряя сознание, раскрыл пасть и вцепился ей зубами в плечо, прокусив рубаху и холодную упругую плоть. Снегурочка застонала, задергалась, боль в боку сразу ослабла. Рух воспользовался коротенькой передышкой, разжал клыки и саданул Анну лбом прямо в лицо. Мерзко хрустнуло. Рух хрипло расхохотался, но развить успех не сумел, прижатый к земляному полу, как мышка котом.

– Аннушка, доченька, не надо! – На двор ворвалась перепуганная Матрена. Из-за тщедушной бабкиной спины выглядывал дед Кузьма, на кой-то черт вооружившийся кочергой. – Дочка! – Матрена коршуном упала Аннушке на спину и потянула назад. – Не трогай его!

Ледяная хватка разжалась, и Рух не поверил глазам. Снегурка послушно уступила бабке Матрене и позволила увлечь себя прочь от распростертого упыря.

– Хорошо, матушка, – голос Анны был пропитан нежностью и любовью. Из расквашенного и свезенного на щеку носа Снегурочки сочилась прозрачная студенистая кровь. Улыбка перестала быть обворожительной, напоминая волчий оскал. И все равно прекраснее женщины Рух на своем веку не встречал. Прекраснее, опаснее и смертоноснее. В узкие оконца упали первые солнечные лучи, и в следующий миг Анна исчезла, превратившись в блещущий смеющийся вихрь.

– Сильна, сучка, ох и сильна. – Бучила отфыркался и грохнул выпитый кувшин пива на стол. – Чуть не скрутил мерзавку, сбежала.

– Вы, Заступа, обещали нам не мешать, – с капризными нотками пожаловался граф Донауров.

– И в мыслях не было. – Рух без сил повалился на стул. – Я виноват, если первым Снегурку нашел? О, вижу новые лица.

Помимо самого Донаурова, крысopodobного Карла Альбертовича и вечно хмурого Старостина, в комнате присутствовал немолодой

мужчина крайне благородной наружности, одетый в приталенный, вышитый серебряной нитью темно-синий камзол.

– Граф Михаил Сергеевич Донауров, – представился щеголь. Рух удивленно вскинул бровь – число графьев Донауровых росло, как опарышей на гнилье.

– Мой любезный дядюшка, – пояснил Донауров-младший и поморщился, словно надкусив кислочий лимон.

– Изволю приглядывать за любимым племянником, – рассмеялся Михаил Сергеевич. – Он, знаете ли, вечно влипает во всякие передряги, весь в отца, упокой Господь его душу. Мой брат был лучшим из людей, с момента его безвременной гибели для меня дело чести – опекать Александра.

– Ага, молодец, так держать, – одобрил Бучила. – Так о чем это я? Ах да, Снегурка – сильная стерва и будет становиться все сильнее с каждым выпитым мужиком.

– Красивая? – затаил дыхание Александр.

– Очень, – признался Рух.

– Раз так, предлагаю схватить ведьму живьем! – Дядюшка обвел присутствующих торжествующим взглядом. – Как вам идея?

– Идиотская, – дал оценку Бучила. – Легче медведя-шатуна голыми руками скрутить. Ты это, графский дядя, брось.

– Потрясающе, потрясающе! – перебив Руха, крикнул Карл Альбертович. – Александр Петрович, миленький, ваш дядя подал отличную мысль. Вы прославитесь на всю Европу, схватив тварь живьем! Только подумайте! Научное сообщество будет рукоплескать вам.

– Мне нравится. – Александр возбужденно сжал кулаки. – Решено, хватаем Ледяную деву живьем, чего бы ни стоило.

– Вы тут все полудурки, – ахнул Бучила. – Себя послушайте со стороны. Ну херню же несете.

– Придержи язык, упырь. – Старостин бросил ладонь на рукоять палаша.

– Ты сначала свой у хозяина из задницы вынь. – Рух с готовностью пошел на конфликт.

Старостин побледнел и потащил из ножен клинок. Бучила приглашающе скалился.

– Прекратите! – сорвавшись на фальцет, крикнул Александр Донауров. – Не провоцируй моих людей, Заступа. У тебя был шанс, ты его упустил. Теперь за дело возьмутся мастера, а ты посмотришь со стороны.

– Просрал, а не упустил, – ухмыльнулся Старостин.

– Хватит! – повысил голос Донауров. – Спокойно. Выяснить отношения будете после.

– Все там ляжете, – пообещал Бучила. – Предлагаю другой план: я бомбу с серебром и святой водой сделаю, заманим Снегурку и подорвем, ошметки по селу полетят. То, что останется, лопатой соберете в мешок.

– Брать будем живьем, – с расстановкой сказал Донауров. – Никаких бомб. Никакого серебра. Испортить мне победу я не позволю!

– Ну и хер с вами, всего хорошего. – Бучила вдруг успокоился и вышел за дверь. А чего, если люди дураки, им уже не помочь.

– Живьем? – удивился Фрол, выслушав рассказ до конца.

– Ага, – кивнул Рух, разглядывая висящее на стене лоскутное одеяло с огромным солнцем и красными петухами. В избе у пристава было тепло, опрятно и чисто. Жена, полненькая и тихая, робко поздоровалась и увела детей в соседнюю горницу. – Я сам не поверил. Ладно графья с жиру бесятся, Старостин просто псина цепная, что велят, то и делает, но вот этот, Карл Альбертович, меня поразил. Башка у него варит, про Снегурку знает едва не больше меня, а сам гузно рвет, чтобы живой ее брать. Вот скажи, на кой черт она живой им сдалась? В клетке держать?

– Господам видней, – робко возразил Фрол. – Нам-то что?

– А ничего, – понурился Рух. – Нет, пусть, как хотят, я не в претензии, просто дерьмом от этого дела разит за версту. Самое интересное, что за добрый человек стариков надоумил духа лесного призвать? Цель какая – селу урон нанести? Так есть сотня способов проще и действенной. Я представить боюсь, сколько денег и сил затрачено, чтобы человечью душу в скляночке запереть. Бред.

– Думаешь, не выйдет у них? – затаил дыхание.

– Голову на отсечение даю.

Фрол чуть помолчал, водя пальцем по столу, и сказал:

– Не знаю, Заступа, не по моим то мозгам. Мне вражину покажи, я ее как клопа раздавлю. А думы думать, эт не по мне. Ты лучше скажи,

вот Снегурочка, дух лесной из девки убитой. И откуда столько девок убитых в лесу?

– То история давняя и не особо приятная, – отозвался Бучила. – Раньше выбирали красивую девку и в самый разгар зимы увозили в чащу. Иные сами отдавались, нам теперь не понять. Считалось, это уберезет от лютых морозов и нечисти, ублажали старых богов, торопили весну.

– Помогало? – едва слышно спросил Фрол.

– Когда как, – неопределенно пожал плечами Бучила. – И смотря с какой стороны поглядеть. Я так смекаю, богам на такие штуки плевать. Но людям надо во что-то верить, особенно если вокруг наполненный ужасами, несущий смерть и забвение лес. Так и жили, пуще всего страшились умертвий и сами их плодили, не нам судить и уж точно не мне. С тех пор и бродят мороки загубленных девок, пытаются согреться, ищут крови живой, озлобленные, несчастные, потерявшие память. Нынче, слава богу, их мало осталось, и вот тебе на.

– Она, выходит, не виновата ни в чем? – Фрол поднял глаза.

– Лиса виновата, если курицу душит? Волк виноват, выедаю у козы потроха? – спросил Рух. – Просто иначе не могут, в этом их жизнь. Так и Снегурка, зверь своей сущью, не ведающий, что он творит. Мечется, стонет, ищет тепла, а находит только стылость и тлен. И попомни меня, у сказки этой поганой не будет счастливого нравоучительного конца. Изведем девку ледяную, и душа освобожденная прямыми сверзится в Ад, где стократ большей муки хлебнет. И только Конец Света освободит. Может, оттого его многие торопят и ждут? Может, слишком много невинных в Пекле горят?

– Ты речи крамольные брось, – поежился Фрол. – Не дай Бог услышат чужие, вместе на церковный суд загремим. Лучше скажи, что задумал? Ведь по глазам вижу, пакость готовишь.

– Пакость будет, по пакостям я огромный мастак, – хищно улыбнулся Бучила. – До вечера отлучусь, а ты, друг мой ситный, проследи, где охотнички драные будут Снегурку ловить.

Бледное, похожее на прозрачную льдинку, зимнее солнышко окрасило закат фиолетовой марью и утонуло в бескрайних снегах, уступив напору бархатистой пепельной темноты. Дым из труб столбами утекал в морозные небеса навстречу матово стекленеющим

звездам. В крохотных оконцах угасали огни, Нелюдовом овладевала стылая ночь, зябко кутаясь в искрящийся вьюжный платок.

Рух Бучила поднялся на занесенное пушистым снегом крыльцо и тихонечко постучал. Дверь открылась почти сразу, будто Фрол поджидал.

– Ты, Заступа?

– Я. Проследил?

– Проследил. Граф со сворой к старикам Митиным с час тому как зашел и остался. Мои люди приглядывают издалека. На кой им бабка с дедом, никак в толк не возьму... Заступа! Заступа!

Рух не слушал и не оглядывался, устремившись по улице на другой край засыпающего села. Сука, сука, сука! Как Донауров с компанией узнали про Митиных? Крайне неприятно думать, что есть кто-то на свете не глупее тебя. Прямо чешется из-за этого в самых неприличных местах. Нет, но как? Как чужие люди в немалом размере селе смогли за пару дней безошибочно вычислить стариков? При этом никакого открытого розыска не ведя? Это что за фокусы? Фокусникам таким поиметым руки надобно отрывать. Угадали? Да как? Как? Ведь ни словечком не проболтался, даже Фролу ничего не сказал. Старики протрепались? Тоже сомнительно. Тайна у них страшная и опасная, такая если и открывается, то попу на смертном одре. Глупости это, глупые глу-пос-ти. От тревожного предчувствия по спине бежал холодок. Ловля Ледяной бабы стремительно превращалась в клубок мерзких загадок и тайн.

Рух прибавил шагу и почти побежал, путаясь в балахоне. В темноте замаячила крыша избы стариков Митиных, и Рух увидел в проулке карету на полозьях, запряженную парой фыркающих коней. На дверце нарисован рыцарский щит со звездами и рогатой бычьей башкой. Ого, никак Донауровых герб? Бучила устремился к карете.

– Стой, куда прешь? – Навстречу вышли двое в теплых плащах и меховых шапках. Рожи разбойничьи, глаза внимательные, у одного в руках кавалерийский карабин, у второго волкомейка с широким стволом. Третий сидел на облучке, баюкая на коленях укороченное ружье. Четвертый прогуливался сзади кареты.

– Граф тут? – миролюбиво поинтересовался Бучила.

– Кто спрашивает?

– Заступа тутошний.

– Тебя звали?

– Меня не зовут, я сам прихожу. – Рух сладко зажмурился, представив, как сносит поганцу башку. Нет башки – нет idiotских вопросов. И повысил голос: – Эй, там, в корыте, хозяин дома? Псов отзови, а то я от шерсти чихать начинаю всегда.

Дверь с гербом приоткрылась, и Бучила увидел холеное лицо Михаила Сергеевича. В глубине кареты белела крысиная мордочка Карла Альбертовича. Дядюшка расплылся в фальшивой улыбочке:

– Ах, это вы, уважаемый Заступа! А мы тут томимся в ожидании красивой развязки.

– Племянничек где?

– В той уютной развалюшке, – дядюшка указал на дом стариков Митиных. – Только тсс, пожалуйста, тише, у Сашеньки там засада.

– Ясно. – Бучила двинулся к дому.

– Я бы не советовал! – окликнул в спину Михаил Сергеевич. – Там весьма опасно. А у нас тепло, бутылочка французского коньяка и приятная компания.

– В гробу я видал вашу компанию, – пробурчал под нос Рух, пересек улицу, скрипнул калиткой и медленно отворил обитую изнутри дерюгой дощатую дверь. В избе пульсировала холодная мрачная темнота, чуть разбавленная слабым светом лампадки в красном углу. Из темноты Бучиле в лицо приветливо уставилось пистолетное дуло.

– Ты? – удивился Старостин и нехотя убрал пистолет. Помимо него, в горнице расположились слегка побледневший граф Александр Донауров и два незнакомых мужика, увешанных оружием с ног до головы. Один высокий и тощий, второй коренастый и плотный, оба в кожаных кирасах и круглых металлических шлемах. Угу, как будто от Снегурочки дребедень эта спасет.

– А кого ждали, бабу с караваем? – Бучила по-хозяйски огляделся. – Старики где?

– Т-там. – Донауров, отчего-то заикнувшись, кивнул на дверь, ведущую на скотный двор.

– Постой, вы их как приманку используете? – напрягся от дурной догадки Бучила.

– Используем, и с успехом, – кивнул Донауров. – Снегурка явится родителей спасать и попадет в сеть из крапивной пряжи. Тут и

поймаем.

– Из какой, сука, пряжи? – удивился Рух.

– Из крапивной, – немного растерялся граф.

– Ты откуда взял эту сеть?

– Карл Альбертович посоветовал верное средство, – ответил Донауров.

– Ах, ну если Карл Альбертович, то тогда да. – Бучила надрывно вздохнул. Части разбитой мозаики потихонечку складывались. Картинка выходила паскудная. Он распахнул дверь на крытый двор и почувствовал, как кружится голова. На стене висела тускло горящая лампа, заставляя темноту в помещении расползаться клочьями и жаться в углах. На стропилах покачивались в петлях бабка Матрена с дедом Кузьмой. Синие перекошенные лица, выпученные глаза, свесившиеся почерневшие языки. Еще утром живые, защищающие странную дочку и добытого счастья кусок, а теперь вздернутые, как последние шелудивые псы. Маленькие, беззащитные, мертвые. Вместе и навсегда. Рух утробно сглотнул, вернулся в избу и бросил в стылую темноту, не обращаясь в сущности ни к кому и обращаясь ко всем:

– Какая мразь это сделала?

– Это не мы, – поспешно открестился Донауров.

– Поди сами повесились, – скабречно вставил Старостин, незаметно вклинившись между Рухом и графом.

Бучила молниеносно сцапал Старостина за горло левой рукой. Отставной прапорщик захрипел и безвольно обмяк.

– Повтори, – мило улыбнулся Рух. У Старостина подломились колени. Мужики поспешно взяли Бучилу на прицел, но он и ухом не повел.

– Это не мы, – испуганно повторил Донауров. – Слово дворянина.

– Тогда кто? – Рух чуть ослабил хватку. Не верить графу причин не было. Дворянин просто так словом кидаться не будет, особенно из-за такой мелочи, как пара мертвых крестьян.

– Не знаю, – отозвался граф. – Мы пришли, они висели уже. Думаешь, мне самому это нравится? Может, и правда сами? Осознали, что натворили, или суда испугались, чернокнижие лютой смертью карается, и лучше уж так...

– Откуда узнали про стариков? – Рух позволил Старостину дышать.

– Карл Альбертович их отыскал, – признался Донауров. – Я его для этого и держу.

– Карл Альбертович, значит. – Рух почему-то совершенно не удивился. Очередной кусочек занял место в гнусной мозаике. Бучила тут же насторожился, чувствуя, как по спине когтистыми лапками побежал пронзительный холодок. Со скотного двора донесся приглушенный жалобный плач. Донауров прислушался и, изменившись в лице, прильнул к стене, из которой был вырублен кусок бревна в ладонь шириной. Бучила разжал руку, едва живой Старостин упал на пол и принялся хватать воздух ртом.

– Отойди, твое сиятельство, – прошипел Рух, оттирая графа плечом и заглядывая в дыру. Анна стояла на коленях перед повешенными и беззвучно рыдала, подрагивая плечами. Чудовище в образе прекрасной женщины оплакивало несчастных, доведенных одиночеством до страшного преступления стариков. Что это было, морок черного колдовства или что-то иное? Жалость, благодарность, любовь? Что связало лесного кровожадного духа с бабкой Матреной и дедом Кузьмой? Ответа не было. Случившееся не получалось измерить, понять или логично обосновать. Оставалось верить глазам. Снегурочка плакала, тонкими ломкими руками обнимая ноги людей, подаривших ей новую жизнь.

Сбоку заскребся неугомонный граф, жарко и влажно дыша в затылок, и Бучила посторонился. Донауров приник к отверстию, едва слюни не пуская от возбуждения. Смотрел недолго, затем повернулся – в глазах застыл лихорадочный блеск. Он справился с рвущимся дыханием и оживленно зажестикублировал мужикам. Высокий опрометью сорвался с места и тюкнул топориком по веревке, перехлестнутой через балку под потолком. Лезвие с глухим стуком увязло в бревне, веревка оборвалась и длинной змеей улетела во тьму. Рух успел прижаться к дыре и увидел, как с потолка на Снегурочку обрушилась сеть.

– Попалась! – ликующе заорал Донауров, первым выскакивая на двор. За ним ринулись мужики и даже Старостин, немного пришедший в себя. На Бучилу он не смотрел. Надо же, чуть не помер, а хозяина не бросает. Прямо золото, а не пес.

– Стойте, придурки! – крикнул Рух и, конечно же, опоздал. Снегурочка выла дикой кошкой и извивалась, пытаясь стащить с себя

сеть, Донауров орал как полоумный, мужики суетились, пытаюсь ухватить болтающиеся концы и прижать добычу к земле. Анна неуклонно вставала, сеть затрещала, разрываясь напополам. Высокий умер первым, не успев осознать, что же произошло, просто завалившись навзничь без половины лица. Коренастый успел бросить веревку и потянулся за висящей на поясе булавой, прежде чем рука Анны по локоть вошла ему в грудь. Горящие адским синим пламенем глаза уставились на Донаурова, прижавшегося к стене. Граф сжал побелевшие губы и тянул шпагу из ножен. Сбоку подскочил Старостин и рубанул палашом. Тяжелый клинок угодил Анне в плечо, но, вместо того чтобы отсечь руку, завяз словно в деревянной колоде. Снегурочка отмахнулась, и Старостин улетел в темноту.

– Ложись, твое сиятельство! – заорал Бучила и швырнул бомбу с подожженным от лампадки коротеньким фитилем. Шар из проклеенной бумаги подкатился Снегурочке под ноги и тут же взорвался облаком дымного пламени. Оглушительно грохнуло. Последнее, что увидел Бучила – как крыша скотного двора поднимается в черные небеса. Его подхватило горячей волной и зашвырнуло в избу, с навеской ^[19] пороха он все же перемудрил. Рух пролетел сажени три и врезался в лавку, сломав ребра и здорово приложившись башкой. Сознания, слава богу, не потерял, перед глазамиплыли цветные круги, он лежал, не в силах пошевелиться, и слышал чьи-то громкие голоса. В избу, топая сапожищами, вбежали четыре человека, в которых Бучила опознал опасного вида типов, охранявших карету. Следом вступил сам дядюшка Михаил Сергеевич, постукивая резной тростью с костяной рукоятью в виде змеи. За ним мелькал незабвенный Карл Альбертович, лучший советчик по ловле Ледяных баб, если не во всем мире, то в Европе уж точно. По глазам нестерпимо резанул свет масляной лампы.

– О, наш дорогой Заступа! – восхитился дядюшка. – А мы глядим, бахнуло. Та самая обещанная бомба, я полагаю?

– Та самая, – через силу выдохнул Рух. Грудь нещадно ломило, шея перестала двигаться, и смотреть приходилось только в левую сторону. – Серебришко и святая вода. Размазало Снегурочку вашу.

– Весьма жаль. – Михаил Сергеевич сокрушенно вздохнул. – У меня на тварь были далеко идущие планы. Да чего уж теперь. Вставайте, милый Заступа.

– Мне и тут хорошо, – простонал Рух и сплюнул. Белый тягучий сгусток упыриной крови сполз по подбородку и плюхнулся на воротник.

– Нет-нет, без вас теперь не получится, раз уж влезли, куда не просили, извольте идти до конца. – Дядюшка ткнул Руха тростью и скомандовал: – Поднимайте его.

– А ну встал! – рявкнул здоровяк со сломанным и криво сросшимся носом, наставив на Руха волкомейку. – Ты, тварь, учти, у меня заряжено серебром, дернешься – пристрелю.

Остальные трое слаженно взяли Бучилу в полукольцо. Ближко ни один не подошел. Умные сволочи. Нет, можно было попробовать, но зачем? Хотелось досмотреть представление до конца.

– Оружие выложил и пошел.

Делать было нечего – против четырех стволов не попрешь. Рух выложил на пол пистолы и нож и с трудом встал, постанывая и щелкая суставами. Сломанные ребра противно терлись под кожей. Двое людей дядюшки, слегка прихрамывающий бородач и бледный мужик, похожий на утопленника, первыми вышли на скотный двор, следующим втокнули Бучилу, оперев ему в спину стволы. Взрыв перевернул все вверх дном, разбросав хлам по сторонам, в воздухе плавало едкое облако пыли. Тела стариков покачивались в полутьме, Снегурочка лежала возле стены, смятая и искалеченная, руки и ноги неестественно вывернуты, потухшие синие глаза остекленели и уставились в пустоту. Красивая даже в смерти.

– Клим, проверь. – Дядюшка указал тростью на Ледяную деву.

Клим, угрюмый бородачатый здоровяк, едва заметно хромающий на левую ногу, опасно приблизился, подсветил лампой и пихнул тело стволом. Анна не шелохнулась. Клим на всякий случай добавил ногой и почему-то шепотом доложил:

– Дохлая, ваше сиятельство.

– Что сделано, то сделано. – Михаил Сергеевич царственно вступил на разгромленный двор и забегал глазами. – Так-так, а где мой любимый племянничек?

– Тут он, – отозвался похожий на утопленника мужик и отвалил в сторону упавшие доски. Под ними сидел охотник за нечистью и известный дурак Сашенька Донауров, окровавленный, помятый, но

определенно живой. Граф мотал головой и мычал, тараща глаза. Чуть дальше под завалом вяло копошился оглушенный Старостин.

– Жив! – Дядюшка театрально взмахнул руками. – Радость-то какая!

– Давай я прикончу поганца и разбежимся, – предложил Бучила и сделал пару шагов в сторону раненого графа, разворачивая всех спинами к повешенным старикам.

– С чего вы взяли, что я хочу смерти племяннику? – прищурился Михаил Сергеевич.

– Ой, да бросьте комедию, – оскалился Рух. – Здесь все свои. Очевидно же, племянник вам не по нраву. Это любому заметно, кроме него. Но Сашенька не особо умен, вы уж простите, ваше сиятельство.

Граф Донауров сдавленно застонал, показывая, что он не в обиде. Ну или в обиде. Тут хер разберешь.

– Мне прямо интересно, – вскинул бровь Михаил Сергеевич.

– А все на поверхности. – Бучила принял глубокомысленный вид. – Я сначала удивлялся, а потом понял эту игру под названием «убей графенка». Иначе зачем всячески подначивать человека ловить Снегурку живьем? Это же самоубийство, ведь так, Карл Альбертович?

– Не совсем, – отозвался Ведянин.

– Отлично сказано, – согласился Бучила. – Есть крохотный шанс остаться калекой без ручек и ножек и всю оставшуюся жизнь героически надувать пузыри из соплей. Поэтому дорогой Карл Альбертович посоветовал нашему обалдую чудесную сеть из крапивы. Из крапивы! Любой мало-мальски понимающий в охоте на нечисть знает, что крапива сдержит мертвяка секунды на две, чтобы горе-охотничек успел себе горлышко вскрыть. Ну, то есть очевидно, что вы с Карлом Альбертовичем спите и видите, как мальчика в могилку загнать. Убедительно доказал?

– Более чем, – нехорошо улыбнулся дядюшка. – И добавить ведь нечего. Вы удивительно проницательны, господин Бучила.

– Я такой, – горделиво подбоченился Рух. – Одного не пойму: зачем такие сложности? Почему нельзя убийцу нанять? Или яду там подсыпать в графские щи.

– Слишком банально, – поморщился дядюшка. – Я предпочитаю действовать тонко и осмотрительно. Поймите, я обожаю две вещи: племянника и деньги. И когда мой старший брат безвременно покинул

сей мир, все унаследовал Сашенька. Разве это справедливо? Тогда я и встал перед выбором – богатство или любимый племянничек. Прости, дражайший родственник, выбор был очевиден. При этом я не хотел, чтобы на меня пало хоть малейшее подозрение, и тогда, зная Сашину блажь с охотой на нечисть, придумал план со Снегурочкой. Элегантный, не правда ли?

– Не то слово, – признал Бучила и вдруг его осенило: – Пойдите, значит, это вы подкинули старикам идею с Ледяной девой? А «добрый человек», дайте-ка угадаю, Карл Альбертович собственной мерзкой персоной?

– Это я. – Веденеев дурашливо поклонился. – Стариков оказалось очень просто уговорить. Не поверите, почти без усилий.

– А потом вы их убили, – окончательно все понял Бучила. – Ведь только они могли опознать «доброего человека».

– Ну полноте, – усмехнулся Михаил Сергеевич. – Кто бы поверил словам полоумных стариков, вызвавших зловредного духа на погибель сельчанам? Но да, эту единственную ниточку надо было на всякий случай обрезать. К тому же мы решили немножечко разозлить Ледяную деву, чтобы дорогой Сашенька уж точно не уцелел. Все было отлично, пока не явились вы и все не испортили. Ну почти все. Теперь придется запачкать руки.

– Портить я умею, – кивнул Рух, углядев смазанное движение в темноте. Тянуть время дальше не было смысла. – Не поверите, но бомбы я перепутал, видать. Торопился, торопыга этакий. Вместо морокобойки с серебром и святой водой черт дернул прихватить другую, с кровью бесовой, осинового корой и медной пылью. Нечисть не убивает, но вырубает с гарантией, это вам не крапивная сеть. Вы уж простите меня, господа, если сможете.

Михаил Сергеевич перехватил взгляд Бучилы и повернулся, начиная что-то подозревать. Резко похолодало, узкие полосы морозного инея побежали по стенам и потолку, дыхание превращалось в пар. И тут же душераздирающе заверещал Карл Альбертович. За его спиной во тьме зажглись два жутких синих огня, с пола поднималась Снегурочка, сломанные конечности выпрямлялись, сухо пощелкивая, порезы на мертвенно-бледном лице затягивались с пугающей быстротой. Рубаха, иссеченная взрывом в лохмотья, упала к ногам, открывая белоснежное гибкое тело. Угрюмый здоровяк Клим,

застывший к Анне ближе всего, вдруг дернулся и закашлялся кровью. Лампа упала, и воцарилась гробовая, непроглядная темнота, наполненная дикими криками, стонами, вспышками выстрелов и пороховой гарью. Размытому ночному зрению Руха предстала ужасающая картина. Двор превратился в скотобойню, Ледяная Дева мстила за убитых родителей безжалостно и жестоко, мелькая словно волк в овчарне, забитой обреченными овцами. Упал и завыл Карл Альбертович, худой мужик пальнул из волкомейки, сослепу угодив стоявшему рядом товарищу в спину, и в следующее мгновение сам лишился нижней челюсти и кадыка. Последний оставшийся человек дядюшки выстрелил наобум, и Бучила едва успел пригнуться, пропустив заряд дроби над головой. Незадачливый стрелок уже умер, раскрывшись страшной раной от паха до середины груди. Рух невольно залюбовался Снегурочкой: обнаженная и прекрасная, залитая кровью и смертельно опасная, она танцевала во тьме, оставляя искалеченные тела. Михаил Сергеевич завизжал недорезанным поросенком, чувствуя приближение палящего холода, зашарил руками вокруг, наткнулся на столб, отшатнулся и угодил в объятия Анны. Крик оборвался, череп лопнул в фонтане багровой жижи и костного крошева.

«Чего стоишь, дурак?» – опомнился Рух и сорвался с места, вытаскивая из-под балахона отрез грубой, пожелтевшей от времени ткани в два локтя длиной, вышитый затейливыми узорами. Рушник, многие годы покрывавший икону Божьей Матери в церкви Ионы, намоленный поколениями и злодейски похищенный Бучилой ради собственных нужд. Ничего, грех во благо – это не грех, Боженька простит, он такой. Анна все еще сжимала сучащего ногами дядюшку, подставив оскаленный рот под кровавые струи, и Рух накинул рушник на нее, как платок. Снегурочка замерла, дядино тело кулем повалилось на пол, Бучила поспешил отскочить. Освященное полотенце намертво прилипло Снегурочке к голове, она издала протяжный душераздирающий крик, нетвердо шагнула и упала на колени, пытаясь сдернуть рушник. От пронзительного визга можно было оглохнуть или повредиться в уме. Ужасающий звук оборвался, и наступила звенящая невыносимая тишина. Кружились пылинки, дымились на морозе растерзанные тела, пахло кровью и внутренностями.

Анна вдруг разрыдалась, рушник съехал по пепельным волосам на худенькое, остренькое плечо. Она подняла лицо, синее пламя в глазах угасло, рассеялось без следа.

– Я... я помню... я вспомнила, – выдохнула она. – Господи, что же я натворила?

– Сработало? – удивился Бучила. – А я сомневался, думал, бабкины сказки. Оказывается, и правда намоленное полотенце творит чудеса.

– Вспомнила, вспомнила. – Ледяная дева обмякла. – Не Анна я, Катерина. Отца помню, братьев и мать. Вспомнила... Зима лютая, деревья утопают в снегу, каркает воронье. Везут меня в лес, а я плачу, знаю, что не вернусь. К елке привязывают и уходят, а я кричу, пока не разрывается рот. Холодно... холодно... ночь. Холодно... Сердце каменеет и превращается в лед. И кости мои до сих пор под корнями гниют. Елки той давно уже нет, а я все брожу по лесу, плачу, согреться хочу, а все не могу... Холодно... – Она посмотрела на свои окровавленные руки и перевела взгляд на Руха: – Чудовище я.

– Эка невидаль, а кто не чудовище по нынешним временам? – вздохнул Бучила и пнул обезглавленный дядюшкин труп. – Он еще большее чудовище, да и я поганая тварь. Одно отличает – ты способна любить. Видел, как по родителям убиваешься.

– Матушка, батюшка. – Снегурочка всхлипнула и поползла к висящим бабке Матрене и деду Кузьме. Бучила сходил в избу, нашел свечу, запалил огонек и вернулся, переступая через наваленных мертвецов. Граф Донауров сидел у стены с залитым кровью лицом. Рядом скорчился Старостин, пытаюсь закрыть графа собой. Оба израненные и оглушенные взрывом.

– Идти можете? – спросил Рух, сунул свечу в щель и, не дожидаясь ответа, вздернул обоих за шкурки. – Быстро, пшли вон, и чтобы больше я вас не видал.

– С-спасибо. – Донауров ухватил его за рукав.

– Вали отсюда, сиятельство. – Бучила пихнул графа в спину.

– Я твой должник. – Старостин задержался на выходе, кривясь набок и закусывая от боли губу. – Если б не ты...

– Да-да, вы бы сдохли, а может, и к лучшему. Все, дуй отсюда, мне такие полудурки в должниках не нужны. Иди-и! Говорю, на хер пошли и живей!

Две понурившиеся фигуры вывалились на улицу.

– Эй, графенок, – окликнул Бучила. – Впредь за родственничками приглядывай. И запомни: если будешь дальше забавляться охотой на нечисть, рано или поздно снова превратишься из охотника в дичь, и меня рядом не будет.

Ответа дожидаться не стал. Если умный – поймет, если нет – горбатого могила исправит, знать, написано на роду. Снегурочка застыла перед мертвыми стариками, сотрясаясь в беззвучных рыданиях. Рух не мешал. Взял свечу и бросил в кучу лежалого сена. Огонь занялся несмело, словно не веря в собственное счастье и осторожно пожирая сухие травинки одну за другой. Пламя фыркнуло и разрослось, облизывая бревна стены. Снегурка не двигалась, скорбная, возвышенная и невесомая. Рух хотел еще раз увидеть красивейшее на свете лицо, хотел услышать голос, похожий на звон ледяных колокольчиков, но Анна не обернулась и ничего не сказала. Анна застыла. Несчастливая, загубленная душа, обреченная людьми на вечные муки. Чудовище, поневоле обретшее память и ужаснувшееся себя.

Бучила пошел к выходу, и тут за сапог уцепились.

– П-помоги, спаси, Христом Богом прошу...

На полу корчился и стонал Карл Альбертович, лишившийся ног. Загустевшая на морозе, вязкая кровь лилась из культей, оставляя багровые полосы.

– Я бы с радостью, да спешу, извини. – Бучила вырвал сапог.

– Уб-бей, убей, – взмолился Веденеев, с ужасом косясь на разрастающийся жаркий огонь.

– Да ты что, мил человек, ополоумел? – возмутился Бучила. – Я в жизни мухи пальцем не тронул. Выдумал тоже, живого человека убить. Не, брат, то бес через тебя меня, праведника известного, толкает на грех. Давай выздоравливай.

Рух, брезгливо сплюнув, покинул пылающий дом. Из щелей и окошек скотного двора рванулось гудящее пламя, оранжевые всполохи расцветили скованные морозом, остекленевшие небеса. Анна не вышла. Могла спастись, и Рух не смог бы ей помешать. Да и не стал бы, чего уж таить. Но Ледяная дева осталась с бабкой Матреной и дедом Кузьмой. Тонкая нить, связавшая их, оказалась крепче любых проклятий и самого черного колдовства. Крыша обрушилась, взметнув в темноту вихрь колючих огненных искр.

Той ночью в Нелюдово прибавилось пепелищ и горелых костей. И рассвет был кроваво-алый. Слухи ходили разные, но никто ничего не узнал. До новолетия оставалось два коротеньких дня. И люди, как у них водится, жили надеждой. Ведь новый год всегда лучше старого. Или не лучше, тут уж как повезет. Но если не верить в чудо, на кой черт вообще тогда жить?

Придет серенький волчок...

*На море, на
Окияне, на острове
Буяне, на полой
поляне светит
месяц на осинов
пень, в черен лес, в
гнилой дол. Около
пня ходит волк
мохнатый, на зубах
у него весь скот
рогатый; а в лес
волк не заходит, а в
дол волк не
забродит. Месяц,
месяц – волчье
солнышко!*

*Расплавь пули,
притупи ножи,
измочаль дубины,
напусти страх на
зверя, человека и
гада, чтобы они
серого волка не
брали, шкуры
теплой с него не
драли.*

*Русский заговор
оборотня*

Примороженное хрустальной корочкой зимнее солнышко превратило лес в сказочные палаты невиданной красоты. Серебряные инеем хмурые елки горделиво осанились, нарядившись, словно девки на посиделки. Суровыми стражами торчали обломанные летней бурей

кривые стволы. Шуба мха, затянувшая буреломы, переливалась россыпью студеного жемчуга. В густом рябиннике, на краю Хорицкого болота, дралась и кормилась стая озорных свиристелей, оглашая округу суматошными трелями. Наташка Клюева зажмурилась, на миг представив себя княжной али маркизой какой, непременно в корсете и с бледным лицом. Идет она такая вся из себя по королевскому дворцу, а ей поклоны все бьют и глазов не смеют поднять. И платью по полу шуршит ширк-ширк, и каблочки, как копытца, стучат тук-тук. А впереди ждет заправдашний принц, и конь у него непременно белый-пребелый, только принц скакуна с собою не взял, ведь негоже во дворец-то с конем. Смотрит принц на Наташку с любовью и говорит...

– Я иду искать! – крик подружки Матренки вырвал Наташку из сладкой мечты, вытащил из дворца, бросил обратно в подмороженный лес. Была княжна, а стала обратно Наташка Клюева, десяти неполных годков из села Нелюдово, что стоит на Мсте-реке и никаких не знает горев. Эх, интересно, чего принц там сказал... Охохонюшки, ох.

Наташка юркнула в заросли, сбивая стеклярусные бусины льда, густо облепившие сухую траву. Декабрь-стуженик за половину перевалил, а снега как не было, так и нет. Зима нынче выдалась поздняя, и Наташкина бабушка Авдотья, лежа на печке, целыми днями только и сокрушалась про грядущий неурожай. А неурожая все боялись пуще чудищ, которые в лесе сидят. И Наташка боялась, помнила, как два лета назад мать щи из коры сосновой варила с травой-лебедой. От тех щей помер Наташкин младший братишка, а у самой Наташки ножки тонкие-перетонкие стали, а живот раздулся, словно у лягухи какой. Оттого, видать, матушка и велела бабушке помалкивать и людей не пугать.

Да и чего пока говорить? Сейчас время сытное, и Рождество близко, а что снега нет, то даже и хорошо. Подрядилась Наташка с вредной теткой Евдокией и другими соседками за клюквой ходить. Три бабы, девчонки да охраной два мужика, дядьки Силантий и Прокл с самострелами. Село совсем рядом, нечисть летняя по берлогам спать расплзлась, а зимняя еще не явилась, а все одно опаску надо иметь. Ягода уродилась красная, спелая, примороженная, сладости поднабравшая, знай собирай, сама просится в кузовок. Руки только зябнут, да чего уж теперь. Клюковку Наташка на базаре продаст, а на денежку купит иголок, бисера да ленточек всяких. А бабушке пряник,

чтоб на печке было слаще лежать. Наташка быстро ягоды набрала, Матренке помогла, да и затеяли подружки в прятки играть. А скоро уж и домой.

– Девочки, на виду будьте, слышите? – донесся голос тетки Евдокии.

– Слышим! Будем! – отозвалась Матренка, звонко захрустела смерзшаяся трава.

Наташка отбежала чуть дальше, затаилась у корней огромной елки и прикрыла ротик варежкой, чтобы не засмеяться. Матренка рядом совсем, вот-вот покажется, надо бы ее схватить неожиданно, вот она заорет, а потом повалить и снега во все места напихать. Вот только снега-то нет, не удастся потеха. Свиристели вдруг разом замолкли. Только вот гоношились – и все, на лес опустилась мертвая стылая тишина.

Что-то теплое упало вдруг на лицо. Наташка стянула рукавичку, безотчетно коснулась щеки и недоуменно вскинула бровь, увидев на пальцах багровый мазок. Это чего? И тут же отпрянула. Прямо перед носом пролетела тягучая капля и шмякнулась, оставив темный ляпок на осыпавшейся хвое. Наташка подняла глаза и сдавленно засипела – над головой, перекинутый через толстую еловую ветку, висел переломанный человек. Руки и ноги безвольно обмякли, лица не было видно, с пальцев сочилась алая кровь. Наташка всхлипнула и поползла назад, забыв про варежку и игру. Хотелось снова закрыть глаза и оказаться в сказочном дворце, и чтоб принц прискакал и спас...

И тут истошно и страшно закричала Матренка. Совсем рядом, саженьях в десяти, скрытая за деревьями. Крик резко оборвался, и Наташка услышала глухое рычание. Жуткое, еле различимое, похожее на собачье. Рычание сменилось влажным треском и хлопаньем, Наташка поднялась на подгибающиеся ноги и рванула не помня себя. Дороги не выбирала, продираясь напролом сквозь морозный подлесок. Острая ветка царапнула щеку, другая костлявой лапой уцепилась за подол телогрейки. Наташка ойкнула, обернулась и краем глаза увидела далеко за спиной приземистую черную тень. Была и пропала, только иней взвился невесомой колочей пургой. Наташка побежала, дыхание сбилось, в боку колело, сердчишко грозило выпрыгнуть из груди. Она выскочила на край болота и резко остановилась. На мху разметалась тетка Евдокия, вспоротая от паха до середины груди.

Топорщились сломанные ребра, клубок сизых внутренностей выпал на землю, дымясь на морозце легким парком. Корзина с клюквой опрокинулась, ягоды тонули в крови. Алое на алом, алое на алом...

Пахнуло мокрой псиной и падалью. За спиной возникло нечто огромное, злое и хищное, Наташку с головой накрыла черная тень. Горячее смрадное дыхание обожгло затылок через платок. Наташка пошатнулась и упала на колени. Алое на алом, алое на алом... Лес был темным и страшным, и елки крутили безумный дьявольский хоровод.

Год пролетел не то чтобы особо дрянной, так, самый обыкновенный, полный сверх всякой меры разных жизненных гадостей и ублюдских чудес. Господь насыпал всякой херни не скупясь, видать по-стариковски запнувшись и опрокинув над многострадальной Новгородской землей ведро, полное самым отборным сраньем. В июне в столице выгорел Плотницкий муниципалитет, люди метались в пламени и горели живьем. В пожаре, как водится, обвинили жидов, по городу прокатились погромы. Толпа грабила, насиловала и убивала. Под горячую руку попали немцы, фряги и заезжие басурмане. Разбушевавшийся город утихомирили только войска, зачинщиков вздернули на Софийской площади, а тела запретили снимать, пока не сгниют. Новгород затих, окутанный дымом, закопченный, полный гнили, слухов и шепота. На восточных границах Порча тянула хищные лапы, и Лесная стража сбивалась с ног, отлавливая ползущих с восхода чудовищ, живых мертвецов, зараженных зверей и банды обезумевших, продавшихся дьяволу дикарей.

Лили ядовитые дожди, губили посевы и не успевших укрыться людей. Возле Торжка выпал невиданный град, черный, ощупью мягкий, а внутри каждой градины зубастый червяк. Солнце всходило щербатое, суля невзгоды и злую болезнь. Осенью подняли налоги, но всем уже было плевать. Зима, как всякая противная сука, где-то блудилась, чему Рух Бучила, первейший охотник на всяких страховидлов и молоденьких вдов, был очень даже и рад. Толку с этой зимы? Ну красиво, снежишко драный на ветках висит, все, сука, такое нарядное, но ведь пару дней полюбуйтесь и дальше поперек горла та красота. То морозище лютый, то слякоть премерзкая, небо серое, сугробы в сажень высотой, из берлоги лишний раз носа не высунешь. Семь месяцев зима, остальное время непонятная ерунда. И по кой черт

люди тут вообще удумали жить? Говорят, предки мудрости были великой, а на деле чистые дураки. Нормальные-то на югах все живут, возле теплых морей, где у каждой хаты деревья с хруткой сладкой торчат. Утром встал, пузо почесал, хрутку эту сожрал. Само все из земли дуриком прет. А у нас только желуди сами растут. Так ими пока нажрешься, наплачешься, а если и нажрешься, опосля в сортире за это расплатишься, как на Страшном суде.

Так Бучила и мечтал бы о всяких морях, потихонечку сходя от скуки с ума. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В очередной праздный и прекрасно-ужасающий своей бесполезностью день примчался мальчишка-гонец из села и, захлебываясь, разразился сбивчивой речью, из которой Рух понял немного: «Хорицкое болото», «там», «кровища», «Заступа», «убивство» и «срочно». Ну срочно так срочно. На Хорицкую топь Рух чутка пьяный и в меру веселенький прибыл до темноты.

– Оpoznали? – Бучила, по-собачьи наклоняя голову, с интересом рассматривал изувеченный труп. Мужик в коротком полушубке принял лютую смерть. Удар пришелся в спину, выломав ребра вместе с хребтом, в рваной ране колом встали замерзшие легкие. Пустые остекленевшие глаза уставились в небеса.

– Оpoznали, – хмуро подтвердил Фрол Якунин, сельский пристав и, как ни странно для представителя власти, хороший, в общем-то, человек. – Нашенский он, Прокл Куницын, тридцати шести лет, из крестьян.

– В лесу чего делал? Гулял?

– С соседом и бабами за клюквой пришел. Мужики охраной. Мишка, покажь. – Фрол повелительно махнул рукой. Сбоку подскочил тощий остроносый парень в плохо подогнанном полицейском мундире. Один из двух Фроловых подручных. Второй, неуклюжий, похожий на облысевшего медведя-шатуна, Кирька Соломин, переминался с ноги на ногу чуть в стороне. Оба жандарма звезд с неба не хватали, но Фролу выбирать и не приходилось. Мишка, отчего-то очень стесняясь, показал Руху грубо смастряченный арбалет. Ясно, обычная практика в Новгородской земле. Без оружия из села ни ногой. Простое правило, а писано кровью. Тут, правда, оружие вовсе не помогло.

– Всемером пошли: три бабы, две девчонки и два мужика, – Фрол продолжил доклад, важно тыкая пальцем в выложенные рядком тела. – Итого четыре мертвяка, двое живых.

– Живых? – наострил ухо Бучила.

– Мужик второй спасся, Силантий Дымов, и баба одна, Софья Торопка, оба сейчас в жандармерии сидят, напуганы до смерти, херню разную несут, толку никакого от них.

– Хоть какие-то хорошие новости от тебя. – Рух строго глянул на Фрола. – Почему тела в кучу стащили? Ведь не здесь они померли и простынями накрылись?

– Мишка с Кирькой в одно место снесли, – понурился пристав. – Они тут первые были.

– А я тебя предупреждал, – добавил голосу суровости Рух. – Будут мертвецы – без меня пальцем не трогать. Всю картину поломали остолопы твои.

– Говорил я, а толку? – отмахнулся Фрол.

– А мы чего? – Мишка шмыгнул простуженным носом и зачистил: – Они лежат, ужас чего, ну и мы... ну и того. Не по-христиански так-то лежать...

– Ты, Мишка, к соседке ходишь блудить при живой жене, то доподлинно знаю, – уличил Рух. – То по-христиански, видать?

Мишка не нашелся с ответом и обиженно засопел.

«Сукины дети, наворотили делов», – подумал Рух, подхватил еловую шишку и показал жандармам.

– Видали? Знаете, чем хороша? Ее если в задницу запихать, обратно не вынешь уже. Намек ясен?

И, не дожидаясь ответа, заглянул под ближайшую простыню. В горле запершило.

– Матрена Иванова, девяти лет, – проскрипел Фрол. Битая оспой щека пристава нервно задергалась.

Бучила опустил невесомую ткань. Ребенка разорвали в куски. Он пересчитал тела и нахмурился.

– Пошли всемером, двое спаслись, здесь четверо лежат. Где еще один?

– И правда, где? – Фрол повернулся к своим молодцам.

Жандармы переглянулись, и Мишка неуверенно отозвался:

– Дите второе не нашли. Все обыскали, а ее нет. Домой не возвращалась. Может, в лес убежала или чудище утащило с собой?

– Ясно, – кивнул Бучила. – А почему чудовище?

– Так а кто? – удивился Мишка. – Нешто человек? Такое смертоубийство только чудище поганое сотворит.

– Че-то ты умен для жандарма! – восхитился Бучила. – Я б с тобой поспорил, кто гаже, чудища иль человек, но тут ты, Мишка, хоть и дурак, а верно подметил.

– Правда? – Мишка расплылся в недоверчивой и щербатой улыбке.

– Истинный крест. – Рух кивнул на мертвого Прокла: – На спине следы огромных когтищ, острющие страсть, мясо, как масло, пластают, и пятерня огромная. – Он приложил ладонь к покрытой морозной корочкой ране. Судя по размеру порезов, лапища неизвестной тварюги была раза в два больше, чем человеческая рука.

– И кто это был? – с придыханием спросил Фрол.

– Ща, погодь. – Бучила картинно охлопал себя по бокам. – Где же он?

– Кто? – спросил пристав.

– Да шар сраный колдунский, в него смотришь – разом прошлое и грядущее зришь, – фыркнул Рух. – А нету, дружочек мой Фролушка, у меня шарика этого и не было никогда. Оттого хер его знает, кто тут чудил. Одна надежда на свидетелей твоих. С них и начнем, а пока...

Он замер, наострив уши. В зарослях слышалось еле различимое царпанье. По спине побежала зябкая дрожь. Неужели тварь еще здесь? Затаилась, падла, и наблюдает... Рух плавно, без резких движений вытянул из-под плаща взведенный пистоль. Оружие вселило уверенность. Жандармы непонимающе хлопали глазками, но Фрол, вот великого ума человек, уже тянул из ножен тяжелый кавалерийский палаш. Бучила взглядом приказал им остаться на месте и медленно пошел в глубь нахмуренного декабрьского леса. Нет, не от храбрости великой. Просто, сука, кто-то должен был взять и пойти. Хрустела подмороженная трава, время остановилось, воздух словно сгустился. Солнце закатилось за зубчатый край, и опушка стремительно тонула в морозно дымящихся сумерках. Впереди зашуршало, Рух неосознанно прикусил губу, палец окостенел на железе спускового крючка. За сгнившим поваленным деревом чернела промоина. На дне

шевелинулось, и Бучила каким-то чудом удержался от выстрела, в последний момент разглядев окровавленную, истерзанную девочку лет десяти...

Полицейский участок села Нелюдово незаметно притулился с краю Ярмарочной площади, особенно ничем не выделяясь на фоне прочих домов. Ни каменных сырых подземелий, ни специального окошка для взяток, ни пыточных, ни виселицы при входе – обычный рубленый пятистенок, каких тьма на тысячу по всем пределам Новгородской земли. Сени, заваленные хламом, комната с лавками и столом, полки с бумагами да отдельный закуток на запоре для разной буйной братии, подозрительных нищих, проституток и всяких других прощелыг, с которыми время от времени нелюдовская полиция начинала вести борьбу насколько бурную, настолько и бестолковую.

Рух по всегдашней своей невиданной скромности расселся на единственном стуле, принадлежавшем Фролу Якунину, и внимательно разглядывал выживших в резне на болоте. Софью Торопку он сразу узнал, года три назад была замешана в каком-то мелком деле о колдовстве. То ли сама ворожила, то ли рядом стояла, ни черта памяти нет. Одно точно: доказательств найдено не было, или Рух херово искал. Силантия Дымова Рух видел впервые. Вот ведь странная штука судьба: четверо померли, выпотрошены и разорваны на куски, а эти целехонькие. Что это? Везение? Стечение обстоятельств? Шутка уставшего Бога? Происки Дьявола? А бес его разберет! Жизнь как она есть, во всей своей непредсказуемой красоте.

– Меня знаете? – нарушил он тишину.

– Знаем, батюшка, как же не знать? – Софья Торопка, баба лет сорока, тощая, с редкими сальными волосами и морщинистым некрасивым лицом, нервно затеребила краешек головного платка.

– Чай не дураки, – хмуро добавил Силантий Дымов, немолодой мужик, крупнослженный, широкоплечий и весь какой-то помятый.

– Тогда сразу к делу. – Бучила навалился на стол. – Что случилось на болоте, чего видели и от чего бежали?

– Страху, страху, батюшка, натерпелись, – заголосила Софья. – Зачем, зачем поперлись на топь? А я говорила! А я предупредила! А кто меня слушал?

– Я тя щас ударю, – оборвал поток бабьей говорливости Рух. – По делу давай, без затейливых предисловиев. С того момента, как все по

махерке пошло.

– Это я мигом. – Баба как-то сразу приняла деловой вид. – Мы, значит, журавиху собираем, ее на болоте тьмущая тьма, все от краю до краю красно...

– Ты очумела, что ли, совсем?

– Прости, Заступа-батюшка, прости, – ахнула Софья. – Не знаю, как и начать, прости дуру грешную, мыслишками путаюсь. Рядом со мною Фроська Копытова ягоду брала, ох и спорая баба... Все-все, поняла, опять не туда свернула... Так я краешком глаза смотрю, нету ее, только была и нет. Ну мало ли, может, до ветра пошла за кусток. Опять смотрю: стоит Фроська среди деревьев, теперь далече уже, сажень в полста. И машет, значит, рукой. Призывно так. Присмотрелась я и обмерла. Фроська-то не стоит, ноги до земли не достают, будто парит и перебирает ими тихонечко. А сзади, в зарослях, я и не углядела сначала, чудище, высотой чуть не с избу и собой горбатое, черное аки смоль и Фроську за шею лапищей держит и мне, что ли, как бы показывает. А потом раз – и пропало рывком и Фроську с собой унесло. Ну я клюкву бросила, хай с ней, с клюквой проклятой, подол подобрала и тикать. Только у ворот и опомнилась.

– Чудовище, выходит, не разглядела? – без особой надежды уточнил Рух.

– Не разглядела, батюшка, – истово потрянула космами Софья. – Чудище за елкой пряталось и все какое-то, не знаю, расплывчатое было. Я и видала-то его самую чуть.

– И ты не видал? – спросил Бучила у молчаливого Силантия.

– Может, видал, а может, и нет, – неопределенно пожал плечами Дымов. – Прокл покойный, царствие ему небесное, на другой стороне поляны караулом стоял, и видел я, как из зарослей выскочила тварища, вся в шерсти, как жопа у Сатаны, сцапала его и утащила, я моргнуть не успел.

Он снова примолк, бездумно глядя куда-то Руху через плечо.

– А потом? – спросил Бучила.

– А потом я сбежал, – без обиняков признался Силантий.

– Струсил?

– Струсил, – с вызовом ответил мужик и впервые посмотрел Руху прямо в глаза.

– Ну ничего, со всеми бывает, сам грешен, – ободрил Бучила.

– Убежал, а потом вернуться хотел, не гоже ведь так. А все одно страх пересилил. Кто я такой? Пахарь и пахаря сын, куда мне со зверем лютым тягаться? Одно дело перед бабами с самострелом выхаживать, когда никакой нечисти в помине и нет, и совсем другое, когда... эх. – Силантий очень хотел, чтобы ему верили. Верили и не судили.

Бучила смотрел на Дымова с невеселой усмешкой. М-да, а что он мог сделать? Героически сдохнуть? Кто знал, что вблизи села появится настолько сильная и злобная тварь? Да, балуют по мелочи русалки и лешаки, играют с людишками, бывает и до смерти, но в чащах и дубравах своих, куда человеку по старому закону хода как не было, так и нет. Кто туда забрел, сам, почитай, виноват. К жилью не суются, детей не воруют, скотину не портят, чтут с Заступою уговор. И всем хорошо. Но ведь нет, сыскалась какая-то мразь.

– Черт энто или диавол. – Софье надоело молчание. – Рога у него были и хвост.

– Угу, и вилы, – хмыкнул Бучила. – Ты его вроде не видела толком, а тут уже и рога, и хвосты.

– А рога видела, – уперлась баба. – Силантий, скажи.

– Не было рогов, – мотнул бородой Силантий. – А может, и были. Я врать не буду.

– А я, значит, вру? – Софья аж подпрыгнула от возмущения.

– Не трожь ты меня, – беззлобно отозвался Силантий. – Я теперь себя не прощу, Евдокиюшку мою ненаглядную сгубило чудище поганое, ее и всех остальных. А я живой, сижу тут, лясы точу. А они лежат. Дети-то махонькие совсем. Девчонки-соплюшки.

– Одна девчонка живая, – успокоил Бучила.

– Живая? – ахнул Силантий.

– Наталья Клюева из леса обратно на болото выползла, – пояснил Рух. – Пораненная сильно, обмороженная, в чем душа держится – сам не пойму. У лекаря сейчас, даст Бог, обманут костлявую.

– Господи помоги. – Софья мелко перекрестилась несколько раз.

– Ты знаешь, Заступа, чего? – Силантий добела сжал кулаки. – Ты гадину-то, поди, будешь ловить?

– Ну скорее всего, – усмехнулся Бучила. – Или она меня, тут третьего не дано.

– Меня возьми с собой. – Глаза Силантия под кустистыми бровями полыхнули огнем. – Я вину искуплю, обузой не буду. Не

откажи, Заступа.

Рух глянул пристально. Весьма неожиданно. Интересно, чего стоило это Силантию? Смалодушничал, убежал, а теперь терзает себя. Нет, конечно, может, завтра опять передумает, смекнет, что зря в самое пекло полез, но порыв достойный, чего говорить. Добровольный помощник – зверь редчайший по нынешним временам. И сказал:

– Лады, если понадобится, дам тебе знать. Фрол, отпуская обоих, они и так сегодня дерьмишка хлебнули лишка.

– Не забудь, Заступа, слышишь? – Силантий на миг задержался в дверях и следом за Софьей вышел в студеную зимнюю ночь.

– Какие мыслишки? – спросил Фрол, едва они остались наедине.

– А никаких, – признался Бучила. – Тварь в лесу и болотах прячется, хер кто найдет. Тут хоть три полка прочесывать засылай, без толку все. А у нас ты, я, два орла твоих да Силантий. Кстати, Силантий этот откуда? Я вроде раньше не видел его.

– Месяца полтора как прибился к селу, – поделился информацией Фрол. – Беженец с Вотской губернии, документы в порядке. Евдокия-покойница приютила его, жили нормально, пока за клюковкой не пошли.

– Клюква до добра не доводит, – согласился Бучила.

– И чего будем делать? – затаил дыхание пристав.

– Ждать, – отрезал Рух. – Ждать, надеяться, верить. В Бога, в Дьявола или в науку драную, нам сейчас любая помощь нужна. К себе пойду, буду думать и водку пить. А ты спать ложись, утро вечера мудреней.

Утро вместо возвышенной мудрости преподнесло очередной паскудный сюрприз. Едва рассвело и стылая темень ключьями рваной паутины потекла обратно в выстывшие леса, стража обнаружила у ворот четыре человеческие головы, аккуратно сложенные в рядок. Бучила, поднятый ни свет ни заря, зябко кутался в драную шубу и разглядывал замечательную находку, матерясь про себя. Возле ворот успела собраться небольшая толпа. Жандармы пытались сдерживать любопытных, покрикивая и угрожая дубинками. Глухо переговаривались мужики, галдели бабы, были безутешные вдовы. Вроде зима – самое спокойное время, и вот тебе на. Головы были оторваны с мясом, лица перекошены болью и ужасом, в глазах намерзли жидкая кровь и вода. «Ужас». «По грехам нашим тяжким».

«Заступа пришел». «Заступа защитит». «Ага, этих вон защитил», – сдавленно шептались в толпе.

– Лесорубная артель, главным Карп Воропаев. – Фрол указал на самую лохматую голову. – До больших снегов собирались на вырубке возле Лосиног урочища жить. А оно вона как вышло.

Вышло так себе, Рух протяжно вздохнул. Хотели денег заработать, от сварливых жен вдалеке: тяжелая мужская работа, лесные красоты, теплая компания, винишко, посиделки возле костра, мясо на угольях шкворчит... Ммм, не жизнь, а мечта. Пока из чащи не выползет нечто ужасное...

– Та же тварища сработала? – не выдержал Фрол.

– Может, и так, – откликнулся Рух. – Но не хотелось бы.

– Почему? – насторожился пристав.

– Убивает по-разному. А у каждого чудища свой способ всегда: кикиморы потроха выедают, лихоимцы рвут по частям, визгуны горло режут и высасывают глаза и так далее, кто на какую пакость горазд. По трупу почти наверняка определишь, чьих грязных лап это дело. На болоте людей покромсали, а тут головы оторвали. Если одна тварища сработала, то хреновы наши дела, голубчик мой Фрол. Раз убивает по-разному, да еще головы притаскивает к селу, значит, тварь разумна не хуже тебя и меня. А взять жандармов твоих, так и поболее, видать.

– Разумна? – ужаснулся Якунин.

– И это самое дерьмовое, – кивнул Бучила. – С обычным чудищем управиться легче, с ним понятненько все, оно жрать хочет, плодиться и спать. А от этой всякой пакости жди.

– И что делать? – напрягся пристав.

– Перво-наперво поднимай своих, идем в Лосиное урочище. Конно, людно и оружно. И быстро.

Фрол исчез. Простоволосая баба в накинутой на плечи шали, припавшая на колени возле голов, подняла полные боли глаза и прошептала:

– Как же, как же оно так, Заступа-батюшка? Порешили мужиков наших. Не уследил ты, милостивец, не уследил.

– На все воля Божья, – буркнул Рух.

– Дети сиротами остались, – выдохнула баба. Толпа затихла, заслушалась.

– Ты меня не совести. – Бучила ковырнул землю носком сапога и повысил голос: – Эй, слышите? Я мразь отыщу и наизнанку выверну. А сейчас все по домам и из села, пока не разрешу, носа никому не показывать, если жизнь дорога. Были шутки, да кончились.

– Как же это? – удивился высокий нескладный мужик. – И долго сидеть?

– Сколько понадобится, – отрезал Бучила и, высмотрев в толпе Силантия, призывно махнул рукой.

Силантий подошел, оттирая селян широким плечом. На оторванные головы смотрел без особой боязни. Меховой треух натянут на самые глаза, в руках самострел, за пояс кафтана заткнут кистень, через плечо перекинут опасного вида капкан.

– Ты куда в таком виде собрался? – как родному улыбнулся Бучила.

– Зверя ловить, – не стал кривить душой Силантий. – Ты не зовешь, я ночь промучился и чуть свет решил сам дело вершить. А тут это...

– Зверя, значит, ловить? – уважительно прищурился Рух. – Смелый ты, дядя.

– Насмехаешься? – Силантий обиженно засопел.

– Ничуть не бывало, – бодро соврал Рух и обратился к остальным: – Во, видели? А то сопли развесили: «Батюшка, помоги, батюшка, защити». А человек взял стреляло древнее, херню какую-то железную и пошел зверюге хвост выдирать. Учитесь!

– А тебя пошто держим тогда? – выкрикнул кто-то чересчур смелый из задних рядов. Крикуна поддержал одобрительный ропот.

– Для красоты, сука ты горластая, – окрысился Бучила. Толпа отхлынула, из ворот выкатилась коляска, запряженная двумя гнедыми кобылами. На облучке расположился Фрол Якунин. За ним жандармы Мишка с Кирькой, ряженные поверх мундиров в бригантины из траченных ржавчиной железных пластин. Рожи от этого умнее не стали. От обоих ощутимо тянуло сивухой. Приняли уже для храбрости, сукины дети.

– Так, все, расходимся! – Рух вскарабкался в коляску и обернулся к Силантию: – Ну, чего встал? Особое приглашение ждешь?

Силантий, насупленный и серьезный, полез следом, путаясь в цепи капкана. Так с триумфом и отбыли, Рух украдкой глянул через

плечо. Народ послушно возвращался в село, ворота закрылись, Нелюдово, напуганное и взвинченное, садилось в осаду против врага, которого не видел никто.

– Оружия всякого взяли с запасом, – похвастался Фрол. Рух уже видел и сам. Жандармы сжимали громоздкие фитильные мушкеты, на полу коляски уложены сабли, заряженные пистолы и топоры на длинных боевых рукоятках. Не хватало разве что пушки. Хотя, зная предусмотрительность Якунина, можно было и того ожидать.

Туманная полоса елового бора ломаной зубчатой линией царапала низкие серые небеса. Притихшее село и поникшие, желтые от сухостоя поля остались далеко позади. Разбитая колея петляла то вправо, то влево, за обочинами густо вставал тоненький, пронизанный ветрами молодой березняк. В лес въехали в полном молчании. Вроде лес как лес, знакомый до чертиков, исхоженный вдоль и поперек, но от мысли, что в чаще скрывается зловредная тварь, всем, даже Бучиле, было не по себе. От поганого ощущения чужого взгляда по спине бежал холодок. Мишка с Кирькой крутили головами, судорожно раздувая тлевшие фитили. Силантий застыл черным вороном, изредка сверкая глазищами из-под бровей. Ельник, голый и притихший, костенел в призрачной дымке, временами мелкой колючей крупой сыпал снежок, лез за шиворот, покусывал щеки и истаивал на спинах беспокойно похрапывающих кобыл. Когда до Лосиноного урочища осталось меньше версты, Рух тронул Якунина за плечо и тихо сказал:

– Тпру, приехали, дальше пешком.

И первым прыгнул с коляски на затвердевшую придорожную грязь, прихватив с собой кавалерийский карабин. Калибр для охоты на неизвестное страшилище маловат, зато ружьишко короткое и ухватистое, для чащобных баталий самое то. Бравая команда посыпалась следом, вооруженная, напряженная и немножечко пьяная.

– Кирька, останешься при лошадях, – шепотом велел Фрол.

– Будет исполнено, – здоровенный жандарм послушно кивнул.

– Не советую, если, конечно, не хочешь увальня в могилу загнать, – воспротивился Рух. – Разделяться – гиблое дело. Все за мной, поглядывайте за спину и по сторонам.

Крохотный отряд втянулся в примороженные, усыпанные инеем заросли. Тишина стояла жуткая, гробовая. Только вдалеке выстукивал дятел: «Тук-тук, тук-тук. Всякий мертвый будет тут». Скоро у Бучилы

от пристального взглядывания разболелись глаза. Едва заметная тропка вилась среди заросших чахлым малинником буреломов. Позади напряженно сопели и шмыгали носами горе-охотнички. Ельник поредел и сменился высоченными соснами, стали попадаться свежие пни и кучи хвороста в человеческий рост. Близилась вырубка...

Рух настороженно замер на краю широкой прогалины. По другую сторону горбом дыбилась крыша землянки с распахнутой дверью. Рядом кострище, обложенное камнями, с опрокинутым в угли артельным котлом и колода с воткнутым топором. Тишь да благодать, если бы не одно но. На поляне шло кровавое пиршество. Троица крулаканов рвала мертвецов, воя, рыча, огрызаясь и топорща друг на дружку костяные гребни, идущие вдоль спины до хвоста. Ну конечно, как же без вас, а говорят, повывелись такие падлица в наших лесах... Приземистые, похожие на обросших куцым мехом ящеров, горбатые твари со впалыми брюхами и выпиравшими ребрами пожирали трупы сгинувших лесорубов. Бучила жестом приказал своим орлам рассредоточится. Крулаканы нечисть опасная, жрут гнилятину в основном, но и живинкой не брезгают. Надо только их шугануть...

– В бошки бейте, – прошептал Рух, тщательно прицелился и пальнул. Самый крупный крулакан, с белесыми полосами на шкуре, качнулся на подкосившихся лапах и ткнулся зубастой мордой в еду. Бахнули мушкетеры жандармов. С такого расстояния хер промахнешься. Эти придурки сумели. Первая пуля отшвырнула крулакана прочь, вторая с противным свистом улетела в заросли, сбив с веток наледь и мох. Раненая тварь покатила по земле и вскочила, оглушительно завизжав.

Рух уже бежал на поляну, выхватывая пистолы и что есть мочи оря. Крулакан сиганул навстречу, и Бучила выстрелил навскидку. Оскаленная морда взорвалась облаком зеленой крови, тяжеленная туша полетела кубарем и остановилась, суча когтями по опавшей хвое. Раненная мушкетерной пулей тварь попыталась сбежать, припадая на левую лапу, но не тут-то было. Несчастливого крулакана в полном составе нагнала доблестная нелюдовская полиция и принялась клятовать по чем попало в три палаша. Чудище крутилось и выло, пока не издохло, порубленное в куски.

– Вот так, суки! – победно крикнул Бучила и замер, вдруг почувствовав, как в спину пахнул падалый смрад. Он успел

обернуться, когда взявшийся хер знает откуда поджарый, ободранный крулакан сиганул с крыши землянки. Длинное, с морщинистым голым брюхом тело распласталось в прыжке. «Доорался, идиотина?» – успел подумать Бучила, отбрасывая бесполезные пистолы и пытаясь выпутать из-под шубы верный тесак. Да разве успеешь...

Время словно остановилось и загустело, загнутые когти тускло блестели, клыкастая харя ощерилась... Щелкнуло. В правом боку твари вырос арбалетный болт, крулакана сбило с траектории, и вонючая туша задела Руха только плечом. Будто попал пол коня. Бучила отлетел и шмякнулся оземь, сминая траву. Хрустнули кости. Тут же вскочил, но все было кончено. Чудище клацало челюстью, пытаясь вырвать стрелу, засевшую по самое оперение, корчась и утробно визжа. Сажень в десяти от издыхающей твари с обычным хмурым видом стоял Силантий, держа на весу разряженный самострел. Крулакан выгнулся дугой и затих.

– Вот зачем? – фыркнул Бучила. Его потрясывало, руки не слушались. – Я б и сам тварищу угомонил.

– Сам так сам, – пожал плечами Силантий. – Помочь я хотел.

– Помощничек, душу ети, – проворчал Рух. Надо же, докатился: я, я, победитель чудовищ, мне все нипочем, и так обосраться. Крестьянин от неприятностей спас. Стыдища какая.

– Живой, Заступа? – чертом подскочил Фрол.

– Шутить изволите, ваше приставчество? – хохотнул Бучила. – Ты где живого вурдалака видал?

Было крайне приятно – беспокоится Фрол, переживает.

– Да я не про это, – смешался Якунин.

– Да живой, живой, хер ли мне будет? – Бучила, уже забыв про схватку, устремился к обезглавленным людям. Вернее, к тому, что осталось. Лесорубов было четверо, погибли все вместе возле землянки. Может, щи хлебали, а может, с работы только пришли, кто теперь разберет? Да и не важно это уже. Голодные крулаканы безнадежно испортили мертвецов, превратив тела в месиво из плоти и обломков костей. Зря, видать, перлись в такую-то даль...

– Заступа, – едва слышно позвал Фрол. – Заступа.

– Ну чего? – передернулся Рух.

– Туда глянь.

Бучила скосил глаза в указанном направлении и вполголоса выматерился. На краю поляны, сажень в двадцати от землянки, чаща породила стаю волков. Десятка полтора, а то и больше серых убийц во главе со здоровенным матерым волчарой, в холке высотой чуть не с теленка и седой мордой, покрытой старыми шрамами.

– Не дергайтесь, – прошипел своим Бучила, лихорадочно раздумывая, как дальше быть. Оружие перезарядить не успели, пугануть зверух не получится. Крулаканов удачно взяли врасплох, на чистом везении, а здесь такого не будет. Если набросятся, клочки по закоулочкам полетят. А эти набросятся, к гадалке не ходи, на запах крови пришли. Ждали, пока нечисть отвалит, а на людей обязательно нападут. Один отвлечет, двое зайдут со спины, и тогда все: если упадешь, встанешь уже перед ангелом. Ну или бесом, тут уж как кому повезет.

Вожак ощетинился и зарычал, сделав короткий уверенный шаг. Остальные, как по команде, рассыпались полукольцом. Рух замер, крепко вцепившись в рукоять тесака.

Волчара сделал еще один шаг и застыл, словно наткнувшись на прозрачную стену, черный нос с шумом потянул ледяной воздух. Вожак обескураженно тряхнул головой, попятился и прыжком унесся с поляны. Остальные теньями исчезли следом за ним. Были и пропали, будто морок ветром сдуло.

– Уф, это было напряженно, – выдохнул Фрол. – Думал, порвут.

– Невкусные мы, или от Мишки воняет больно уж гадостно, – отозвался Бучила. – А может, почуяли что. – Он недобро покосился на заросли. – Заканчиваем тут, грузим мертвяков – и ходу.

– Не нравится мне тут, – пробурчал Силантий, успевший заложить в самострел новый болт.

– Мне, братец мой, вообще на этом свете не нравится, – усмехнулся Бучила и вдруг увидел кое-что интересное. В кулаке одного из мертвых лесорубов были зажаты черные волосы. Не волосы, шерсть. Окоченевшие пальцы пришлось разжимать ножом, нещадно кромсая застывшую плоть. Шерсть была длинная, жесткая, гладкая. Рух принюхался. Пахло мускусом, кровью, морозом и прелым листом. Теплым логовом, лунной ночью и упоением загонной охоты. Этот запах, будь он не ладен, не спутать ни с чем.

– Уходим, быстро, – отрывисто приказал Бучила. И лес шумел тревожно и угрожающе. «Быть беде, быть беде», – выстукивал дятел.

От белобокой печки волнами струилось тепло, уютно потрескивали уголья, под лавкой мурлыкала кошка. В избу семейства Клюевых Рух приперся незваным. Хозяин, Петр Клюев, встретил приветливо, уважительно, без особого страха. Хозяйка, Катерина, плакать взялась ни с того ни с сего, едва успокоили. Оно и понятно, горе большое пришло. Дочка Наташка, надежда и опора, металась в бреду на кровати, плакала, комкая одеяла и простыни. Ночная рубаха намокла, щеки ввалились, вокруг глаз залегла черная тень, сквозь повязки на руках проступила свежая кровь.

– Лекарь чего говорит? – нарушил молчание Рух.

– Говорит, поранена страсть, – всхлипнула мать. – Руки и спина располосованы до кости. Истерзана вся. Ноги обморозила, два пальца обрезал дохтур-то наш. Не померла, и ладно, слава Богу.

– Головой еще, видать, тронулась, – буркнул отец. – Хотя и немудрено. Дитя малое, а такую страсть испытать. После обеда в себя пришла, нас с мамкой не узнает, заорала с подвывом, задергалась. Под кровать забилась, не вытащить. Как будто света белого испугалась. Кое-как скрутил, так она меня за щеку тяпнула. – Петр ткнул пальцем в округлый след от зубов. – Микстурой, что доктор оставил, напоили силком, только тогда унялась.

– Значит, света боится? – Рух взял склянку и принюхался. Конопляное масло, пустырник и ландыш. Таким не то что ребенка, быка можно свалить.

– Как нам дальше-то, батюшка? – Мать подняла заплаканные глаза.

– Ждать, – отозвался Бучила. – Молиться и ждать.

«А лучше сразу убить», – закончил он про себя. То, что ждало Наташку, не пожелаешь даже врагу. Остался день, максимум два.

В сенях загремело, послышалась сдавленная ругань, дверь распахнулась, и в клубах морозного пара появился Фрол Якунин.

– Заступа, выйдем-ка. – Пристав выглядел обеспокоенным.

За крыльцом плескалась кромешная темнота, перегавкивались собаки, тянулись к звездному небу столбы дыма из труб.

– Непокойно в селе, – глухо сообщил Фрол. – Людишки напуганы, не привыкли у нас от нечисти умерших хоронить.

– То моя заслуга, – похвастался Рух.

– Твоя, спору нет, – согласился Фрол. – Заслуга и одновременно беда. Набаловал всех. А теперь разговоры идут, дескать, Заступа баклуши бьет. Крамольные разговоры.

– Плевать, – легкомысленно усмехнулся Бучила. – Мне до тех разговоров дела нет. Сам видишь, аки уж на сковородке кручусь.

– Так-то оно так, – вздохнул Фрол. – Вот только купец Бастрькин сегодня вечером увел в Торжок конный обоз.

– Чего увел? – поперхнулся Бучила. – Я же запретил из села выходить.

– Бастрькин сказал, ты ему не указ. А торговые дела ждать не будут. Убыток за простой никто не восполнит.

– Вернется, башку оторву, – пообещал Рух.

– Не оторвешь, – возразил пристав. – Новгород на купцах держится, тронешь хоть одного – в порошок изотрут и по ветру пустят.

– Вот сука.

– Остальные купцы и с ними мастеровые подали жалобу на тебя. Одну мне, другую старейшинам. Пишут, зверь терзает народ, а Заступа страдает херней и договора не чтит. Спрашивают, зачем нужен Заступа, если защиты от него никакой. В соседнем Долматово Заступы, почитай, двадцать лет как нет и ничего, живы, сами в обороне стоят.

– Быстро перековались, сволочи, – восхитился Бучила. – Вчера лебезили и кланялись, а сегодня клязду принесли. Это, значит, я страдаю херней? А я, между прочим, точно знаю, какая мразища балует.

– Знаешь, а мне не сказал? – напрягся Якунин.

– Не дуйся. – Бучила пихнул пристава в бок. – Помнишь, шерсть на заимке нашел?

– Помню. После бежали как угорелые.

– Волколака шерсть, – признался Рух. – Выходит, он и лютует.

– Оборотень? – изумился Якунин.

– Он самый. Я же говорил, не дай бог попалась разумная тварь. Ну и как в воду глядел. Лет пять волколака живьем не видал, с того поганого случая в Черном бору. А он, вишь, объявился и промышляет, падлюка.

– В лесу хоронится? – напрягся Фрол.

– Не факт. В людском обличье волколака от человека не отличить, рядом будет стоять – не разберешь. Водку с ним будешь пить, разговоры вести, в щеки румяные целовать. Это самое страшное. Отныне на человека будешь смотреть и в догадках теряться, не кроется ли внутри волколак. Друг, враг, сосед, мимохожий, баба с ведрами – все в подозрении. Да хоть даже и ты.

– Я? – поперхнулся Якунин.

– В первую очередь, – хохотнул Рух. – Мы с тобой в бане мывались, ты же весь шерстяной, даже в самых непотребных местах. Подозрительно это. Поди и хвостище есть, я не приглядывался.

– Шутки шутишь, Заступа, – вымученно улыбнулся Фрол. – Разве время шутить?

– Хер ли, плакать прикажешь? Давно отплакал свое. – Бучила многозначительно ткнул пальцем в черные небеса. – Тут плачь не плачь, лучше не будет. Дела надо делать, сраный порядок блюсти, собирай ополчение, патрулируйте улицы ночь напролет, на тын выставь людей, караулы удвой. И будем ждать. Пока тварь сама себя не выдаст, больше ничем помочь не могу. Ну еще с домовыми договорюсь, пушай построже следят. Давай, Фролушка, не подведи. И да поможет нам тот, кому там по должности положено помогать.

В лампе, надежно прикрытый дутым стеклом, шипел и плевался огонь, бросая на стены полицейского участка багровые всполохи. За оконцами, изукрашенными морозным узором, настыла глубокая ночь. Отголоски собачьего лая приходили откуда-то издалека. Руха неудержимо клонило провалиться в обморок-сон, и когда внутри с треском и грохотом ворвался Мишка, Бучила едва не сверзился со стула.

– Там, там! – Мишка захлебнулся словами. – За-а-аступа!

– Ты чего орешь? Смерти хочешь моей? – Бучила картинно схватился за сердце.

– Там, там. – Мишка, покрасневшийся и взвинченный, ткнул за спину. – Волки у Бежецких ворот!

– И? – удивился Рух. – Волки и волки, через тын с лапками ихними не перелезть. Самое большее – столбы воротные обоссут. Утром возьмешь мочало и ототрешь.

– Да не в том дело, – сконфузился жандарм. – Волки там и люди при них. Видеть надо, бежим!

И, сучонок, сбежал, только подшитые валенки засверкали. Бучила тяжко, с надрывом вздохнул, накинул шубу и поспешил следом в искрящую седым инеем темноту. Собачий лай становился бешеным, нарастал, перекатываясь по селу скулящей, воющей, оголтелой волной. До ворот совсем ничего, две улицы, кривой проулок на срез, и вот уже Рух следом за Мишкой взлетел по приставной лестнице на воротную башню. Потрескивали и фыркали на ветру горящие факелы, остро и пряно пахли тлеющие мушкетные фитили, толпился народ. От собачьего бреха начинала побаливать голова.

– Глянь сюда. – Фрол Якунин посторонился, и Рух приник к узкой бойнице. Огромная, хищно улыбающаяся с небосвода Скверня давала света в избытке, заливая широкое поле призрачным молоком. Тут и ночное зрение не требовалось. Сажень в двухстах от ворот кружилась и рычала стая волков, гоня по целине двух человек. Это было похоже на безумную, дикую карусель. Мужик и баба в изодранном нижнем белье, босые, покрытые кровью, метались, выбитые из сил, пытались вырваться, скользили по мороженой земле и всюду натыкались на вздыбленные загравки и оскаленные клыки. Жуткая и завораживающая игра.

– Как увидели, сразу за тобою послал, – сообщил Фрол. – Хотел из ружей палить, да побоялся, заденем людей.

– Оно, может, и к лучшему, если заденете, – выдохнул Рух. Людей он сразу узнал – семья, живущая на Гориных выселках. Муж, жена, двое малых детей. Сколь раз говорили не маяться дурью, переселяться в село. Свобода им была дорога. Ну-ну, вот она, ваша свобода... От мысли «где же дети?» по спине побежала холодная дрожь. Баба закричала и в изнеможении свалилась на землю. Подскочивший волк вцепился несчастной в бок и тут же отпрыгнул. Мужик махал руками и скулил в тщетных попытках защитить себя и жену. Круг из окровавленных жадных пастей смыкался все ближе. Мелькали неуловимые черные тени. В происходящее было невозможно поверить, волки так себя не ведут. Убить, загрызть, искалечить в зимнюю бескормицу одинокого человека – то запросто, но пригонять людей за четыре версты и рвать у всех на глазах? Что, мать твою, происходит? Ответ пришел сам собой – простой, однозначный и страшный, – чужая воля, волколак, сучий потрох, приказал устроить кровавый вертеп. Волколаки большие мастаки на подобные гадости. В образе зверя

запросто колдовством берут волков под полный контроль. И сразу возник новый вопрос: на хрена ему это все? Вот на хрена? Силу свою показать? Еще больше народ запугать?

– Чего молчишь? – Фрол пихнул локтем в бок. В голосе пристава сквозила истерика.

– Размышляю, – огрызнулся Бучила. – Кто-то же должен.

– Делать надо, не размышлять, – взвился Фрол. – Погубят людей! Раз ты трусишь, Заступа, я кого могу соберу и выйду за стены.

– А если он того и ждет? – тихо спросил Бучила.

– Кто – он? – опешил Якунин.

– Волколак драный, кто же еще? Думаешь, волки сами по себе придумали этот спектакль? Хер там бывал. Скотина мохнатая их заставила, а сама затаилась и ждет. Выйдете за ворота, а дальше? Кругом темнота, строй держать не обучены, повыхватывает по одному и схарчит, а волки помогут. Я смекаю, лучше пусть двоих съедят, чем десяток.

– Да разве можно? – опешил Якунин.

– Ты главный, сам выбирай, десяток на облачка бездельничать отправить или двоих. – Рух замер и прислушался. В избах, за бревенчатыми стенами, испуганно переговаривались люди, кричали младенцы, плакали дети. Истошный собачий гвалт неуловимо менялся, если до этого ожесточенный брех катился волнами по Нелюдову, то теперь будто разбился на много разноголосых кусков. Рядом с воротами и вдоль стены остервенелый лай не смолкал, но дальше начинал ощутимо слабеть, местами затихать и за чернеющим в ночи крестом часовни Святой Варвары сменяться едва ли не испуганным скулежом. Чуткий вурдалачий слух улавливал малейшие изменения, и в общей какофонии Бучила с точностью до пары домов распознал тихий предсмертный визг, полный боли и ужаса. Что-то странное и страшное творилось в селе. Волки на поле продолжали свои кошмарный убийственный хоровод. Женщина, превращенная в кусок горячего мяса, перестала кричать, мужик опустился на четвереньки и чуть слышно рыдал, надувая багровые пузыри. Сверкали клыки, плясали тени, лоснилась в лунном свете серая шерсть.

– Я отлучусь на чуток. – Рух внезапно охрип. – Тут решай сам.

– Да как же? – всплеснул руками Якунин.

– А как взрослые дяди решают. – Бучила вихрем слетел по лестнице вниз. Пристав кричал вслед, звал, угрожал, но Рух отмахнулся и нырнул в лабиринт узеньких улочек, бесконечных поленниц и задних дворов. Наитие вело его прочь от Бежецких врат. Ледяной ветер хлестал по лицу, сапоги скользили по хрупкому льду, лаяли и выли сходящие с ума дворовые псы. За спиной вразнобой саданул залп из доброго десятка стволов. Фрол Якунин сделал свой выбор. Верный, неверный, кто его разберет. Было жалко и людей, и волков. Животины вообще дурные, вины за ними особой и нет. Волки оборотней ненавидят всем своим звериным нутром, а куцых мозгов не хватает разобраться, что в стае затесался опасный чужак. Узнают – в ключья порвут. Да вот только ни хрена не узнают они, так и сгинут, управляемые волей перевертыша-колдуна.

Бучила замешкался на очередном перекрестке, заметался влево и вправо, шумно принюхался и уверенно направился к крайней со стороны кладбищенской ограды избе. Тихонечко отворил калитку, благо не заперта, и тут же увидел лежащего на земле кобеля. Животное было разорвано надвое, передняя часть с головой осталась на длинной цепи, заднюю зашвырнули к забору. «Твою же мать, твою же мать», – Рух вдруг пожалел, что приперся один. А другого выхода не было. Пока бы объяснял, пока бы доказывал, эх... Да и хрен ли теперь? Дверь в сени была сорвана с петель, внутри клубилась и тянула во все стороны щупальца мерзкая липкая темнота. Темнота кричала: «Спасайся, беги!» Рух, сбрасывая оцепенение, мотнул головой. Стало понятно, зачем волки пригнали мужика и бабу к селу – пока все сбежались смотреть, волколак пробрался за тын.

Первая ступенька душераздирающе скрипнула, перекрывая, кажется, даже пронзительный собачий переполох. Бучила вдруг понял, что прилязгивает зубами. В сенях, в полосках лунного света, медленно кружились пылинки, дверь в дом тоже оказалась распахнута. От запаха свежепролитой крови к горлу подступил голодный комок. Изнутри слышалось влажное чавканье. Рух вошел бесшумно, вплыл в избу призрачной тенью и едва не споткнулся о распростертый у порога, в лохмотья истерзанный труп. Дородный, поперек себя шире мужик выплеснул потроха на пол и удивленно смотрел на матицу [\[20\]](#) единственным глазом. Второй отсутствовал вместе с половиной лица. Бучила невольно засмотрелся на труп и запоздало заметил, как тьма

возле печки колыхнулась и поползла. В углу выпрямлялась и вырастала громадная тень, остро пахло мокрой шкурой и мускусом. Рух повел пистолями, но тварь оказалась быстрее, тьма неумовимо сместилась, и Бучила снова словно попал под бегущую лошадь. От удара он отлетел, снес какую-то мебель, с размаху приложился спиной и сполз по стене, пистолеты вылетели из рук, грудь полоснула резкая боль. Затуманенному взору предстал волколак во всей своей звериной ошеломляющей красоте, застывший на задних лапах в полуприседе, чуть сторбившись и наклонившись вперед. Если распрямится, будет сажени две высотой, десять пудов мышц, шерсти и злобы. Волчья харя испачкана кровью, передние лапищи с загнутыми когтями напряжены, огромные, близко посаженные глазища пламенели во тьме. Волколак глухо зарычал и сорвался в прыжке. Бучила заорал от страха и подался навстречу, украшенный серебряной вязью тесак вспорол застоявшийся воздух и секанул оборотня прямо по морде. От пронзительного воя зазвенело в ушах. В следующее мгновение клыки сомкнулись у Руха на правом плече. Волколак поднял упыря и потрянул, как трясет крысу охотничий пес, с сырым треском лопнувшего мяса и переломанных на хер костей. «Ну вот и все» – пронеслась в башке глупая мысль. Хватка ослабла, и Бучила мешком обрушился на пол. Морда оборотня, украшенная наискось свежей раной от тесака, нависла сверху. Рух мог поклясться, что хищный оскал был жуткой усмешкой. Зверь зарычал и исчез, оставив после себя трупы и кровь.

«Почему не убил?» – успел подумать Бучила, проваливаясь в блаженное забытие.

Он не помнил, как его нашли, тормошили, звали по имени, а потом тащили волоком по улицам, матерясь и роняя рожей в замерзшую грязь. В себя пришел на столе у сельского коновала и с перепугу едва не пришиб ни в чем не повинного старика. Лекарь перевязал пораненное плечо и между делом шепнул на ухо, что у Клюевых дома плохо совсем, с Наташкой что-то творится, соседи о том проведали, и быть скоро преогромной беде. Полежал, значит, отдохнул, етит твою мать. До Клюевых добрал еле-еле, от дикой боли мутнело в глазах, ноги подгибались, трижды падал и полз. И все же успел. Перед избой собралась небольшая толпа, взвинченная, злая, при факелах, вилах и топорах. Увидев Руха, рассыпались полукругом, и тощий, с куцей бороденкой мужик хмуро сказал:

– Говорят, девка в чудище обратилась, бабы на крик сбежались и видели. На мать бросилась, в крови Катерина была. А Петр выгнал всех и дверь затворил. Чего делать, Заступа?

– Валите отсюда, и быстро, пока ноги не вырвал. – Бучила взбежал на крыльцо и забарабанил в закрытую дверь. – Эй, это Заступа, а ну открывай!

Дверь отворилась почти мгновенно, словно Руха там ждали.

– Где она? – спросил Бучила, оттирая Петра с дороги плечом.

– Там. – Глаза у Петра были мертвы.

Рух ввалился в горницу и первым делом увидел Наташкину мать. Катерина сидела, привалясь к печке, в одной ночной сорочке, перепачканной кровью. Лицо и руки исполосованы почти до костей.

– Заступа, – ахнула она. – Пришел, пришел, миленький, а мы, а я...

– Нету больше Наташки, – пояснил вошедший следом отец. Рух только тут заметил, что хозяин вооружен топором.

Бучила отпер дверцу в чулан, из темноты донеслось низкое горловое рычание, послышались сырые шлепки, и он едва успел среагировать на молниеносный бросок. Выставил здоровую руку и сцапал мягкое, теплое и визжащее. Посыпался град ударов, один задел укушенное плечо. Рух выругался сквозь зубы, приложил нападавшего об косяк и зашвырнул обратно в чулан. Шагнул следом, за спиной появился Петр со свечой в дрожащей руке. Язычок пламени дергался и плясал, сплетая кривые жуткие тени. Наташка забилась в угол, из тьмы атели только глаза. Проклятие волколака взяло девочку в оборот: спина сгорбилась, ноги выгнулись в коленях назад, лицо превратилось в подобие морды, на почерневших губах пузырилась желтая пена. Лекарства не существует, снять проклятие невозможно, это надежда для дураков. Еще день или два адских мук, и перерождение будет закончено, ночью волк, днем потерявший разум ребенок. Жажда крови, которую не унять. Потом только смерть.

– Видишь, Заступа? – простонал Петр. – Дочка, доченька. Как же нам быть?

Наташка протяжно заскулила, услышав отца.

– Оборотень покусал, отныне ей дорога одна, – едва слышно сказал Бучила. Не видел смысла скрывать. Не видел повода врать. С родителями иначе нельзя. Можно было найти волколака, который

обучит, поможет взять проклятие под контроль, но это надо было делать вчера. Теперь зависнет между мирами, не зверь и не человек.

– Я сам. – Петр пошатнулся, пальцы на рукояти топора побелели.

– Не надо, – остановил Рух. – Только не ты. Грех смертный, значит, мне его и нести. Добавлю к тыще других, хуже не будет.

Он схватил Наташку за нижнюю челюсть и пораненной рукой с трудом нашарил на поясе скляночку. Бледная поганка, цикута и вороний глаз – верное средство, быстрая смерть. Девчонка извивалась и шипела, щелкала зубами, но Рух без труда подавил яростное сопротивление и влил яд в открывшийся рот. Дальше все стерлось, завертелось, закрутило дьявольский хоровод. Слезы отца, крики матери, пустота в голове, затмившая разум бессильная злость. Тело ребенка унес к себе, на Лысую гору. Так было надо. Преград никто не чинил.

Через час Бучила приперся в кабак заливать горе дешевым вином. Внутри царила пропитанная копотью, жиром и запахом жареного лука дымная полутьма. Рух прикончил бутылку, хрустко закусил соленым груздем и, пристально глянув на нахохлившегося Фрола, ядовито спросил:

– Ну, долго будешь молчать? У меня от твоей кислой рожи водка внутрь не идет.

– Я вижу, как не идет, – буркнул пристав. – Я бы на твоём месте вообще бы не пил.

– Ты не на моем месте, а я, видишь, раненый, пострадавший за веру и отечество в неравном бою. – Бучила продемонстрировал искалеченную руку и поморщился от ноющей боли. Волколак постарался на славу, спасибо с корнями не оторвал. Вурдалаки, конечно, твари живучие, но еще ни одному утерянные конечности отрастить обратно не удалось. Плечо, скотина зубастая, насквозь прокусил, рука, самое малое, месяца два будет теперь заживать, пока кости срастутся, пока мясо рваное зарастет, задницу толком не подотрешь. Вот после такого и жертвуй собой.

– Этих, в поле-то, подстрелили мы, – вздохнул, меняя тему, Фрол. – И с десятков волков. С рассветом вышлю людей, мертвых прибрать и с тварей шкуры содрать.

– На воротах повесишь?

– Повешу. Чтоб неповадно впредь было.

– Волколак прикажет – придут, я тебе говорил, – напомнил Бучила. – Звери не своей волей сотворили злодейство.

– А мне один черт – своей, не своей. – Фрол угрюмо уставился в пол. – Как уляжется, проведу облаву и всех волков вокруг изведу. Успокою народ.

– Дурак ты, Фрол.

– Ты, что ли, умный? – не обиделся пристав. – Я тебе велел волколака ловить, а ты что творишь? Двоих в поле волки порвали, а потом тварь, виданное ли дело, в село пробралась и вырезала под корень семью, загубила четыре души. Народишко перепуган, по избам сидят, Бога молят, прячут детей. А Заступа где? Горькую пьет. Слухи летят, как пожар, люди бунтуют, завтра, после обедни, вече собирают на площади. Купчишки гнать тебя хотят поганой метлой, и многие с ними.

– Меня? Гнать? – не поверил Бучила. Такого на его памяти еще не бывало.

– Людям нужна защита, – пояснил Фрол. – Ежели чудища в село лезут и народишко аки скотину режут, волей-неволей возникает вопрос – а зачем Заступа тогда?

– И ты с ними? – прищурился Рух.

– Я пристав. – Фрол гордо задрал подбородок. – Новгороду Великому служу и людям его, коих должен охранять и беречь. А если людишки мрут без разбору, знать, и вина будет на мне. Оттого какое решение на вече примут, так тому и бывать.

Фрол резко встал, скрипнули половицы, хлопнула дверь. Бучила потянулся за водкой. От вестей пробивал нервный смех. Вот сукины дети, неблагодарные псы, полвека жилы рвал, лучшие годы на них положил, вечной жизнью сотню раз рисковал, а они? Ну чистые сволочи. Чуть прижало, и понеслось: Заступа херовый, Заступа бездельник, гнать Заступу взашей. Нет, это, конечно, их право, может, и поделом, но урон для репутации будет ужасный. Волколак – падаль мерзкая, так бы и придушил вонючую тварь. Что за странную игру он ведет? Ведь мог убить, ан нет, не стал, паскуда мохнатая. Близилось утро, за оконцами засерела предрассветная хмарь. Кабак потихоньку наполнялся народом – почтовиками, обозниками и гуртовщиками. Под низким потолком плыл мерный гул голосов, стучали деревянные ложки. Рух, забившийся в самый темный угол, ловил на себе

мимолетные взгляды. Люди шептались и поспешно отводили глаза. Надо было валить. Собрать манатки или ловить волколака, третьего не дано.

Человек возник у стола незаметно, каким-то быстрым и плавным движением. Рух почувствовал чужака и буркнул, не поднимая головы:

– Не мешай.

– Есть разговор. – Незваный гость бесцеремонно уселся. Голос был странно знаком.

– Плохо понял? Так я... – Бучила поднял взгляд и осекся. Напротив расположился Силантий Дымов, красуясь свежей рубленой раной поперек ехидно улыбавшегося лица. Он и одновременно не он. Все изменилось – речь, повадки, манеры. От простого и понятного мужика не осталось следа. Повязка, наложенная от подбородка через левый глаз до брови, подтекала и мокла в крови.

– Лихо ты меня. – Силантий подмигнул уцелевшим глазом и слегка оскалил удлинившиеся клыки. Лицо отчетливо приняло волчьи черты. Наваждение тут же прошло, перед Рухом снова сидел человек.

– Ты? – Сказать, что Бучила удивился, – ничего не сказать. – Ты?

– Я, – Силантий кивнул. – Искал волколака? Вот и нашел.

Рух сипло рассмеялся и полез за пистолем. Силантий не дрогнул, а только спросил:

– Будешь стрелять в человека? Да при свидетелях? Знаешь, что тебя после этого ждет?

Бучила выдохнул и откинулся на спинку скамьи. Волколак все рассчитал, в человеческом облике он человек, обратного не доказать. Не поможет ни вскрытие, ни окропление святой водой, ничего. Если снести башку безвинному человеку, дальше понятно и не очень красиво – обвинение в убийстве, церковный суд и костер. Завидная перспектива.

– Хитрая ты скотина, – восхитился Рух, беря себя в руки. – У меня один вопрос: какого хера здесь происходит?

– Знаешь, я даже хочу умереть вот так, от твоей руки, прямо сейчас. Пусть все увидят, что Рух Бучила

обыкновенный, сошедший с ума душегуб. Так выглядит воздаяние. – Глаз Силантия полыхнул. – Помнишь, пять лет назад, тут, в лесу под Нелюдовом, ты убил волколачиху и двоих годовалых щенков?

– Я много кого порешил, всех и не сосчитать – фыркнул Бучила.

– Это были моя жена с малыми детьми. – Силантий подался вперед. – Моя семья.

– Вообще не сочувствую. Она задрала пастуха с подпаском и человечинной кормила щенят. – Рух помнил все до самых незначительных мелочей. – Виновата сама. У пастуха тоже была семья, а у подпасака – мать и отец. Я сделал, что должен.

– А теперь пришло время платить, – сказал волколак. – Я слишком долго планировал, раздумывал, ждал. Хотел просто убить, но этого мало, я хочу, чтобы тебя прогнали с позором, как побитого пса, пусть ты лишишься всего, пусть станешь никому не нужен и всеми гоним. Хлебнешь беды и горя с лихвой. И тогда я снова приду за тобой.

– А если меня не прогонят?

– Прогонят. Или я продолжу убивать снова и снова, пока страх и ужас не сделают свое дело. Знаешь, люди крайне простые существа, быстро забудут, сколько жизней ты спас, и будут лишь помнить, сколько жизней ты отобрал.

– Теперь понятно, почему ты меня не убил. И от крулакана спас, – кивнул Рух. – А я все гадал.

– Хочу, чтоб ты жил, – подтвердил волколак. – Смерть – слишком простой вариант. Будешь мучиться и страдать.

– Понимаю, – совершенно серьезно кивнул Бучила. – Давным-давно и я потерял всю семью: жену, сына и дочь. Их убили. И я отомстил, жестоко и страшно. И мщу до сих пор, каждую сраную ночь. Стало ли легче? Ни капли. Но если б пришлось, я снова бы вырвал те поганые, трусливые и безжалостные сердца. И знаешь, что самое страшное? Я не помню лиц жены и детей, а рожи убийц со мной навсегда. Не все из них понесли наказание, и только это мешает мне броситься грудью на осиновый кол.

– Кто их убил? – Силантий смерил упыря недоверчивым взглядом.

– Люди. – Если Рух и соврал, то самую малость.

– И ты защищаешь их?

– А я из тех дураков, твердо уверенных, что хорошень и нехорошень не определяется хвостом, цветом шкуры или количеством глаз. Я даже знавал парочку приятных в общении оборотней, культурных, милых и обходительных. Ни ты, ни твоя мертвая бешеная сука к ним не относитесь.

– Не называй ее так! – Силантий на долю мгновения утратил контроль над собой. Звериная натура рванулась наружу, левая скула заострилась, сквозь кожу полез черный мех. Волколак усилием воли сдержал обращение, заскрипел зубами от боли и обмяк на лавке без сил.

«Ути какие мы нежные», – усмехнулся про себя Рух. Стоило надеть мохнатую зазнобу, и сразу поперла всякая дрянь. Нервишки у волчишки безбожно шалят. И это наталкивало на одну безумную мысль...

Силантий глубоко выдохнул, встал и бросил золотую гривну на стол.

– На, купи еще пойла, тебе пригодится. Скоро вече, там и увидимся. А я посмеюсь.

Бучила проводил волколака пристальным взглядом и без тени брезгливости попробовал монету на зуб. Ого, настоящая, будет чем работничкам заплатить. Не самому же, сука, копать. Он посидел еще чуть, договорился с парочкой мужиков, подождал, пока они сбегают за лопатами, и все трое перед рассветом ушли в темный нахмуренный лес. В Черном бору, месте проклятом и колдовском, вспыхнул громадный костер и с треском лопалась промороженная земля.

Вече собралось шумное и многолюдное, чуть не все село от мала до велика пришло. Понятно, каждый ли день Заступу гнать решают к херам? Возле церкви взгромоздили скамьи, чинно расселись старейшины, благообразные седобородые старики. За каждым грехов, как на бродячей собаке репьев. Отдельно, на резном стуле, восседал Фрол Якунин, по должности своей главный обвинитель и судия. Правее собрались нелюдовские купцы, ряженные в меха, бархат и дорогие шелка. Ну а на площади простого люда без всякого счета, любой мужик имеет право на голос, хоть пьяница, хоть распоследний бедняк. На том Новгородская республика и стоит. А позади тьма-тьмущая баб. Детвора облепила заборы и крыши ближайших домов. Все ждали потехи: орали, ругались, грызли тыквенные семечки, подначивали соседей и кричали знакомым молодкам.

– Собрались мы по такому случаю... – Выдержав паузу, воздел руку Фрол. – Тишина! Тишина, я сказал! Зверь нечистый за грехи послан нам, людей бьет без счета, что ни день, то новая кровь. Никакой управы нет на зловредную тварь. Заступа бездействует. –

Пристав поискал глазами Руха и не нашел. – Ну, не бездействует, а толку все одно нет. Нарушает, стало быть, договор.

– Правильно! Нарушает! Кровь нашу задарма пьет, вурдалак! – заорали в толпе. – Не дело!

– Договор и правда нарушен. – Со своего места поднялся главный из старейшин, иссохший сгорбленный Никанор. В руке старик держал пожелтевший, обветшалый пергамент. – Отдельно прописано тут: «Заступа обязан село всеми силами оберегать и людям верой-правдой служить». А раз нету защиты, значит, не действует и договор. Нечего тут долго судить и рядить, пускай народ принимает решение, гнать такого Заступу поганой метлой или оставить.

Толпа заволновалась, зашпорилась на разные голоса. Спокойными остались только купцы, ну им и не по чину орать. Тем более новгородское вече – оно лишь на словах народная власть. Как купцы порешат, так и будет, каждому сунут по медяку и все голоса соберут, не впервой.

– Вы, суки неблагодарные, решайте, а я пока вам сказочку расскажу про всяких интересных собак! – перекрыл гомон пронзительный крик. Все головы повернулись одновременно. На самой верхней ступеньке церковной паперти сидел Рух Бучила, кривя рожу в мерзкой усмешке. Весь закопченный, расхристанный, под ногами грязный холщовый мешок. Рух отыскал в первых рядах Силантия Дымова, подмигнул волколаку и с видом заправского чародея запустил руки по локоть в мешок. Выпрямился, и толпа удивленно ахнула: на правую руку Бучила нацепил череп огромного волка, на левую – два маленьких черепка и заблажил на весь мир, изображая диалог на разные голоса.

– Мама, мама, – закричали маленькие черепа. – А где наш папочка-пес?

– Знать не знаю, где этот блохастый кобель, – ворчливо ответил большой череп. – И сколько раз я вам говорила, он вам никакой не отец. Ваш отец – нелюдовский Заступа Бучила, ох и красавец, ох и горячий мужик.

Рух не сводил глаз с Силантия. Да-да, милок, этот балаган для тебя. Волколак побелел, рана на лице дергалась и пульсировала, губы скривились. Давай, мохнатик, давай.

– К тебе, мама, кто только не ходит! – звонко пропели маленькие. – Может, поэтому папа-пес тебя шалавиной какой-то зовет?

Силантий не выдержал и зарычал, его резко выгнуло дугою назад, кафтан затрещал под грудой поперших словно из ниоткуда шерсти и мышц. Руки превращались в когтистые лапищи, лицо заострилось и вытянулось, с хрустом полезли клыки. Волколак обращался у всех на виду. Народ с воплями бросился по сторонам, визжали бабы, кого-то сбили с ног, кто-то упал. А надо всем этим жутким хаосом гордо поднялся Бучила с пистолем в левой руке. Силантий корчился и подвывал, наполовину волк, наполовину все еще человек. Бахнуло – тяжелая серебряная пуля ударила оборотня в середину груди. Волколак захрипел и, шатаясь, побежал с площади прочь. Толпа отхлынула в панике, никто не встал на пути.

– Куда же ты, серенький? – Рух вприпрыжку направился следом и пальнул из второго пистоля. Кусок серебра угодил Силантию между лопаток, он споткнулся, упал на колени, с трудом поднялся и заковылял в сторону ближних ворот. «Живучий, паскуда», – восхитился Бучила, на ходу перезаряжая пистоль. Получалось хреново, прокушенная рука не слушалась, пальцы не гнулись, потерял две пули, глотнул кислого пороху, неудачно разорвав зубами бумажный патрон. – Выпускай его, выпускай! – издали заорал воротникам Рух. Волчара, слава тебе господи, решил сбежать из села, добраться до леса, отыскать логово и забиться в спасительную влажную темноту. А ведь мог, падла, обезуметь и начать рвать всех подряд. Стража распахнула ворота и спряталась, Силантий побрел через поле в чернеющий лес, оставляя кровавые мазки на заиндевевшей хрупкой траве. Небо затянули брюхатые зловещие тучи, слева от дороги стая ворон пиновала на трупах убитых волков, отяжелевшие, сытые птицы неуклюже скакали по оголенным ребрам и свежему мясу, выхватывая самые лакомые куски. Силантий задрал башку и издал долгий тоскующий вой.

– Скулишь, сучара! – ликующе выкрикнул Бучила. Волколак не дошел до леса всего пару десятков шагов. Ноги подломились, и он упал, успев подставить когтистые лапы. С морды, на которой жутким образом смешались звериные и человечьи черты, сочилась и капала тягучая кровь. Серебро остановило превращение, черный мех висел

ключьями, розовела кожа, кости раздулись и вывернулись под самым замысловатым углом.

Бучила приблизился танцующей походкой и резко остановился. Ну твою же мать! Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. На кромке леса появился пяток крупных волков – все, что осталось от стаи, брошенной Силантием на убой. Теперь ясно, зачем эта сволочь вздумала выть, братишек серых звала. Рух почувствовал, как ослабли колени.

– Надо было тебя раньше кончать. – Волколак хрипло рассмеялся, голос больше напоминал горловое ворчание. – Ты почти победил.

– В смысле – почти? – удивился Бучила. Страх улетучился, волки не обращали на него никакого внимания. Звери пристально уставились на Силантия. Вожак, крупный, покрытый шрамами, первым оскалил клыки. – Знаешь, волчишки очень не любят оборотней, а у тебя, глянь, руки-ноги, рожа странная, срам болтается, штаны-то зря потерял. Ты это, слышь, извиняй за представление с костями жены и детей. Самому противно, но, как говорится, «алягер ком алягер» [\[21\]](#). Ладно, Силантий, бывай, не буду мешать. – Рух попятился, держа подступающих волков на виду. Кто его знает, что у них на уме. Силантий обернулся и издал надсадный болезненный хрип, он все уже понял, волки неуловимыми тенями окружили раненого волколака плотным кольцом. Бучила не стал смотреть, как будто мало видел дерьма, повернулся и пошел обратно к селу. Сзади зарычали, раздался истошный визг, треск раздираемой плоти и перемолотых челюстями костей. Над замершим, испуганно притихшим Нелюдовом первый раз за зиму густым облаком повалил крупный снег, укрывая землю, трупы и алую кровь.

После Рождества ударили невиданные морозы, лед на реке встал толщиной в сажень, рядом с кладбищем лопнули от корней до верхушек столетние тополя, замерзли колодцы и родники, солнце покрывалось дымчатым маревом и тонуло в пылающий багрянцем закат. Снега навалило по пояс, и Рух проклял все на свете, пока проторил тропинку до опушки Гиблых лесов. Остановился на самом краю и сбросил с плеча плетеный короб на снег. В коробе завозилось и заворчало.

– Все, потерпи, недолго уже, – проворчал Бучила, откинул запоры и легким пинком перевернул короб на бок. Сначала ничего не

происходило, потом медленно и неуверенно из плетенки выбрался зверь: волчица-подросток, крупная, гибкая, с темной лоснящейся шкурой и пушистым хвостом. Волчица принюхалась, уши испуганно прижались к затылку. Лес, незнакомый, темный и страшный, манил и пугал.

– Давай, дуй отсель, – велел Бучила. – Пошла!

Волчица заскулила и попыталась обратным ходом втиснуться в короб.

– Эй-эй, не балуй. – Рух забрал плетенку и хлопнул волчицу по заду. – Шуруй по своим зверячьим делам. Херачь, я сказал!

Волчица оскалилась, показав белоснежные загнутые клыки.

– Ах ты сука неблагодарная! – погрозил пальцем Рух. – Я тебя холил, лелеял, парной свининой кормил, сам голодал, а она вона как. Все, я обиделся, так и знай.

Волчица сконфуженно засопела, пустив облачка морозного пара. Желтые глаза недоуменно смотрели на упыря. В них, даже спустя три недели, осталось что-то человеческое. А еще боль и тоска. Там, в темном чулане, Рух убил Наташку Ключеву, девочку, обреченную волколаком мучиться и страдать. Человек и зверь в одном теле навеки – ужаснее участи нет. Если убить зверя, ребенок прежним не будет, сойдет с ума, станет выть на луну, спать с собаками и скоро умрет. Если убить ребенка, зверь останется просто зверем, будет охотиться, купаться в снегу, рожать щенков и бежать бок о бок со стаей. И Бучила выбрал второй вариант. Где-то там, в глубине волчьего сердца, она сохранит образ матери и отца, воспоминания о теплой печке, свежем хлебе и парном молоке. А это не так уж и мало.

– Не смотри так, проваливай, я тебя не люблю. – Рух скатал плотный комок и зафитилил волчице в загривок.

Она оскалилась, отпрыгнула и припустила в заросли широким наметом, красивая, быстрая, сильная. Остановилась под деревьями в облаке искрящего белого марева, оглянулась напоследок и растворилась в лесу. А Бучила еще долго стоял, наслаждаясь покоем и тишиной. Заходящее солнце зажгло огоньки на верхушках спящих елей, бросило длинные голубые тени на снег. Небо порозовело. И на душе было дивно как хорошо. И первым делом надо было запретить Фролу облаву на всех окрестных волков. И трудяга дятел выстукивал: «Будем жить, будем жить»...

notes

Примечания

1

Верста – русская мера длины, равная 1,06 км. (Здесь и далее, если не указано иное, прим. ред.)

2

Спорынья – паразитный ядовитый грибок, образующийся в колосе ржи и некоторых других злаков.

3

Ушкун – новгородские плоскодонные речные суда.

4

Сажень – русская мера длины, равная 2,13 м.

5

Мыт – пошлина.

6

Лободырный – недоумок.

7

Балка – сухая или с временным водотоком долина с задернованными склонами.

8

Пуд – русская мера веса, равная 16,3 кг.

9

Надысь – то же, что и давеча.

10

Вершок – русская мера длины, равная 4,4 см.

11

Тырснуть – то же, что шмыгнуть.

12

За основу сюжета взято русское народное предание, записанное замечательным ученым-этнографом Сергеем Васильевичем Максимовым и опубликованное в 1903 году в книге «Нечистая, неведомая и крестная сила». (*Прим. автора*).

13

Овин – хозяйственная постройка, в которой сушили снопы перед молотьюбой.

14

Не займай – не тронь.

Шурф – неглубокая вертикальная горная выработка для разведки ископаемых.

16

Бочаг – яма на дне болота.

Выражение из комедии Плавта «Ослы», ставшее поговоркой, – «Человек человеку волк».

Здравица – тост за здравье.

19

Навеска – пропорция вещества в химии.

20

Матица – потолочная балка.

A la guerre comme à la guerre (фр.) – «На войне как на войне».

Table of Contents

Иван Александрович Белов Заступа

Полста жен Руха Бучилы

Ванькина любовь

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Птичий брод

Ночь вкуса крови [12]

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Все оттенки падали

Алая лента

Подарок на Рождество

Зимняя сказка

Придет серенький волчок...

Примечания

1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

